

Билл Брайсон

ОСТРОВ *de* ВЕЛИЧЕСТВА



Маленькая Британия
Большого Мира

Так иронично, тонко и интересно
об Англии до Брайсона не писал никто.

New York Times

Annotation

Узнав, что почти 4 миллиона американцев верят — их похищали инопланетяне, Билл Брайсон решил вернуться на родину, в США, где не был почти двадцать лет.

Но прежде чем покинуть Европу, он предпринял прощальный тур по острову Великобритания, от Бата на южном побережье до мыса Джон-о-Гроутс на севере, и попытался понять, чем ему мила эта страна и что же такого особенного в англичанах, шотландцах, валлийцах, населяющих остров Ее Величества.

Итогом этого путешествия стала книга, в которой, по меткому замечанию газеты «Санди телеграф»: «Много от Брайсона и еще больше — от самой Великобритании».

Книга, написанная американцем с английским чувством юмора, читая которую убеждаешься, что Англия по-прежнему лучшее место для жизни. Мировой бестселлер, книга издана в 21 стране!

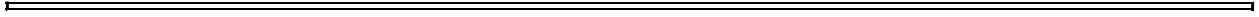
-
- [Билл Брайсон](#)
 - [Пролог](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)
 - [Глава семнадцатая](#)
 - [Глава восемнадцатая](#)

- [Глава девятнадцатая](#)
- [Глава двадцатая](#)
- [Глава двадцать первая](#)
- [Глава двадцать вторая](#)
- [Глава двадцать третья](#)
- [Глава двадцать четвертая](#)
- [Глава двадцать пятая](#)
- [Глава двадцать шестая](#)
- [Глава двадцать седьмая](#)
- [Глава двадцать восьмая](#)
- [Глава двадцать девятая](#)
- [Благодарности](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)

- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)



Билл Брайсон
Остров Ее Величества
Маленькая Британия большого мира

Синтии

Пролог

Впервые я увидел Англию туманной мартовской ночью 1973 года, высадившись с полуночного парома из Кале. Двадцать минут на причале кипела жизнь, проезжали легковушки и грузовики, делали свое дело таможенники, и все направлялись в сторону Лондон-роуд. И вдруг все стихло, а я побрел по сонным, тускло освещенным улочкам, затянутым туманом — точь-в-точь как в фильме про Бульдога Драммонда^[1]. Просто чудо — целый английский город принадлежал мне одному.

Лишь одно несколько нарушало очарование — все отели и гостиницы, увы, были закрыты на ночь. Я дошел до железнодорожной станции в надежде поездом добраться до Лондона, но и в здании вокзала было темно, а все двери заперты. Я стоял, гадая, что делать, и тут заметил серый отблеск телевизора в верхнем окне гостиницы через дорогу. Ура! — обрадовался я, кто-то не спит, — и поспешил туда, намереваясь смиренно извиниться перед хозяевами а поздний визит и вообразая жизнерадостный разговор, включавший такие реплики:

— О, не могу же я просить, чтобы меня накормили среди ночи! Нет, честное слово... ну, если вы уверены, что то не трудно, тогда, пожалуйста, просто ростбиф с хлебом, огурчиков с укропом, да еще, может быть, тарелочку картофельного салата и бутылочку пива.

Подходы к крыльцу терялись в непроницаемой тьме, и я в спешке и по незнакомству с британскими привычками споткнулся о ступеньку и врезался носом в дверь, разбросав полдюжины загрохотавших молочных бутылок. Окно наверху распахнулось почти мгновенно.

— Кто там? — резко спросили из окна.

Я отступил назад, потирая нос, и всмотрелся в силуэт головы с кудряшками волос.

— Здравствуйте, мне нужен номер, — сказал я.

— У нас закрыто.

— О! А нельзя ли поужинать?

— Попробуйте в «Черчилле». На набережной.

— На какой набережной? — спросил я, но окно уже с лязгом закрылось.

Роскошный «Черчилль» светился огнями и по всем признакам готов был принять посетителей. Заглянув в окно, я увидел в баре мужчин в костюмах, элегантных и обходительных, будто из пьесы Ноэля Коурда. Я

притаился в тени, чувствуя себя уличным мальчишкой. Как по общественному, так и по костюмному положению я не подходил для этого заведения, и в любом случае оно явно не вписывалось в мой скромный бюджет. Только накануне я вручил исключительно пухлую пачку разноцветных франков пучеглазому пикардийскому портье, в уплату за единственную ночь в комковатой постели и тарелку таинственного блюда под названием «Охотничье», в котором то и дело попадались кости мелких зверьков, и их приходилось украдкой сплевывать в большую салфетку, чтобы не показаться невежей, — после чего принял твердое решение впредь быть осторожнее в расходах. Я со вздохом повернулся спиной к манящему «Черчиллю» и поплелся во тьму.

На набережной я наткнулся на беседку — открытую всем стихиям, но с крышей — и решил, что на лучшее рассчитывать не приходится. Подложив рюкзак вместо подушки, я улегся и поглубже завернулся в куртку.

Скамейка была сделана из узких планок — жестких и утыканных к тому же большими болтами с круглыми головками, на них совершенно невозможно было с комфортом отдохнуть — разумеется, так и задумывалось. Я долго лежал, прислушиваясь, как море омывает гальку под набережной, и наконец задремал. Это была долгая холодная ночь, заполненная путаными сновидениями, в которых я спасался по арктическим льдам от пучеглазого француза с арбалетом и большим запасом болтов. Француз был никуда не годным стрелком и то и дело поражал меня болтами в зад и ляжки, мстя за украденную льняную салфетку с пятнами соуса, которую я запихал за одежный шкаф в своем номере. Около трех ночи я с криком проснулся. Тело затекло, от холода меня бил озноб. Туман рассеялся. Воздух был ясен и тих, а в небе горели звезды. Маяк на конце мола неустанно обметал лучом море. Все это было очаровательно, но я слишком замерз, чтобы наслаждаться видом. Дрожа, я порылся в рюкзаке и вытащил все теплое, что сумел найти — фланелевую рубашку, два свитера и запасные джинсы. Шерстяные носки я приспособил вместо перчаток, а пару фланелевых боксерских трусов натянул на голову как оригинальный ночной колпак, после чего снова рухнул на скамейку и стал терпеливо ждать сладостного поцелуя смерти. Но, так и не дождавшись, уснул.

Второй раз я проснулся от резкого воя туманной сирены, чуть не сбросившего меня с узкого насеста. Я сел, все еще несчастный, но чуть менее продрогший. Мир купался в молочном предрассветном сиянии, исходившем неизвестно откуда. Над водой с криками кружили чайки. За

чайками, за каменным молотом, величественно выходил в море огромный, сверкающий огнями паром. Я посидел еще немного — молодой человек, у которого в голове забот куда больше, чем мыслей. Рев корабельной сирены разнесся над водой, заново взбудоражив надоедливых чаек. Я стянул носок-перчатку и посмотрел на часы. Без пяти шесть. Я посмотрел вслед парому и задумался, куда можно отправляться в такую рань. И куда в такую рань направиться мне? Я надел рюкзак и зашаркал по набережной, чтобы разогнать кровь по жилам.

Подходя к «Черчиллю», который теперь тоже мирно спал, я повстречал старичка, прогуливающего собачку. Собачонка упорно желала оросить все до одной вертикальные поверхности, вследствие чего ее приходилось не столько выгуливать, сколько волочить на трех ногах.

Когда я поравнялся со старичком, тот приветливо кивнул.

— Хороший, видно, будет денек, — объявил он, окидывая взором небо, напоминавшее груды мокрых полотенец. Я спросил, не найдется ли ресторана, открытого в этот час. Он знал один, не слишком далеко отсюда, и объяснил мне дорогу.

— Лучшая дорожная забегаловка в Кенте. — добавил он.

— Дорожная забегаловка? — с сомнением повторил я и стал отступать, поскольку собачонка явно нацелилась оросить мои ноги.

— Все шоферы грузовиков ее уважают, а они умеют выбирать лучшее, верно? — Старичок дружелюбно улыбнулся, потом чуть понизил голос и доверительно наклонился ко мне. — Только, прежде чем заходить, штанишки-то с головы снимите.

Я схватился за голову — ох! — и, покраснев, стянул с макушки боксерские трусы. Пока я подбирал слова, чтобы покороче объяснить свой странный вид, старичок снова устремил взгляд на небо.

— Точно распогодится, — решил он и потащил собачонку на поиски новых столбиков. Я посмотрел им вслед и двинулся дальше по набережной под первыми каплями дождя.

Кафе оказалось неподражаемым — шумным, дымным и восхитительно теплым. Я получил тарелку яичницы, бобы, поджаренный хлеб, бекон и сосиски, и в дополнение к ним тарелку с джемом и маргарином и две чашки чая — все за 22 пенса. Потом, почувствовав себя обновленным, я прихватил с собой зубочистку (и отрыжку) и вприпрыжку зашагал по улицам, глядя, как просыпается Дувр. Надо сказать, при свете дня Дувр выглядел не намного лучше, чем ночью, но мне город понравился. Мне по душе маленький, уютный городок, где все перекликаются: «Доброе утро», «Привет!», «Мерзкая погода, но, может,

еще разойдется», и ощущение, что этот день — всего лишь один из длинной череды радостных, расписанных до минуты дней, когда ничего не происходит, и это хорошо. Ни у кого во всем Дувре не было особенных причин сохранить в памяти 21 марта 1973 года — кроме меня да горстки детей, родившихся в этот день, да еще, может быть, одного старичка с собачонкой, повстречавшего в то утро парня с подштанниками на голове.

Я не знал, с которого часа в Англии считается приличным начинать поиски гостиницы, и решил заняться этим ближе к полудню. Несколько свободных часов я занял выбором гостиницы, привлекательной с виду и тихой, но гостеприимной и в то же время не слишком дорогой, и в десять часов шагнул через порог тщательно подобранного заведения, старательно обогнув молочные бутылки. Это был маленький отель, вернее, пансион, вернее, мебелированные комнаты.

Не припомню, как называлось это заведение, зато хорошо помню хозяйку — неприступное создание средних лет по имени миссис Смегма. Она показала мне комнату, затем продемонстрировала удобства и растолковала множество сложнейших правил для жильцов: когда подается завтрак, как включать колонку в ванной, в какие часы я должен буду освобождать комнату и в какой краткий отрезок времени разрешено пользоваться ванной (как ни странно, эти часы совпадали), за сколько времени я должен предупредить, если жду телефонного звонка или намерен вернуться после 10 вечера, как спускать воду в уборной и пользоваться туалетным ершиком, какие предметы допускаются в мусорную корзину в спальне, а что следует аккуратно переправлять в мусорный бачок на улице, где и как вытирать ноги в каждой точке прихожей, как пользоваться трехрожковой горелкой в спальне и в каких случаях это допускается (по-видимому, при наступлении ледникового периода). Все это было для меня ново и поразительно. Там, откуда я прибыл, вы снимаете номер в отеле, на протяжении десяти часов с удовольствием и, возможно, необратимо превращаете его в конюшню, а спозаранок спокойно выезжаете. Здесь же я чувствовал себя новобранцем в армии.

— Минимальный срок пребывания, — продолжала миссис Смегма, — пять суток по фунту в сутки с полным английским завтраком.

— Пять суток? — ахнул я. Я-то собирался провести здесь всего одну ночь. Ради бога, что мне делать в Дувре пять суток, куда себя девать?

Миссис Смегма подняла бровь.

— Вы собирались прожить дольше?

— Нет, — выдавил я, — нет, просто...

— Хорошо, поскольку я ожидаю на уик-энд партию шотландских пенсионеров, так что это было бы неудобно. В сущности, совершенно невозможно. — Она окинула меня критическим взглядом, словно я был пятном на ковре, и задумалась, всё ли возможное она сделала, чтобы испортить мне жизнь. Не всё. — Я собираюсь выходить, так что нельзя ли попросить вас в течение четверти часа освободить вашу комнату?

Я снова пришел в смятение.

— Простите, вы хотите, чтобы я вышел? Но я только что пришел!

— Согласно правилам заведения. К четверем можете вернуться. — Она собралась уйти, но вспомнила еще кое-что.

— Да, и, будьте добры, пожалуйста, на ночь всегда снимайте плед. У нас уже были неприятные случаи, когда оставались пятна. Если вы повредите плед, вам придется его оплатить. Вы, конечно, понимаете?

Я тупо кивнул. И она наконец ушла. Я чувствовал себя потерянным и усталым и заброшенным в чужую страну. Я провел кошмарно неудобную ночь под открытым небом. Все мышцы у меня болели, я был весь во вмятинах от головок болтов, а кожу покрывал маслянистый слой грязи с двух континентов. Я дотащился сюда, лелея мечту погрузиться в ласковую горячую ванну, за которой последуют четырнадцать часов глубокого, мирного сна на пухлой подушке и под пуховой периной, заглушающей громоподобный храп!

Пока я стоял, поглощенный мыслью, что муки мои далеко не закончились, а только начинаются, дверь отворилась, и миссис Смегма прошагала через номер к трубке дневного света над раковиной. Она ознакомила меня с правильной методикой включения: «Дергать не нужно. Достаточно тихонько потянуть!» — и теперь, как видно, вспомнила, что забыла ее выключить. Сейчас она, как мне показалось, довольно резко рванула выключатель, после чего окинула меня и комнату последним подозрительным взглядом и удалилась.

Убедившись, что она ушла, я тихонько запер дверь, задернул шторы и помочился в раковину. Я откопал в рюкзаке книжку, потом постоял минуту, озирая чистую и чужую комнату.

— И что еще за чертовщина этот «плед»? — пробурчал я жалким голосом и тихо вышел.

Как не похожа на сегодняшнюю была Британия весной 1973-го! Фунт тогда стоил 2.46 доллара. Средняя недельная плата за квартиру составляла 30.11 фунта. Пакетик чипсов стоил 5 пенсов, лимонад — 8 пенсов, помада — 45 пенсов, шоколадный бисквит — 12 пенсов, уют — 4 фунта 50

пенсов, электрический чайник — 7 фунтов, черно-белый телевизор — 60 фунтов, цветной — 300 фунтов, радиоприемник — 16 фунтов, а средний обед — 1 фунт. Билет на авиарейс из Нью-Йорка до Лондона стоил 87 фунтов 45 пенсов зимой и 124 фунта 95 пенсов летом. Вы могли провести восемь дней на Тенерифе по куковской каникулярной путевке «Золотые крылья» за 65 фунтов или пятнадцать дней — за 93 фунта. Все это я знаю, потому что перед этим путешествием просмотрел номер «Таймс» за 20 марта 1973 — дата моего прибытия в Дувр — и нашел разворот с правительственным сообщением, где объяснялось, сколько все это стоит сейчас и как скажется на ценах крутой новый налог на добавленную стоимость, который собирались ввести через неделю или около того. Суть сообщения состояла в том, что хотя кое-что при новом налоге подорожает, зато другие цены упадут (ха-ха!). В собственной скудеющей памяти я наскреб еще, что послать открытку в Америку авиапочтой обходилось в 4 пенса, пинта пива — 13 пенсов, а первая купленная мной книжка издательства «Пенгуин букс» (это был «Билли-врун»^[2]) — 30 пенсов.

Только что отпраздновали вторую годовщину перехода на десятичную систему, но люди все еще пересчитывали в уме: «Господи, да ведь это чуть ли не шесть шиллингов!», и следовало помнить, что шестипенсовик на самом деле стоит два с половиной пенса, а гинейя — это фунт и пять пенсов.

Удивительно, сколько газетных заголовков той недели вполне могли бы появиться сегодня: «Забастовка авиадиспетчеров во Франции!» — «Белая книга»^[3] требует обеспечить безопасность Ольстера!» — «Лаборатории ядерных исследований должны быть закрыты!» — «Буря нарушила железнодорожное сообщение» — и множество сообщений о матчах по крикету, чтобы заполнить пустые места: «Поражение Англии» (на сей раз против Пакистана).

Но больше всего увлекают заголовки, напоминающие о беспокойной обстановке в промышленности в ту неделю 1973 года. «Забастовка в британской газовой корпорации! В Лондоне не вышла «Дэйли миррор». 10 000 увольнений после протеста работников «Крайслера»! Профсоюзы намерены испортить Первое мая! 12 000 учащихся получили выходной из-за забастовки учителей!» — все за одну неделю. На тот год пришелся кризис ОПЕК и отставка правительства Хита (хотя всеобщие выборы прошли только в феврале следующего года).

До конца 1973 года предстояло еще увидеть выдачу бензина по карточкам и очереди к гаражам, протянувшиеся на мили по всей стране. Инфляции предстояло взлететь до 28 процентов. Возник острый дефицит

туалетной бумаги, сахара, электроэнергии и угля, а также многого другого. Половине нации предстояло участие в забастовках, а другой половине — переход на трехдневную рабочую неделю. Люди еще будут покупать рождественские подарки в освещенных свечами универмагах и с отчаянием смотреть на погасшие по распоряжению правительства после «Десятичасовых новостей» телеэкраны. То был год Саннингдэйлского соглашения^[4], пожара в парке «Саммерленд» на острове Мэн, борьбы с сикхами и мотоциклетными шлемами и дебюта Мартины Навратиловой на Уимблдоне.

То был год, когда Великобритания вступила в Общий рынок и — теперь в это верится с трудом — объявила Исландии войну из-за селедки (правда, в милосердно скучном стиле: «Оставьте в покое рыбок, не то мы отстрелим вам нос!»). Короче говоря, предстоял самый необыкновенный год в современной английской истории. Я, конечно, не знал о том в непогожее мартовское утро в Дувре. Я вообще ничего не знал — довольно странное положение. Все, что открывалось мне, было так ново, таинственно и волнующе — вы просто не представляете. Англия полна была неслыханных доселе слов: «полосатый бекон» (с прослойками жира), фонарь Белиша (на пешеходном переходе), серветты (салфетки), плотный чай (то есть ужин с чаем), рожки с мороженым. Я еще не умел правильно выговорить «скон» (ячменная булочка) или «пэсти» (пирог с начинкой), назвать Таучестер и Слау. Я еще не слышал о «Теско», Пертшире и Денбишире, о муниципальных домах, о комическом дуэте Моркама и Уайза, о железнодорожных скидках, о банковских каникулах и рождественских хлопушках, о приморских скалах и молочных тележках, о междугородном телефоне и яйцах по-шотландски, о моделях «моррис майнор» и Маковом дне^[5].

Насколько я понимал, машина с литерой «L» могла принадлежать лепрозорию или управляться прокаженным. Я представления не имел, что стоит за сокращениями GPO, LBW, GLC или OAP^[6].

Простейшие действия представлялись мне тайной. Я увидел, как кто-то попросил у газетчика «Два десятка номера шесть» и получил сигареты, и долго еще полагал, что у газетчиков весь товар пронумерован, как в китайском ресторанчике с доставкой обедов на дом. Я полчаса просидел в пабе, пока догадался, что надо самому подойти за заказом, а потом попытался поступить так же в чайной — и был отправлен за столик.

Хозяйка чайной называла меня «милый». Все дамы в чайной называли меня милым, а для большинства мужчин я был «приятель». Я не провел у

них и двенадцати часов, а они уже полюбили меня. И все они ели так же, как я. Я много лет приводил в отчаяние свою матушку тем, что, будучи левшой, отказывался есть по-американски — то есть хватать вилку левой рукой, чтобы придерживать кусок, пока режешь его ножом, а потом перекладывать в правую, чтобы отправить отрезанный кусок в рот. Мне это представлялось до смешного неудобным, и вот, смотрите-ка, целая страна ест, как я! И машины водят по левой стороне! Настоящий рай! День еще не кончился, а я уже понял, что хочу здесь жить.

Я провел долгий день, бесцельно и радостно блуждая по жилым и торговым улицам, подслушивая разговоры на автобусных остановках и на перекрестках, с любопытством заглядывая в витрины овощных, мясных и рыбных магазинов, читая афиши и проектные планы, тихо впитывая в себя все вокруг. Я поднялся в замок, чтобы полюбоваться окрестностями и снующими туда-сюда парами, с почтением взирал на белые скалы и старую Тюремную башню, а под вечер ни с того ни с сего завернул в кинотеатр, привлеченный обещанием тепла и афишей, изображавшей выводок юных дам в скудных платьях и игривом настроении.

— Ярус или партер? — спросила меня билетерша.

— Нет, мне на «Рынок женщин в предместье», — застенчиво и смущенно ответил я.

Внутри мне открылся новый мир. Я впервые увидел кинорекламу и киноафишу, представленную с британским выговором, впервые встретился с сертификатом Британского совета по киноцензуре (тот фильм был допущен для просмотра взрослыми благодаря лорду Харлеху, которому очень понравился) и открыл, к немалому своему восторгу, что в английских кинотеатрах разрешается курить — и к черту противопожарную безопасность. Сам фильм снабдил меня множеством сведений относительно общественного устройства и лексикона, не говоря уж о том, что дал возможность отдохнуть горящим ногам и полюбоваться на множество привлекательных девиц, щеголявших в костюме Евы. Среди обилия новых для меня терминов были «грязный уик-энд», «уборная», «полный подонок», «о-пэр», «дом на две семьи», «снять» и «короткий перепихон у плиты». Все они впоследствии очень мнегодились. Во время перерыва — тоже оказавшегося для меня новостью — я впервые в жизни попробовал оранжад «Киаора», купив его у величественно скучавшей леди, которая поразила меня способностью выбирать товар со своего подсвеченного подносика и давать сдачу, ни на миг не отрывая взгляда от точки, расположенной где-то в пространстве перед ее носом. После кино я поел в маленьком итальянском ресторанчике,

рекомендованном путеводителем «Перл и Дин», и довольный вернулся в пансион, когда над Дувром спустился вечер. День прошел с пользой и удовольствием.

Я собирался лечь пораньше, однако по дороге к своей комнате заметил дверь с надписью «Гостиная для жильцов» и сунул в нее нос. Это была просторная комната, уставленная мягкими креслами и канапе с крахмальными салфетками на спинках; на книжной полке хранилась скромная коллекция паззлов и книжек в бумажных обложках. Имелся столик с россыпью захватанных пальцами журналов и большой цветной телевизор. Я включил телевизор и, дожидаясь, пока он прогреется, стал просматривать журналы. Все это были журналы для женщин, но как они отличались от женских журналов, которые читали моя мать и сестры! В тех журналах все статьи касались секса и вопроса, как доставить себе удовольствие. И заголовки были соответствующие: «Как питаться, чтобы усилить оргазм», «Секс в офисе — как этого добиться», «Таити — отличное новое место для секса» и «Эти робкие дождевые джунгли — хороши ли они для секса?». Британские журналы взывали к более скромным чувствам. Я читал заглавия: «Как самой связать конверт для близнецов», «Новая экономичная пуговица», «Вяжем модный кармашек для обмылков» и «Настало лето — время готовить майонез!»

Программа, разворачивавшаяся на телеэкране, называлась «Король Джэйсон». Если вы не слишком молоды и вам в начале семидесятых годов порой некуда было пойти вечером в пятницу, вы припомните, что в ней участвовал нелепый тощий верзила в кафтане с пуфами, почему-то оказывавшийся неотразимым для женщин. Я не знал, видеть в этом добрый знак для себя или впасть в уныние. Самое удивительное в этой программе — то, что я видел ее всего однажды двадцать лет назад, но меня до сих пор не оставляет желание хорошенько обработать того типа бейсбольной битой, утыканной гвоздями.

К концу программы появился еще один жилец. Он принес с собой тазик с горячей водой и полотенце. При виде меня удивленно охнул и занял место поближе к окну. Был он тощим, рыжим и наполнил комнату запахом какой-то мази. Он походил на мужчину с нездоровыми сексуальными предпочтениями (из тех, в которых, по уверениям вашего школьного учителя, вы превратитесь, если будете слишком усердно мастурбировать — словом, вроде того самого учителя). Поклясться не могу, но по-моему, я видел, как он покупал пакетик фруктовой жевательной резинки в зале, где показывали «Рынок женщин». Он опасливо покосился на меня, возможно, подумав обо мне нечто в том же роде, а затем накинул на голову полотенце

и склонился над тазиком и так провел большую часть вечера.

Несколько минут спустя вошел лысый человечек средних лет — на мой взгляд, торговец обувью, — бросил мне: «Привет!», сказал: «Добрый вечер, Ричард!» голове под полотенцем и уселся рядом со мной. Вскоре после того к нам присоединился человек постарше, с тростью, негнуцимся коленом и брюзгливыми манерами, истинный британский отставной полковник. Он мрачно глянул на нас, отметив наше присутствие легчайшим наклоном головы, после чего тяжело опустился в кресло, где и провел ближайшие двадцать минут, так и этак перекидывая свою ногу, словно переставлял громоздкую мебель.

За «Королем Джэйсоном» последовал фарс под названием «Мой сосед — чернокожий». Может быть, он назывался не совсем так, но вся соль состояла именно в этом — мысль, что в соседнем доме может поселиться человек с черной кожей, представляла богатую почву для шуток. То и дело звучали реплики: «Боже мой, бабушка, у тебя в шкафу цветной!» и «Как же я его разгляжу в темноте!». Словом, безнадежный кретинизм. Лысый, сидя рядом со мной, смеялся до слез, да и из-под полотенца порой доносилось одобрителное фырканье, но полковник, как я заметил, и не думал смеяться. Он уставился на меня, словно пытался вспомнить, о каком мрачном событии из его прошлого я напоминаю. Оборачиваясь к нему, я всякий раз натякался на пристальный взгляд. Это несколько нервировало.

Наконец экран заполнил звездопад, возвещающий рекламную паузу. Лысоголовый воспользовался ею, чтобы подвергнуть меня дружелюбному, но обескураживающе бессвязному допросу: кто я и откуда на них свалился? Узнав, что я американец, он пришел в восторг.

— Мне всегда хотелось повидать Америку, — сказал он. — Скажите, у вас там и впрямь есть «Вулворт»?

— Да, действительно, Вулворт — американец.

— Подумать только! — восхитился он. — Нет, вы слышали, полковник? Вулворт — американец! — Полковник остался равнодушен к этому открытию. — А кукурузные хлопья?

— Простите?

— Есть у вас в Америке кукурузные хлопья?

— Да, в сущности, они тоже американские.

— Да что вы!

Я выдавил слабую улыбку и воззвал к своим ногам с мольбой поднять меня и унести отсюда подальше, однако ноги отказались повиноваться.

— Потрясающе! Что же вас привело в Британию, если кукурузные хлопья у вас и так есть?

Я взглянул на собеседника, проверяя, не насмехается ли он надо мной, потом неохотно, с запинкой, принялся выкладывать свою биографию до сего момента, но минуту спустя осознал, что программа продолжается, и он даже не притворяется, будто слушает, поэтому я умолк и провел всю вторую часть фарса, впивая жар полковничьего взора.

Программа закончилась, и я собирался уже вытащить себя из кресла и пожелать этому веселенькому трио счастливо оставаться, когда дверь отворилась, и вошла миссис Смегма с чайным подносом и тарелкой печений того сорта, который, кажется, зовется чайным ассорти. Присутствующие оживились, принялись азартно потирать руки и приговаривать: «О, чудесно!» Я до сего дня не устаю поражаться способности британцев любого возраста и социального положения с восторгом встречать появление горячих напитков.

— Как сегодня «Мир птиц», полковник? — спросила миссис Смегма, передавая полковнику чашку чая и печенье.

— Не могу знать, — ледяным тоном ответил полковник. — Телевизор, — он бросил в мою сторону многозначительный взгляд, — был настроен на другую программу.

Миссис Смегма поддержала его, послав мне суровый взор. Думаю, она с ним спала.

— «Мир птиц» — любимая программа полковника! — В ее тоне, когда она вручила мне чашу и твердое бледное печенье, звучало чувство несколько посильнее ненависти.

Я проблеял какое-то жалкое извинение.

— Сегодня рассказывали о тупиках, — выпалил краснолицый жилец с самым самодовольным видом.

Миссис Смегма с минуту разглядывала его, словно дивясь, что он еще может говорить.

— Тупики! — повторила она, и обратила ко мне еще более испепеляющий взгляд, вопрошавший, как может человеческое существо дойти до такого падения. — Полковник обожает тупиков. Не так ли, Артур? — Положительно, она с ним спала.

— Да, действительно, — подтвердил полковник, уныло вгрызаясь в шоколадный бисквит.

Опозоренный, я глотнул чаю и откусил крошечный кусочек своего печенья. До того дня мне не приходилось пробовать чая с молоком и печений, твердых и безвкусных, как камень. Такого вкуса, верно, бывает добавка к корму для попугайчиков, которую им дают, чтобы крепче был клюв. Через минуту лысоголовый склонился ко мне и доверительно

шепнул:

— Не обращайтесь на полковника внимания. Он уже не тот с тех пор, как потерял ногу.

— Ну, желаю ему поскорее ее найти, — буркнул я, решившись добавить в ответ капельку сарказма. Лысый разинул рот, и мгновение я ждал, что он разгласит мои слова полковнику и миссис Смегме, однако он вместо того сунул мне мясистую лапу и представился. Я не запомнил его имени, но это было одно из тех имен, что бывают только у англичан: Колин Дерльмофонтен, или Бертрам Бронегульффик, или еще что-то столь же неправдоподобное. Я криво усмехнулся, решив, что он меня разыгрывает, и сказал:

— Шутите?

— Ничего подобного, — холодно возразил он. — Вы находите это смешным?

— Нет-нет, просто несколько... необычным.

— Ну, для вас — возможно, — промолвил он и отвернулся к полковнику и миссис Смегме. Тогда я понял, что отныне и навеки в Дувре у меня нет друзей.

В следующие несколько дней миссис Смегма подвергала меня беспощадным преследованиям, между тем как другие жильцы, как я догадывался, поставляли ей улики против меня. Она обвиняла меня в том, что я не выключаю свет в комнате, когда выхожу, не опускаю крышку в уборной, когда заканчиваю приводить себя в порядок, за то, что похитил у полковника горячую воду — я понятия не имел, что это его собственность, пока он не загремел дверной ручкой и не огласил коридор гневными криками, — и в том, что два дня подряд заказывая полный английский завтрак, я оба раза оставлял на тарелке жареные томаты.

— Я вижу, вы опять не съели жареные томаты, — заметила она во второй раз.

Я не знал, что сказать, поскольку в ее словах была неопровержимая истина, и потому наморщил лоб и вместе с нею уставился на предмет ее недовольства. Вообще-то я уже два дня гадал, что бы это могло быть.

— Могу ли я попросить вас, — продолжала она голосом, отяжелевшим от обиды и многолетнего недовольства, — если в дальнейшем вы не пожелаете есть жареные томаты, будьте так любезны заблаговременно сообщить мне?

Я, опешив, смотрел ей вслед. Мне хотелось крикнуть:

— Я принимал их за сгустки крови! — но, конечно же, я промолчал и отступил к себе в комнату под победное ликование моих соседей по жилью.

С тех пор я старался как можно меньше бывать в пансионе. Я ходил в библиотеку и отыскивал в словаре слово «плед», чтобы избежать обвинений, по крайней мере, на этот счет. (Я с изумлением узнал, что это такое, потому что три дня искал его не на кровати, а на окне.) В доме я старался держаться тихо и неприметно. Даже в скрипучей кровати я ворочался с опаской. Но сколько бы я ни старался, мне не судьба была избежать обвинений. На третий день миссис Смегма предъявила мне пустую сигаретную пачку и осведомилась, не я ли бросил ее под изгородь. Я начал понимать невинных людей, подписывающих самые невероятные признания в полицейском участке. В тот же вечер, наскоро и украдкой выкупавшись в ванне, я забыл выключить колонку и усугубил свою оплошность, оставив прядь волос в сливном отверстии. На следующее утро меня ожидало последнее унижение. Миссис Смегма безмолвно препроводила меня в туалет и показала крошечную какашку, оставшуюся несмытой. Мы согласились, что я уеду после завтрака.

Я сел на первый же поезд до Лондона и с тех пор не возвращался в Дувр.

Глава первая

Существуют некоторые местные идеи, которые вы постепенно усваиваете, долго прожив в Британии. Одна из них — что британское лето когда-то длилось дольше и было более солнечным. Другая — что английская футбольная команда всегда легко справится с норвежской. Третья идея гласит, что Британия — большой остров. Труднее всего бороться с этим последним убеждением.

Если вы мельком заметите в пабе, что собираетесь проехаться, скажем, от Суррея до Корнуолла (большинство американцев свободно прокатятся на такое расстояние, чтобы купить себе тако), — ваши спутники примутся надувать щеки, понимающе переглядываться и тяжело вздыхать, словно говоря: «Ну, это уж ты хватанул!», после чего погрузятся в оживленную жаркую дискуссию, решая, как лучше ехать: по шоссе А30 до Стокбриджа, а оттуда по А30 на Илчестер или по А361 на Гластонбери через Шептон-Маллет. Через минуту разговор переходит на уровень, заставляющий иностранца, незнакомого с местными условиями, в тихом обалдении мотать головой.

— Знаете тот объезд за Уорминстером, там еще ящик для песка с отломанной ручкой? — говорит один. — Ну, сразу за поворотом на Литтл-Пэкинг, но до миниразвязки на В6029. У сухого тополя.

На этом месте вы обнаруживаете, что вы один не киваете головой.

— Ну, так на четверть мили оттуда, не на первом повороте налево, а на втором, есть дорожка между живыми изгородями — в основном из терна, с небольшой примесью лещины. Если вы проедете той дорожкой мимо пруда, нырнете под железнодорожный мост и резко свернете направо у Баджеред-Плафман...

— Там недурная пивнушка, — перебивает другой (по необъяснимым причинам это, как правило, парень в мешковатом джемпере). — Там подадут вполне приличный «Старый Тоджем».

— ...И проедете по проселку через армейское стрельбище и обогнете сзади цементный завод, то окажетесь прямо на запасной полосе В3689. Выиграете три, а то и четыре минуты, и на переезд под Грейт-Шеггинг не попадаете.

— Если, конечно, ехать не от Крокерна, — живо включается кто-то еще. — А вот если ехать от Крокерна...

Назовите двоим посетителям паба два или более пункта в Британии, и

вы осчастливите их на много часов. Куда бы вы ни ехали, все сойдутся на том, что это, в общем, возможно, при условии, что вы всеми силами будете держаться подальше от Окхемптона, круговой развязки в Хангер-Лэйн, центрального Оксфорда и западной объездной Северн-Бриджа начиная с трех дня в пятницу и до десяти утра в понедельник, не считая банковских каникул, на которых вообще никуда ездить нельзя.

— Я так на банковских каникулах и на угол рядом с банком не выйду, — в скобках заявит маленький человечек с таким видом, будто, оставаясь у себя дома в Стэйнсе, он годами искусно миновал знаменитое пробками сужение дороги у Скотч-Корнер.

Наконец, когда все переплетения трасс категории В и опасные разъезды досконально обсудили, и у вас уже кровь начинает сочиться из ушей, кто-нибудь, обернувшись к вам с кружкой пива, невзначай спросит, во сколько вы собрались выезжать. Когда это произойдет, ни в коем случае не отвечайте правду — не тяните этак лениво: «О, не знаю, думаю, часиков в десять», иначе все начнется сначала.

— В десять? — повторит один и замотает головой так, будто задумал открутить ее от плеч. — В десять утра? — Лицо у него будет, как у несчастного, который получил крикетным мячом между ног, но не вопит, потому что не хочет показаться слабаком в глазах подружки. — Ну, решать, конечно, только вам, но лично я, если бы собирался быть в Корнуолле завтра к трем, выехал бы еще вчера!

— Вчера! — фыркает второй, осуждая столь неуместный оптимизм. — Ты, Колин, забыл, что в Северном Уилтшире и в Западном Сомерсете на этой неделе каникулы? Между Суиндоном и Уорминстером будет смертоубийство. Нет уж, лучше бы выехать во вторник на прошлой неделе.

— А в Литтл-Дрибблинг на выходных проводят Большое Вестстимское ралли, — добавит кто-то с дальнего конца зала и не поленился подойти к вам ради удовольствия сообщить дурную новость. — На узком объезде к Литтл-Чеф в Аптон-Даптон столпится 375 тысяч машин. Мы там как-то одиннадцать дней дожидались очереди на выезд со стоянки. Нет уж, лучше бы вам выехать, пока вы еще лежали у матушки в животе, и даже тогда парковки за Бодмином вам не найти.

Когда-то в молодости я принимал подобные пугающие предостережения близко к сердцу. Я возвращался домой, переводил будильник, поднимал домашних в четыре утра, невзирая на их протесты и дружное сопротивление, запикивал всех в машину и к пяти отправлялся в путь. В результате мы оказывались в Ньюквее к завтраку и нам приходилось семь часов болтаться по округе, пока воскресный парк пускал

нас в одно из своих несчастных шале. А хуже всего, что я только потому туда и собрался, что городок назывался Нуки — уютный уголок, — и мне хотелось послать открытку с таким обратным адресом.

Факт, что британцам свойственно совершенно особое представление о расстоянии. Это особенно заметно по общей для них идеи, что Британия — одинокий остров в безбрежном и пустынном океане. Да-да, я знаю, все вы осведомлены, что поблизости имеется довольно значительный массив суши под названием Европа, куда время от времени приходится выбираться, чтобы задать трепку джерри или провести отпуск на Средиземном море, но близость эта чисто абстрактная, а по правде вам куда ближе, скажем, «Диснейленд». Если ваши географические представления формируются исключительно по газетам и телепрограммам, вам не избежать впечатления, что Америка расположена где-то в районе Ирландии, Франция и Германия соседствуют с Азорами, Австралия занимает теплое местечко на Ближнем Востоке, а прочие суверенные государства — либо миф (в том числе Бурунди, Сальвадор, Монголия и Бутан), либо достижимы лишь на космическом корабле. Примите во внимание, сколько места в британских новостях уделяется маргинальным американским фигурам вроде Оливера Норта, Лорены Боббит и О. Джей Симпсона — человека, занимавшегося спортом, которого большинство британцев не понимает, потом рекламировавшего прокат машин, и не более того, — и сравните с объемом всех новостей, поступающих за год из Скандинавии, Австралии, Швейцарии, Греции, Португалии и Испании. Если в Италии политический кризис или в Карлсруэ авария на атомном реакторе — им уделят строчек восемь на внутренних страницах. Но если какая-то дамочка в Мухоловске, Западная Виргиния, в пылу супружеской ссоры отрезала супругу мужское достоинство и вышвырнула его в окошко, в «Девятичасовых новостях» эта новость окажется на втором месте, а воскресная «Таймс» пошлет на место события местного корреспондента. Судите сами.

Помнится, прожив год в Борнмуте, я купил свою первую машину и, играя с автомобильным радиоприемником, удивился, как много французских станций он принимает. Тогда-то, взглянув на карту, я впервые с изумлением осознал, что нахожусь к Шербуру куда ближе, чем к Лондону. В тот же день я упомянул о своем открытии на работе, но большинство коллег отказались мне верить. Даже когда я показал им карту, они, недоверчиво хмурясь, отвечали что-нибудь в таком роде: «Ну, может, в строго физическом смысле и ближе» — словно я занимался схоластикой, а на самом деле тому, кто пересек Английский канал, требуется совершенно новая концепция расстояния — и, разумеется, в этом они были правы. Я и

до сих пор часто поражаюсь, что перелет от Лондона занимает меньше времени, чем нужно, чтобы вскрыть дорожный пакетик молока, залив себя и соседа (потрясающе, сколько молока умещается в эти маленькие трубочки!) — и вот вы уже в Париже или в Брюсселе, и все вокруг похоже на Ива Монтана или на Жанну Моро.

Я упоминаю об этом потому, что примерно такое же потрясение я испытал, когда, стоя на грязной полоске пляжа в Кале в необычно светлый ясный осенний день, разглядел на горизонте выступ, который не мог быть не чем иным, как белыми скалами Дувра. Теоретически я знал, что до Англии всего двадцать миль, но никак не мог поверить, что, стоя на чужом берегу, могу запросто ее увидеть. Честно говоря, я был до того удивлен, что обратился за подтверждением к человеку, задумчиво проходившему мимо.

— Эскюзе муа, мсье, — обратился я к нему на своем лучшем французском. — Сес вон там Англетерр?

Он оторвался от своих дум, чтобы взглянуть туда, куда я указывал, угрюмо кивнул, словно говоря «Увы, да!», и побрел дальше.

— Подумать только, — пробормотал я и пошел осматривать город.

Кале — интересное местечко. Существует он исключительно для того, чтобы англичанам в жилетах было где провести день. В войну его сильно разрушили бомбежками, и потому после войны город попал в руки планировщиков, отчего напоминает теперь недоразобранный павильон «Выставки цемента» 1957 года. Поразительное количество зданий, особенно тех, что окружают безрадостный «Place d'Armes», больше всего напоминает магазинные упаковки — особенно упаковки сливочных крекеров «Джейкобс». Несколько строений возвели даже поперек дороги — верный признак планировки 1950-х, когда архитекторы обезумели от обилия новых возможностей, какие дает бетон. Одно из главных зданий центра — это всегда разумеется само собой — коробка кукурузных хлопьев, она же «воскресная гостиница».

Но я не жаловался на судьбу. Солнце сияло, как и положено ясным бабьим летом, я был во Франции и в том благодушном настроении, которое всегда сопутствует началу долгого путешествия и головокружительной перспективе — проводить неделю за неделей, ничем особенным не занимаясь, и называть это работой. Мы с женой недавно решили переехать на время обратно в Штаты, чтобы познакомить детей с жизнью в другой стране и дать жене возможность ходить по магазинам до десяти вечера семь дней в неделю. Я недавно прочитал, что, согласно опросу Гэллапа, 3,7 миллиона американцев верят, что в то или иное время они были похищены

пришельцами, и мне стало ясно, что я необходим моему народу. Но я потребовал возможности напоследок осмотреть Британию — нечто вроде прощальной экскурсии по зеленому ласковому островку, так долго бывшему моим домом. Я приехал в Кале, потому что хотел заново вступить в Британию так же, как увидел ее впервые — с моря. Назавтра я собирался взойти на первый паром и приступить к серьезному делу — исследованию Британии, ознакомлению с публичным фасадом и укромными закоулками нации; но сегодня я был свободен и беззаботен. И делать мне было нечего, кроме как ублажать самого себя.

Я с разочарованием заметил, что никто на улицах Кале не походит на Ива Монтана или Жанну Моро и даже на Филлипа Нуаре. А все потому, что встречались мне одни британцы, одетые в спортивные костюмы. Всем им не хватало только судейского свистка на шее и футбольного мяча в руках. Вместо мячей они волокли тяжелые сумки для покупок, набитые звякающими бутылками и вонючими сырами, и гадали, зачем накупили этих сыров и куда им себя девать до четырехчасового парома на родину. Обходя их, вы слышали тихое жалобное ворчание: «Шестьдесят франков за паршивый козий сыр! Ну, она тебя не похвалит!» И все они на вид мечтали о чашечке чая и солидном обеде. Мне пришло в голову, что ларек с гамбургерами принес бы здесь целое состояние. Можно бы называть их калебургерами. Следует отметить, что, кроме как заниматься покупками и ворчать, в Кале, в общем-то, делать нечего. Перед ратушей имеется знаменитая статуя Родена, и еще единственный музей Musée des Beaux Arts et de la Dentelle (музей изящных искусств и зубов, если я еще не позабыл французского). Но музей оказался закрыт, а до ратуши — далеко тащиться, да и вообще, статую Родена можно видеть на каждой открытке. Я закончил тем, что, подобно всем прочим, стал совать нос в каждую сувенирную лавочку, а их в Кале великое множество. По непостижимым для меня причинам французы проявляют особый дар в изготовлении грошовых религиозных сувениров. В темной лавочке на углу Пляс д'Арм я нашел один по своему вкусу: пластмассовую статуэтку девицы Марии, стоящей с протянутыми руками в гроте из морских ракушек, миниатюрных морских звезд, кружевных кусочков сушеных водорослей и полированных крабовых клешней. К затылку Мадонны был приклеен нимб из пластмассового колечка для шторы, а на клешне краба даровитый художник аккуратно вывел нарядную надпись: «Calais!». Я замаялся, потому что просили за нее немало, но когда хозяйка магазина показала мне, что к открытке еще и подведен провод и игрушка освещается, как ярмарочный павильон в Маргейте, я задумался, не купить ли такую же вторую.

— *C'est tres jolie*^[7], — проговорила она благоговейным шепотом, когда поняла, что я и впрямь готов выложить за безделушку настоящие деньги, и бросилась заворачивать покупку, пока я не опомнился с криком: «Где я? И что это за гнусный кусок французского *merde* лежит передо мной?»

— *C'est tres jolie*, — повторяла она как колыбельную, словно опасаясь нарушить мой сон наяву.

Думается, не часто ей удавалось всучить кому-нибудь «Деву Марию с ракушками и подсветкой». Во всяком случае я, когда за мной закрывалась дверь лавочки, явственно слышал ликующий вопль.

Затем, чтобы отметить покупку, я заказал кофе в популярном кафе на Rue de Gaston Papin et Autres Dignitaires Obscure. За дверями Кале царит куда более приятная галльская атмосфера. Люди приветствуют друг друга поцелуями в обе щеки и окутываются голубым дымком «голуаз» и «житан». Изящная женщина в черном чрезвычайно напоминала Жанну Моро, уллучившую минутку для сигаретки и рюмочки перно в перерыве между эпизодами фильма под названием «*La Vie Dreariouse*»^[8].

Я написал открытку домой и с удовольствием выпил кофе, а оставшиеся до сумерек часы провел, пытаясь подманить к своему столику дружелюбного, но застенчивого официанта в надежде оплатить скромный счет.

Я дешево и поразительно хорошо поужинал в маленьком заведении через дорогу — надо признать, французы умеют-таки готовить жареную картошку, — выпил две бутылки «Стелла Артуа» в кафе, где меня обслуживал двойник Филлипа Нуаре в фартуке мясника, и рано вернулся в свой крохотный номер, где еще немножко поиграл с Мадонной, потом лег в постель и провел ночь, прислушиваясь к грохоту машин под окном.

Наутро я рано позавтракал, заплатил по счету Жерару Депардье — вот это был сюрприз! — и вышел навстречу новому полному обещаний дню. Сжимая в руке неразборчивую маленькую карту, прилагавшуюся к билету на паром, я пустился на поиски паромного причала. Если верить карте, он находился совсем рядом, практически в центре города, но в реальности до него оказалось добрых две мили по пустырю, застроенному нефтеперегонными станциями и заброшенными фабриками, которые перемежались пустошами с упавшими балками и грудями бетонных плит. Я протискивался сквозь дыры в решетчатых изгородях, кружил между ржавыми вагонами с выбитыми стеклами. Не знаю, как добираются к парому из Кале другие, но у меня сложилось отчетливое впечатление, что никто до меня не шел этим путем. Причем меня преследовало тревожное

чувство, постепенно переходившее в панику: время отхода приближалось, а паромный причал, хоть и маячил вдалеке, но казалось, не приближался ни на шаг.

В конце концов, прошагав по заброшенным шпалам и вскарабкавшись на набережную, я последним оказался на месте — задыхаясь и в таком виде, будто пережил небольшую автокатастрофу. На борт меня доставила на автобусе-челноке суровая женщина, видимо, страдающая от серьезной дисменореи. По дороге я перебрал свои пожитки и с тихим отчаянием обнаружил, что моя дорогая (и дорогостоящая) Мадонна лишилась нимба и потеряла ракушку за ракушкой.

Я поднялся на палубу, обильно потев и немного тревожась. Признаюсь откровенно, я не гожусь в моряки. Мне становится нехорошо даже на водном велосипеде. Сильно смущало меня то обстоятельство, что путешествие предстояло на одном из паромов «ро-ро», которые названы так потому, что отплясывают на волнах рок-н-ролл, и что компания, которой я доверил свою жизнь, имела безупречную репутацию. Она славилась тем, что порой забывала закрыть носовые ворота — а это все равно как если бы вы забыли снять ботинки, залезая в ванну.

Паром был набит под завязку — сплошь англичане. Первые четверть часа я бродил между ними, гадая, как им удалось сюда забраться, не перемазавшись с головы до ног. На минуту я сунулся в сутолоку жилетов, оказавшуюся беспощинной лавочкой, так же поспешно выбрался оттуда, заглянул в кафетерий с подносом для еды, положил поднос на место (для чего пришлось отстоять очередь), поискал свободного места среди орды нездорово оживленных детишек и наконец выбрался на продуваемую ветром палубу, где 274 человека с синими губами и развевающимися волосами пытались убедить себя, что невозможно замерзнуть, когда светит солнце. Наши анораки хлопали на ветру со звуком ружейного выстрела. Ветер катал маленьких детей по палубе и, к общему тайному восторгу, опрокинул пластиковый стаканчик с кофе на колени толстой леди.

Вскоре белые скалы Дувра поднялись из моря и придвинулись к нам, и не успели мы глазом моргнуть, как вошли в Дуврскую гавань и неловко ткнулись носом в причал. Бестелесный голос предложил пешим пассажирам собраться у сходней правого борта на палубе ZX-2 у «Солнечной кают-компании» — как будто кто-то понимал, где это, — и все мы поодиночке разбрелись на поиски. Мы долго мыкались по кораблю, спускались и поднимались по трапам, пересекали кафетерии и кают-компании клубного класса, и кладовые, и кухни, полные трудолюбивых ласкаров, и возвращались в кафетерии с другой стороны и наконец —

совершенно не понимая как это вышло — выбирались под долгожданное жидкое английское солнышко.

После стольких лет я рвался увидеть Дувр. По Морской набережной я прошагал прямо к центру и с тихим криком радости высмотрел беседку, в которой спал много лет назад. Она покрылась еще примерно одиннадцатью слоями гнойно-зеленой краски, но в остальном не изменилась. И вид от нее на море тоже остался неизменным, только вода была голубее и блестела ярче, чем в прошлый раз. А вот все остальное выглядело иначе. Там, где в воспоминаниях я видел ряд изящных георгианских террас, теперь возникло огромное неприглядное жилое здание. Таунуолл-стрит — главная сквозная дорога на запад — стала шире, а движение на ней сделалось более угрожающим, чем мне помнилось, к тому же появилась линия подземки к городскому центру, который тоже изменился до неузнаваемости.

Главную торговую улочку сделали пешеходной зоной, Рыночную площадь превратили в этакую пьядцу с картинной мостовой и обычным набором чугунных украшений. Весь центр как будто неловко съехался в тесном кольце шумных, широких объездных дорог, которых я не запомнил, и еще построили большое здание для туристов, названное «Опыт белых скал», где, как я полагаю, вы можете испытать, каково быть меловым утесом восьмисотмиллионного возраста. Я ничего не мог узнать. Вся беда с английскими городами в том, что они совершенно неотличимы друг от друга. В каждом найдется «Бутс», «У. Г. Смит» и «Маркс и Спенсер».

Я рассеянно кружил по улицам и горевал, что город, Занимавший такое место в моих воспоминаниях, стал чужим. И на третьем круге, пройдя по аллейке, по которой, готов поклясться, никогда не ступал прежде, я наткнулся на кинотеатр, в котором, несмотря на густую патину художественной перестройки, еще можно было узнать приют «Рынка женщин», и тогда все вдруг стало ясно. Теперь у меня была надежная точка отсчета, и я точно знал, где нахожусь. Я целеустремленно отмерил шагами 500 ярдов на север, свернул на запад — я мог бы проделать это с завязанными глазами — и оказался прямо перед заведением миссис Смегмы. Оно по-прежнему было отелем и выглядело все тем же, насколько мне помнилось, только в саду перед домом появилась асфальтовая площадка для автомобилей да пластиковая вывеска, возвещающая о наличии цветных телевизоров и ванны «en suite»^[9].

Мне пришло в голову постучаться в дверь, однако я не видел в этом смысла. Драконоподобной миссис Смегмы, конечно, давно уже здесь нет — она на пенсии, или умерла, или поселилась в одном из множества приютов для стариков, которыми кишит южное побережье. Вряд ли она перенесла

перемены в жизни английских гостиниц — все эти ванны «en suite», кофейные автоматы и доставку пиццы прямо в номер.

Если она попала в приют — а я считаю это самым вероятным, — искренне надеюсь, что у сиделок хватает милосердия и здравого смысла почаще распекать ее за брызги на сидении унитаза, за недоеденный завтрак и вообще за то, что она беспомощна и утомительна. Это поможет ей чувствовать себя как дома.

Развеселившись от этой мысли, я свернул на Фолкстон-роуд к вокзалу и купил билет на ближайший поезд в Лондон.

Глава вторая

Господи помилуй, ну не велик ли Лондон? Он начинается, кажется, милях в двадцати от Дувра и тянется без конца, мило за милей: серые пригороды стандартных домиков на одну или две семьи, словно выжатых из огромной машины для производства сосисок. Хотел бы я знать, как миллионы жильцов находят дорогу к нужной им коробочке в этом сложном и однообразном лабиринте.

Я точно не сумел бы. Для меня Лондон остается огромной и вдохновляющей тайной. Я жил и работал в нем и в его окрестностях восемь лет, смотрел по телевизору лондонские новости, читал вечерние газеты, измерил шагами немало его улиц в поисках дома, где праздновали венчание или день рождения или где ждали безмозглых гостей для заключения какой-нибудь сделки, но и до сих пор обнаруживаю участки города, в которых не то что не бывал — даже не слышал о них. Для меня постоянная забава, читая «Ивнинг пост» или болтая с кем-то из знакомых, наткнуться на упоминание района, умудрившегося двадцать один год избегать моего внимания.

— Мы только что купили домик в Фэг-Энд у Тангстен-Хит, — скажет кто-то, и я поражаюсь: «В первый раз слышу! Как же это получается?»

Перед выходом я запихнул в рюкзак справочник «Лондон от А до Я», и теперь, в поисках недоеденного батончика «Марс», который точно сунул туда же, наткнулся на эту книженцию. Достав ее, я празднично перелистал деловитые страницы и в который раз дивился, находя на них районы, деревушки и поглощенные большим городом городки, которых, готов поклясться, там не было, когда я смотрел в прошлый раз: Дадден-Хилл, Плэшет, Снейрсбрук, Фулвелл-Кросс, Элторн-Хайтс, Хайам-Хилл, Леснесс-Хит, Биконтри-Хит, Белл-Грин, Вэлли оф Хелф... И в чем вся штука — я наверняка знаю, что в следующий раз, как я загляну в справочник, там окажутся другие, новые названия. Для меня это столь же глубокая тайна, как затерянные таблицы инков или шумная популярность Ноэля Эдмондса^[10].

Я не перестаю восхищаться справочником «От А до Я» и скрупулезностью, с какой он отмечает каждую площадку для крикета и канализационные работы, каждое забытое кладбище и блуждающие по пригородам тупики и плотные столбцы названий самых крошечных забытых местечек. Я случайно открыл указатель и от нечего делать

погрузился в него. Я подсчитал, что в Лондоне числится 45 687 названий улиц (плюс-минус), в том числе 21 Глостер-роуд (со щедрой прослойкой Глостер-кресент, — сквер, — авеню и — клоуз), 32 Мэйфилда, 35 Кавендишей, 66 Орчард, 74 Виктории, 111 Стейшн-роуд, 159 Черчроуд и — лейн, 25 Авеню-роуд, 35 просто авеню, а прочим множествам несть числа. И при том мест с интересными названиями на удивление мало. Имеется несколько улиц, напоминающих жалобы пациентов (Шинглз-лейн и Бернфут-авеню — дословно Лишайный переулок и авеню Обожженной Ноги), и еще несколько походят на подписи к анатомической таблице (Терапия-роуд и Пендула-роуд), иные звучат несколько отталкивающе (Колд-Блоу-лейн — переулок Жестокого удара, Друп-стрит — Горбатая улица, Гаттер-лейн — Сточный переулок), а несколько приятно веселят (Колдбат-сквер — площадь Холодной Ванны, Глимпсинг-грин — Мимолетная лужайка, Хэмшейдс-клоуз — тупик Окорочковых Ставен, Кактус-уок, Наттер-лейн — Чокнутый переулок, Баттс — Ягодицы) — но лишь очень немногие могут быть названы действительно завлекательными. Я где-то читал, что при Елизавете в городе где-то имелся переулок Гроупкант-лейн (Хватизахрен), но, по-видимому, его больше не существует. Полчаса я провел, развлекаясь таким образом, радуясь, что въезжаю в мегаполис загадочной и непостижимой сложности, а в качестве приятного дополнения, запихивая справочник обратно в рюкзак, наткнулся на половинку «Марса». Обломанный конец шоколадки был празднично украшен пушинками, но это совершенно не повлияло на вкусовые качества, а только прибавило плитке полезного веса.

Вокзал Виктория, как обычно, наполняли растерянные туристы, выскакивающие из засады зазывалы и вырубившиеся пьяницы. Не припомню, когда я в последний раз видел на этом вокзале человека, похожего на ожидающего поезд пассажира. Мне попались трое, осведомившиеся, нет ли у меня лишней мелочи — «Нет, но спасибо, что поинтересовались!»; двадцать лет назад такого быть не могло. Тогда попрошайки не только были редкостью, но всегда имели наготове историю о потерянном бумажнике и отчаянной необходимости получить два фунта, чтобы добраться до Мейдстоуна, чтобы сдать донорский костный мозг для маленькой сестрички. А теперь они тупо просят денег, что занимает меньше времени, но далеко не так интересно. Я взял такси, чтобы доехать до отеля «Хэзлитт» на Фрит-стрит. «Хэзлитт» мне нравится своей нарочитой неприметностью — у него даже нет вывески на фасаде, что ставит вас в на редкость выигрышную позицию относительно таксиста. Позвольте сразу заметить, что лондонские таксисты, бесспорно, лучшие в

мире. Они надежны, умело водят машину, как правило, дружелюбны и неизменно вежливы. Они поддерживают в машинах безупречную чистоту и идут на великие жертвы, чтобы высадить вас точно в пункте назначения. У них имеются всего две маленьких странности. Первая — они не способны больше 200 футов проехать по прямой. Я никогда не умел этого объяснить, однако, куда бы вы ни ехали и какова бы ни была обстановка на улицах, каждые двести футов у них в голове словно звонит звоночек, и они резко сворачивают в боковую улочку. А подвозя вас к вашему отелю или вокзалу, они непременно объедут его кругом по меньшей мере один раз — чтобы дать вам полюбоваться со всех сторон.

Вторая отличительная черта — именно из-за нее я люблю ездить к «Хэзлитту», — что таксисты терпеть не могут признаваться, что не знают, где находится место, которое, как им кажется, они должны знать — например, отель. Они скорее доверят свою юную дочь Алану Кларку^[11] на весь уик-энд, чем хоть на йоту поступятся знанием перед невежеством — и я нахожу это очаровательным.

И вот, вместо того, чтобы спросить, они ставят опыты. Проедут немного, глянут на вас в зеркальце и с наигранной непринужденностью спросят:

— «Хэзлитт» — это тот, что на Керзон-стрит, против «Голубого льва», шеф? — Но, едва заметив возникающую у вас на губах ироническую улыбочку, спохватываются: — Нет, постойте-ка... Это я спутал с «Хазлбери». Вам-то ведь «Хэзлитт» нужен, так?

И сворачивают на первую попавшуюся улицу, а немного спустя задумчиво осведомляются:

— Это ведь, помнится, ближе к Шепердс-Буш, нет?

Когда вы скажете, что это на Фрит-стрит, то слышите в ответ:

— Ах, тот! Ну, конечно. Я так и знал — модерновое местечко, сплошное стекло.

— Вообще-то это кирпичное здание восемнадцатого века.

— Ну, ясное дело. Как же его не знать.

И выполняют разворот на месте, вынуждая проезжающего велосипедиста врезаться в фонарный столб (так ему и надо, потому что на штанинах у него прищепки, а на голове этаким модный защитный шлем, так что парень просто напрашивается, чтоб его сбили).

— Да, это вы меня запутали, вот я и думал о «Хазлбери», — добавляет водитель, хихиканьем намекая, как вам повезло, что он разобрался в ваших сумбурных указаниях, и ныряет в переулок, отходящий от Стрэнда. Вы читаете название: Раннинг-Соур-лейн (проезд Мокрой Болячки) или

Сфинктер-пасседж, и в который раз обнаруживаете, что даже не подозревали о его существовании.

«Хэзлитт» — приятный отель, но больше всего мне в нем нравится, что он ведет себя не как отель. Ему уже много лет, и служащие в нем всегда доброжелательны — приятное новшество в отеле крупного города, — но они умудряются создавать легчайшее впечатление, что занимаются своим делом не слишком давно. Скажите им, что вы забронировали номер и хотите в него вселиться, и они с перепуганным видом начинают сложные поиски регистрационной карточки и ключа от номера. В самом деле, это совершенно очаровательно. А девушки, прибирающие в номерах — номера, позвольте заверить, содержатся в безупречной чистоте и чрезвычайно уютны, — эти девушки, кажется, не слишком хорошо владеют английским, так что когда вы просите у них кусок мыла или что-то в этом роде, они пристально смотрят вам в рот, а потом частенько возвращаются и с надеждой в глазах вручают вам горшок с цветком, или стульчак, или что-либо другое, никак не напоминающее мыло. Удивительное местечко. Я его ни на что не променяю.

Он называется «Хэзлитт», потому что в этом доме жил когда-то эссеист Хэзлит, и спальни носят имена его соседок, или женщин, с которыми он здесь спал — что-то в этом роде. Признаться, мои сведения об этом парне довольно обрывочны. Вот они:

Хэзлитт Уильям. Английский (или шотландский?) эссеист, годы жизни — до 1900 года. Самые известные труды — не знаю. Шутки, эпиграммы, остроты: неизвестны. Другая полезная информация: в его доме теперь отель.

Я, как всегда, принял решение прочитать что-нибудь о Хэзлитте, чтобы заполнить пробел в образовании, и, как всегда, немедленно забыл о своем решении. Я швырнул рюкзак на кровать, извлек блокнотик и ручку и выбрался на улицу, вооружившись любопытством и мальчишеским азартом.

Я в самом деле нахожу Лондон восхитительным местом. Как ни противно мне соглашаться со старым занудой Сэмюэлом Джонсоном, несмотря на помпезную тупость его замечания: «Если вы устали от Лондона, значит, вы устали от жизни» (наблюдение, по бессмысленности сравнимое лишь с фразой: «Пусть улыбка будет вам зонтиком!»), но оспорить его я не могу. После семи лет жизни в стране, где дохлая корова собирает толпу, Лондон в некоторой степени ослепляет.

Я никак не могу понять, почему лондонцы не видят, что живут в самом удивительном в мире городе. На мой взгляд, он куда красивее и интереснее

Парижа, а по живости с ним сравнится только Нью-Йорк — и даже Нью-Йорк уступает ему во многих существенных отношениях. В нем больше истории, лучше парки, более живая и разнообразная пресса, лучшие театры, больше оркестров и музеев, более зеленые скверы, более безопасные улицы, а горожане более любезны, чем в любом другом большом городе мира.

И еще в Лондоне больше своеобразных мелочей — можете назвать их маленькими любезностями, — чем во всех известных мне городах: веселые красные почтовые ящики, водители, которые в самом деле пропускают пешеходов на переходе, маленькие забытые церквушки с удивительными названиями вроде Святой Андрей у Гардероба или Святой Джайлс Шестипенсовые ворота, неожиданно тихие местечки вроде Линкольнз-Инн и площади Ред Лайон, любопытные статуи неизвестных викторианцев в тогах, пабы, черные такси, двухэтажные автобусы, готовые помочь полицейские, вежливые объявления, горожане, которые останавливаются, чтобы помочь упавшему или уронившему покупки, и лавочки на каждом углу. Какой еще город потрудился бы развесить на домах синие таблички, чтобы известить вас, какая знаменитость здесь проживала, или посоветовать посмотреть налево или направо, прежде чем шагнуть на мостовую? Я вам скажу! Никакой!

Исключите аэропорт Хитроу, погоду и все здания, которых коснулся костлявым пальцем Ричард Сейферт, — и вы повсюду найдете почти полное совершенство. И, раз уж мы об этом заговорили, запретите сотрудникам Британского музея забивать двор своими машинами и превратите его в зеленый сад, а еще избавьтесь от жутких, неряшливых и дешевых барьеров перед Букингемским дворцом — они совершенно не к лицу ее несчастному, осажденному во дворце величеству. И, конечно, приведите музей естественной истории в тот вид, в каком он был, пока его не раздолбали (совершенно необходимо вернуть на место выставку насекомых, вредящих домашнему хозяйству, демонстрировавшуюся с 1950-х годов), и сделайте бесплатным вход во все музеи, и заставьте лорда Палумбо вернуть на место здание «Маппин и Уэбб», и восстановите дома на Лайонс-Корнер, но теперь пусть в них кормят чем-нибудь съедобным, и хорошо бы еще кофейную лавку «Кардома» ради старых добрых времен; последнее, но самое главное — заставьте совет директоров «Бритиш Телеком» выйти наружу и лично выследить каждую проданную ими красную телефонную будку, использующуюся под душевую кабину или сарай во всех концах земного шара, пусть приволокут все обратно, а потом засадите их за решетку — нет, лучше убейте. И тогда Лондон станет

воистину великолепным местом.

Я впервые за много лет приехал в Лондон без особой цели и с легким трепетом ощутил себя свободным и не востребуемым в огромном гудящем организме города. Я прошелся по Сохо и Лестер-сквер, заглянул ненадолго в книжный магазин на Чаринг-Кросс-роуд, переставляя книги по своему вкусу, бесцельно поблуждал по Блумсбери и наконец вышел через Грейс-Инн-роуд к старому зданию «Таймс», превратившемуся в офис незнакомой мне компании, и сердце мое сжала ностальгия, знакомая лишь тому, кто помнит дни горячего типографского металла и шумных репортерских комнат и тихой радости — получать весьма недурное жалование за двадцатипятичасовую рабочую неделю.

Когда я начинал в «Таймс», после знаменитого годичного перерыва в ее работе, раздутый штат и небольшая нагрузка были, мягко говоря, в обычае. В отделе «Новости компаний», где я работал помощником редактора, мы большую часть дня пили чай и читали вечерние газеты, дожидаясь, пока репортеры совершат ежедневный подвиг: отыщут дорогу к своим столам после трехчасового обеденного перерыва, включавшего несколько бутылок очень приличного «Шатонеф дю Папе», подсчитают расходы, пошепчутся, скрючившись над телефонными трубками, со своими брокерами, обсуждая чаевые, оставленные за крем-брюле, и наконец принесут пару страниц текста, прежде чем отбыть, умирая от жажды, через дорогу, в «Голубого льва».

Примерно в половине пятого мы принимались за непыльную работенку, а через час или около того надевали пальто и расходились по домам. Работа казалась неправдоподобно легкой и приятной. К концу первого месяца один из коллег научил меня, как вставлять воображаемые покупки в список расходов и относить его на третий этаж, чтобы обменять через маленькое окошечко примерно на 100 фунтов наличными — таких денег я буквально никогда не держал в руках. Нам предоставляли шестинедельный отпуск, три недели авторского и месяц творческого отпусков. Что за чудное местечко была тогда Флит-стрит, и как я был счастлив ему принадлежать!

Увы, ничто хорошее не вечно. Несколько месяцев спустя Руперт Мердок взял «Таймс» в свои руки, и через несколько дней здание наполнилось таинственными загорелыми австралийцами в белых рубашках с короткими рукавами. Они шастали у нас за спинами с табличками для заметок и, похоже, взглядами снимали мерку на гробы. Существует легенда, которая, подозреваю, могла основываться на истинном происшествии: один из этих функционеров заглянул в комнатку на

четвертом этаже, битком набитую народом, спросил, что они здесь делают, и, не услышав ни одного внятного ответа, единым махом уволил всех, кроме одного счастливого, который как раз выскочил к букмекеру. Возвратясь, он нашел комнату пустой и провел в ней в одиночестве еще два года, гадая, что стряслось с его коллегами.

В нашем отделе борьба за эффективность проходила менее остро. Отдел, где я работал, подчинили более крупному отделу деловых новостей, вследствие чего мне пришлось работать ночами, чуть ли не восемь часов в сутки, и к тому же нам немилосердно урезали расходы. Но хуже всего было то, что мне пришлось регулярно иметь дело с Винсом с телетайпа.

Винс был притчей во языцех. Он вполне мог бы считаться самым отвратительным человеком на свете — будь он человеком. Чем он был, я не знаю, могу только описать пять футов шесть дюймов злонравия, одетые в нестираную футболку. Поговаривали, что он и родился не как все, а готовеньким вывалился из материнского живота и тут же рухнул в сточную трубу. В числе немногих простых и дурно исполняемых обязанностей Винса была и такая: передавать нам сообщения с Уолл-стрит. Каждый вечер мне приходилось самому вытягивать из него сообщения. Найти его обычно удавалось в шумной беспорядочной суматохе телетайпа. Он сидел, развалившись в кожаном кресле, отвоеванном в административном отделе этажом выше, плюхнув перед собой на стол ноги в башмаках «Док Мартенс», а рядом — вскрытую, а порой и опустошенную коробку с пиццей.

Что ни вечер, я робко стучался в открытую дверь и вежливо спрашивал, не видел ли Винс сообщений с Уолл-стрит, напоминал, что уже четверть двенадцатого, а нам следовало бы получить их в половине одиннадцатого. Не мог бы он отыскать их в грудях забытых бумаг, изливавшихся из его многочисленных аппаратов?

— Не знаю, может, ты не видишь, — отвечал Винс, — я ем пиццу.

К Винсу у каждого был свой подход. Одни прибегали к угрозам. Другие к подкупу. Третьи стремились обаять. Я — умолял.

— Пожалуйста, Винс, не мог бы ты их мне отдать, ну, пожалуйста. Всего-то секунда, а мне станет куда легче жить.

— Отвали.

— Пожалуйста, Винс. У меня жена, семья, а меня грозят уволить, потому что сведения с Уолл-стрит всегда опаздывают.

— Отвали.

— Ну, может, ты просто скажешь, где они, а я сам возьму?

— Ты отлично знаешь, что не смеешь здесь шарить.

Телетайп принадлежал профсоюзу, носившему таинственное имя NATSOPA. NATSOPA, чтобы держать в своих когтях нижние эшелоны газетной промышленности, помимо всего прочего, хранила в тайне секреты технологии — например, способ выдернуть из машины листок с телеграммой. Винс, как мне помнится, прошел шестинедельный курс подготовки в Истборне. Ни на что другое сил у него уже не осталось. Журналистов он и на порог не пускал. Наконец, когда мои мольбы переходили в невнятное хныканье, Винс тяжело вздыхал, запихивал в пасть ломоть пиццы и шел к двери. На добрые полминуты он застывал нос к носу со мной. Это было самое тяжелое испытание. Дыхание его не ведало вкуса зубной пасты. Глазки блестели, как у крысы.

— Ты меня достал, — хрипло рычал он, осыпая меня крошками размокшей пиццы, после чего либо отдавал мне сообщения с Уолл-стрит, либо мрачно возвращался в свое кресло. Заранее предсказать исход было невозможно.

Однажды, в особенно трудный вечер, я пожаловался, что мне не справиться с Винсом, ночному редактору Дэвиду Хопкинсону, который и сам, когда хотел, являл собой грозную фигуру. Хопкинсон, фыркнув, пошел разбираться и даже вошел в помещение телетайпа — впечатляющее нарушение установленных границ. Через несколько минут он вышел обратно, красный и встрепанный, стряхнул с лица крошки пиццы и вообще выглядел совсем другим человеком. Он негромко уведомил меня, что сообщения Винс скоро принесет, а пока лучше его не беспокоить. В конце концов я открыл более простой способ: вырезал курсы валют на конец дня из первого выпуска «Файненшл таймс».

Сказать, что Флит-стрит в начале 1980-х годов не поддавалась контролю, значит лишь намекнуть на масштаб хаоса. Национальная ассоциация графики, профсоюз печатников, решала, сколько человек требуется на одну газету (многие сотни), сколько можно уволить во время спада (ни единого), и предъявляла администрации соответствующий счет. Правление не властно было нанимать и рассчитывать типографских работников, да, собственно, и не знало, сколько народу числится в редакции. Сейчас передо мной газета от декабря 1985 года. Заголовок гласит: «Аудитор обнаружил в «Телеграф» излишки штата в 300 человек». Это надо понимать так, что газета «Телеграф» платила жалование 300 сотрудникам, которые у них не работали. Жалование выплачивалось по сдельной системе, столь хитроумной, что в каждой репортерской комнате на Флит-стрит имелась книга расценок, толстая, как телефонный справочник. Помимо жирного жалования, печатники получали бонусные

доплаты — вычислявшиеся порой с точностью до десятых долей пенни — за набор шрифтом необычного размера, за набор густо правленной статьи, за набор неанглийских слов и за пробелы в конце строк. Если работа выполнялась не в типографии — например, приносили готовый набор для рекламы, — они получали компенсацию за то, что не набирали статью.

В конце каждой недели старший представитель ассоциации подсчитывал все доплаты, прибавлял кое-что в легкорастяжимую статью «за дополнительное беспокойство» и представлял счет в правление. В результате кое-кто из старших наборщиков, знавших свое дело не лучше работника какой-нибудь захолустной типографии, получал доход по верхней планке заработной платы в Англии. Это было безумие.

Не стоит рассказывать, чем это кончилось. 24 января 1986 года «Таймс» одновременно уволила 5250 членов самых агрессивных профсоюзов — или вынудила их уволиться по собственному желанию. Вечером того же дня сотрудников редакции собрали наверху, в конференц-зале, и редактор Чарли Уилсон встал из-за стола и сообщил о переменах. Уилсон был кошмарный шотландец и с головы до пят человек Мердока. Он с ужасным шотландским выговором произнес:

— Мы вас, английских сопляков, посылаем в Уоппинг, и ежели вы будете очень-очень стар-раться и не станете меня сер-рдить, то, может статья, я не стану р-резать вам уши и запекать их в свой р-рождественский пудинг! Вопр-росы есть? — или что-то в этом духе.

400 запуганных журналистов вывалились из зала, возбужденно переговариваясь и пытаясь смириться с мыслью о великом переломе в их трудовой жизни, я же стоял, озаренный сиянием единственной восторженной мысли: мне больше не придется работать с Винсом!

Глава третья

Я не бывал в Уоппинге с тех пор, как уехал оттуда летом 1986 года, и мне очень хотелось снова повидать город. Я договорился о встрече со старым другом и коллегой, прошел до Чэнсери-лейн и сел в метро. Я очень люблю метро. Спускаться в недра земли, чтобы сесть в поезд — в этом есть что-то сюрреалистическое. Там, внизу, существует отдельный маленький мир, с особыми ветрами и климатом, с собственными жуткими звуками и маслянистыми запахами. Даже если вы спуститесь так глубоко, что совершенно потеряете представление, где находитесь, и уже не удивитесь, встретив выходящую из туннеля бригаду чумазных шахтеров — даже там вы ощутите под ногами дрожь и услышите рокот поезда, проходящего линией ниже. И все это происходит в организованной тишине: тысячи людей проходят по лестницам и эскалаторам, входят и выходят из битком набитых поездов, мотая головами, ускользают во тьму — и все молча, словно в эпизоде из «Живых мертвецов».

Стоя на платформе под очередной, довольно свежей лондонской любезностью — а именно, электронным табло, оповещающим, что очередной поезд на Хэйно прибудет через 4 минуты, — я обратил внимание на грандиознейшее из лондонских удобств: карту лондонской подземки. Этот шедевр создан еще в 1931 году забытым героем по имени Гарри Бек, безработным возчиком, догадавшимся, что, находясь под землей, не обязательно знать, где конкретно ты находишься. Бек понял — какой прорыв! — что, если только станции приведены в правильном порядке, а пересечения линий указаны четко, вполне возможно исказить масштаб, а то и вовсе от него отказаться. Он придал своей карте упорядоченную точность электрической схемы и создал совершенно новый, воображаемый Лондон, мало чем связанный с сумбурной надземной географией.

Вы можете сыграть с приезжими из Ньюфаундленда или Линкольншира забавную шутку. Приведите их на станцию «Банк» и предложите добраться до Мэншн-хауса. Пользуясь картой Бека — а в ней мгновенно разберутся даже приезжие из Линкольншира, — они решительно отправятся поездом Центральной линии до «Ливерпуль-стрит», переседадут на Кольцевую линию в западном направлении и проедут еще пять остановок. Вынырнув, наконец, из-под земли, на станции «Мэншн-хаус», они обнаружат, что оказались на той же улице в 200 футах от отправной точки, а вы, пока их ждали, успели неспешно позавтракать и

сделать покупки. Теперь проведите своих друзей на «Грейт-Портленд-стрит» и назначьте им встречу на «Риджентс-парк» (правильно, опять та же шутка!), а потом на станцию «Темпл» и назначьте свидание в Олдвиче. Тогда вы позабавитесь! А когда игра надоест, попросите подождать вас на станции «Бромптон-роуд». Ее закрыли в 1947 году, так что больше вы своих гостей не увидите.

Самое лучшее в поездке на метро — то, что не видно мест, под которыми проезжаешь, и приходится их себе воображать. В других городах названия станций метро совершенно обыденны: «Потсдаммерплац», «Лексингтон-авеню», «Третья Южная улица». А лондонские названия звучат удивительно завлекательно: Стэмфорд-Брук, Тернем-Грин, Бромли-бай-Боу, Мейда Вэйл, Дрейтон-парк. Это не город, а роман Джейн Остен. Легко представить, что над вами проносится полумифический город золотого, доиндустриального века. Суисс-коттедж (Швейцарская хижина) — уже не шумный перекресток, а пряничный домик, запрятанный в глубине дубравы, известной как Лес Святого Иоанна (Сент-Джонс-Вуд). Чок-фарм (Меловая ферма) — просторные поля, где веселые крестьяне в коричневых балахонах собирают урожай мелков. В Блэк-Фрайарз (аббатстве черных братьев) монахи в капюшонах поют хоралы. Над Оксфорд-Серкус (дословно «цирк») висится полотняный купол, в Баркинге лают своры диких собак^[12]; Тейдон Буа — пристанище трудолюбивых ткачей-гугенотов, в Уайт Сити (Белый город) высятся стены и башни из слоновой кости, а в Холланд-парке полно голландских ветряных мельниц.

Можно затеряться в этих маленьких фантазиях, но, поднявшись наверх, будьте готовы к разочарованию. В этот раз я вышел на «башенном холме» — Тауэр-хилл — и не увидел ни башни, ни холма. Вы не найдете и Ройял Минт (Королевского монетного двора — или королевской мяты, которую я любил воображать в виде очень больших шоколадок в зеленой фольге), потому что его куда-то перенесли и заменили зданием с множеством дымчатых стекол. Многое из того, что когда-то стояло в этом шумном уголке Лондона, теперь снесли и заменили зданиями с дымчатыми стеклами. Я не был здесь всего восемь лет, но если бы не постоянные ориентиры: Лондонский мост и Тауэр, — я бы вряд ли опознал знакомые места.

Я шел по несносно шумной улице под названием Хайвэй, разглядывая все эти новшества. Мне чудилось, будто я оказался на конкурсе на самое уродливое здание. Чуть не десять лет архитекторы съезжались сюда и заявляли:

— Вы думаете, это плохо? Погодите, вы еще не видели, на что я

способен!

И над всеми этими бездарными современными конторами гордо высится самая уродливая постройка в Лондоне — комплекс «Ньюс интернешнл», напоминающий главный кондиционер планеты.

Когда я видел его в последний раз, в 1986 году, он одиноко торчал над акрами пустующих складских здания и залитых лужами пустырей. Хайвэй, сколько мне помнится, был сравнительно тихой проезжей дорогой. Теперь по Хайвэю грохочут тяжелые грузовики, земля содрогается, а воздух принимает нездоровый голубоватый оттенок. Сам комплекс по-прежнему окружен зловещего вида забором и электронными воротами, к которым добавилась чрезвычайно суровая охрана — такую ожидаешь увидеть на могильнике плутония в Селлафилде. Бог весть, на какую террористическую угрозу тут рассчитывают, но, видимо, на что-то серьезное. Я в жизни не видел более неприступного строения.

Я назвал себя в окошко охраннику и подождал снаружи, пока вызовут моего коллегу. Самое жуткое во всем этом — непробиваемая серьезность происходящего. У меня в памяти вставали картины: толпы демонстрантов, конная полиция, сердитые пикетчики, которые орут друг на друга, сверкая глазами и скаля зубы, и тут же смущенно улыбаются: «О, привет, Билл, я тебя не узнал», — дают закурить и заводят разговор о том, какие ужасы творятся. И в самом деле, это был ужас — для 5000 уволенных, среди которых были сотни достойных тихих библиотекарей, клерков, секретарей и курьеров, виноватых лишь в том, что они вступили в профсоюз. К их чести, большинство не держало личной обиды на тех, кто остался на работе, хотя, признаюсь, видение Винса, выступающего из толпы с мачете в руках, всегда заставляло меня ускорить шаг.

Примерно в 500 ярдах по северной стороне участка, граничащего с Пеннингтон-стрит, стоит низкое, глухое кирпичное здание старого склада, оставшегося с тех дней, когда Ист-Энд был шумным портом и снабжал товарами весь город. Выпотрошенное и набитое затем под завязку технологическими новинками, это здание сделалось, и остается до сих пор, офисом «Таймс» и «Санди таймс». В нем мы всю долгую зиму 1986 года мучились с новыми компьютерами и прислушивались к пению и гулу голосов, к цоканью подков полицейских лошадей, к реву и воплям, когда в ход шли дубинки. Поскольку в здании не было окон, видеть мы ничего не видели. Странное ощущение. Мы смотрели «Девятичасовые новости», потом выходили наружу и видели то же самое — самые жестокие промышленные волнения, какие знавали лондонские улицы — воочию, прямо перед нашими воротами. Очень странный опыт.

Для поддержания морального духа компания каждый вечер раздавала круглые коробки с сэндвичами и пивом. Это выглядело как широкий жест, пока не выяснилось, что щедрость тщательно рассчитана — так, чтобы на каждого сотрудника приходился один размякший сэндвич с ветчиной и один стаканчик теплого «Хайнекена». Кроме того, нас одарили глянцевыми брошюрками, представлявшими планы компании на развитие территории после окончания забастовки. Каждому из тех брошюрок запомнилось свое. Я как сейчас помню технический набросок большого крытого бассейна, где необычайно плотные и здоровые на вид журналисты ныряли с бортиков или просто сидели, болтая ногами в воде. Другим запомнились площадки для сквоша и спортивные залы. Один мой знакомый вспоминает боулинг на десять дорожек. Почти всем помнится просторный современный бар из разряда тех, что можно увидеть в зале для вип-пассажиров в фешенебельном аэропорту.

Даже из-за ограждения мне видно было несколько новых зданий, и не терпелось взглянуть, какими же удобствами осчастливлены нынешние сотрудники редакции. С этим вопросом я и обратился прежде всего к коллеге (чье имя не решаюсь здесь привести из опасения, как бы он не обнаружил вдруг, что его перевели на разборку секретной рекламы телераспродаж), когда он вышел за мной к воротам.

— А, помню я этот бассейн, — сказал он. — Мы о нем и не слышали с тех пор, как волнения прекратились. Впрочем, надо отдать им должное, нам продлили рабочее время. Теперь разрешают работать лишний день каждые две недели — без дополнительной оплаты.

— Это они так показывают, как высоко вас ценят?

— Они бы не просили нас работать больше, если бы им не нравилось, как мы работаем, не так ли?

— Именно так.

Мы прошли по главной дорожке между старым кирпичным складом и монументальной новой типографией. Люди походили на статистов в голливудском фильме: рабочий с длинной деревянной рейкой, две женщины в модных деловых костюмах, какой-то парень в шляпе с жесткими полями и планшеткой в руках, курьер, несущий большой цветочный горшок. Мы прошли в дверь издательского отдела «Таймс», и я тихо ахнул. Возвращаясь в знакомые места и видя те же лица за теми же столами, всегда испытываешь небольшой шок, в котором сочетаются узнавание — будто никуда и не уходил — и глубокая, согревающая сердце благодарность за то, что ушел. Я увидел старого приятеля Микки Кларка, ныне звезду журналистики; нашел Грэма Сарджента в той же пещерке со

стенами из газетных пачек и пресс-релизов, сохранившихся со времен, когда мистер Моррис еще делал мототележки; повстречал друзей и прежних коллег. Мы проделывали все, что полагается в подобных случаях: мерились животами и лысинами, составляли список пропавших и умерших. Все было просто здорово.

Потом меня отвели пообедать в столовую. В старом здании «Таймс» на Грейс-Инн-роуд столовая располагалась в подвале, обстановка напоминала трюм подводной лодки, а тарелки выплевывали на стол унылые автоматы, почему-то приводившие на ум мышей в передниках; новая же была светлой и просторной, с соблазнительным выбором блюд, и подавали их хорошенькие девушки-кокни в хрустящей чистой униформе. Сам обеденный зал не изменился, если не считать открывавшегося из окон вида. Там, где прежде тянулись болота грязи, пересеченные канавами, в которых ржавели кроватные стойки и магазинные тележки, теперь стояли ряды построенных по авторским проектам домиков и нарядные многоквартирные здания из тех, что всегда можно увидеть в Британии рядом с модернизированными набережными: сплошные балконы и наружная отделка из красных металлических труб. Мне пришло в голову, что я, хоть и проработал в Уоппинге семь месяцев, никогда его толком не видел, и мне вдруг остро захотелось осмотреться. Разделавшись с пудингом и тепло распрощавшись с бывшими коллегами, я выскочил из охраняемых ворот, нарочно не сдав пропуск. Я надеялся, что взревет сирены воздушной тревоги и люди в костюмах химзащиты примутся прочесывать участок, разыскивая меня, а потому, нервно оглядываясь, ускорил шаг, торопясь уйти подальше по Пеннингтон-стрит, поскольку догадывался, что такой поворот дел не столь уж невероятен, когда речь заходит о «Ньюс интернешнл».

Я никогда не ходил по Уоппингу пешком, потому что во время волнений это было небезопасно. Пабы и кафе в этом районе кишели недовольными печатниками и делегациями сочувствующих — почему-то особенно все боялись шотландских шахтеров, — вполне готовых повыдергать кроткому журналисту ноги и наделать из них факелов для ночных шествий. Одному журналисту, столкнувшемуся в пабе неподалеку от Уоппинга с компанией бывших наборщиков, разбили об лоб стакан, от чего он, помнится, едва не умер — во всяком случае вечер у него был безнадежно испорчен.

На темных улицах было настолько небезопасно, что полиция часто задерживала нас до поздней ночи, если демоны особенно бесчинствовали.

Не зная, когда нас выпустят, мы выстраивали машины в длинную очередь и сидели в них часами, дрожа от холода. Где-нибудь от половины одиннадцатого до половины второго ночи, когда вопящую толпу разгоняли или растаскивали по кутузкам или просто большая часть протестующих разбредалась по домам, тогда ворота распахивались, и большая эскадра грузовиков с ревом выезжала по эстакаде на Хайвэй, где остатки толпы встречали их градом кирпичей и баррикадами. Остальным приказывали тем временем нырять в переулки на задворках Уоппинга и рассеиваться, отъехав на безопасное расстояние. Несколько ночей это проходило, но потом случилось так, что мы отправились по домам в час закрытия пабов. Перед нашей растянувшейся по улице процессией из теней вдруг показались люди. Они пинками распахивали двери пабов и высыпали на мостовую, швыряя в нас всем, что подворачивалось под руку. Передо мной разлетелась вдребезги бутылка, кто-то заорал во всю глотку. К моему глубокому и непреходящему изумлению, человек, двигавшийся в шести машинах впереди — взбалмошный типчик из иностранного отдела, которого я и теперь с удовольствием протащил бы по улице, привязав к заднему бамперу «лэндровера», — вышел взглянуть, не пострадал ли его автомобиль, как если бы наехал ненароком на гвоздь: и всем, кто ехал за ним следом, пришлось остановиться. Я помню, как, захлебываясь отчаянием, смотрел, как он пытается приладить на место оторвавшийся бампер и как, повернувшись, увидел в своем окне злобную рожу белого парня с подпрыгивающими дредами, в куртке с распродажи армейских излишков; все стало походить на кошмарный сон. Как странно, думалось мне, что совершенно незнакомый человек готов вытащить меня из машины и избить в кровь, заступаясь за печатников, которых он и знать не знает и которые, увидев его, отвернулись бы от немытого хиппи и уж точно никогда не приняли бы его в свой союз и, десятилетиями получая несоразмерное усилиям жалование, ни разу не проявили солидарности с работниками других профсоюзов, в том числе и со своими бастующими братьями из провинции. Потом меня осенила мысль, что я готов расстаться с собственной маленькой жизнью за человека, который запросто отказывается от своей нации ради денежной выгоды, который меня не знает и с такой же легкостью выставил бы на улицу и меня, если бы нашлась машина, чтобы делать мою работу, и чье представление о высочайшем великодушии сводится к полупинте пива и размякшему сэндвичу. Я уже представлял письмо, отправленное моей жене от имени компании: «Дорогая миссис Брайсон, примите наши соболезнования по поводу трагической гибели вашего супруга от рук разъяренной толпы и

прилагающиеся к ним банку пива и сэндвич. PS: будьте так любезны вернуть его пропуск на стоянку».

А между тем, пока громадный дикарь с косичками пытался выломать дверцу моей машины, чтобы выволочь меня на темную улицу, придурок из иностранного отдела медленно обходил свой «пежо», подвергая его столь тщательному осмотру, словно собирался купить подержанный автомобиль на распродаже, и временами приостанавливался, с недоумением глядя на кирпичи, осыпавшие машины позади, — редкое погодное явление! Наконец он залез обратно, поправил зеркало заднего вида, удостоверился, что оставленная на сиденье газета никуда не делась, включил фары, еще раз проверил зеркальце и поехал дальше. Я был спасен.

На пятый день компания прекратила раздачу сэндвичей и пива.

Совсем новое чувство — прохаживаться по сонным улицам Уоппинга, не опасаясь за свою жизнь. Я никогда не покупался на дикую теорию, будто Лондон по сути своей — всего лишь скопление деревушек. Где вы видели деревушки с многоуровневыми дорожными развязками, газометрами, вонючими помойками и с видом на башню почтамта? Однако Уоппинг, к моему удивлению и восторгу, походил именно на деревушку. Маленькие разнообразные магазинчики и улочки с радующими слух названиями: Синнамон-стрит (Коричная), Уотерман-уэй (Перевозная), Винегар-стрит (Уксусная), Милк-ярд (Молочный двор). Муниципальные здания выглядели весело и уютно, а угрюмые склады удачно переделаны в многоквартирные дома. Я инстинктивно содрогнулся при виде новеньких декоративных труб и при мысли, что эти некогда гордые цеха наполнились вопящими сосунками, всякими там Селенами и Джасперами, и все же, должен признать, они, несомненно, придали округе преуспевающий вид и к тому же спасли старые здания от более печальной судьбы.

У Старой пристани я остановился полюбоваться на реку и совершенно безуспешно попытался вообразить, как выглядел этот район в восемнадцатом и девятнадцатом веках, когда повсюду было полно рабочих, а на причалах громоздились бочонки с пряностями и приправами, по которым названы окрестные улочки. Еще в 1960 году в доках работали 100 000 человек, и Доклэндс был одним из самых активных в мире портов. К 1981 году закрылся даже Лондонский док. Река перед Уоппингом выглядела такой же тихой и безмятежной, как на полотнах Констебля. Я простоял полчаса и увидел всего одну лодку, проплывшую мимо. Тогда я вздохнул и пустился в долгий обратный путь к «Хэзлитту».

Глава четвертая

Я провел в Лондоне еще пару дней, не занимаясь ничем особенным: порылся в газетных подшивках в библиотеке, полдня пытался разобраться в сложной сети пешеходных переходов у Марбл-арч, походил по магазинам и повидался с друзьями.

Все мои знакомые, услышав, что я собираюсь проехать через всю Великобританию общественным транспортом, повторяли: «Ну, ты герой!»; мне же в голову не приходило воспользоваться другими средствами передвижения. Раз уж выпало счастье жить в стране с относительно хорошей системой общественного транспорта (применительно к тому состоянию, в какое она придет, когда тори с ней покончат), так, на мой взгляд, надо пользоваться, пока еще возможно. Кроме того, в наше время сидеть за рулем в Британии — такое скучное занятие! На дорогах слишком много машин, примерно вдвое против того, что было, когда я сюда приехал, а ведь в то время по дорогам, в сущности, на машинах не ездили. Их просто ставили на дорожке у дома и полировали примерно раз в неделю или около того. Примерно раз в год автомобиль «выводили» — так и говорили, будто это само по себе серьезное мероприятие — и тащились навестить родственников в Ист-Гринстеде или погулять по какому-нибудь Хэйлинг-айленду или Истберну; вот и все, если не считать полировки.

Теперь все и всюду ездят на машинах — понять этого я не могу, ведь водить машину в Британии не доставляет ни малейшего удовольствия. Вспомните, скажем, среднюю многоэтажную стоянку. Вы целую вечность кружите по ней, потом полвека втискиваетесь в узкое пространство, ровно на два дюйма шире среднего автомобиля. Потом обнаруживается, что припарковались рядом с колонной, и вам приходится перелезть через сиденье и протискиваться ногами вперед в пассажирскую дверцу; при этом вся грязь с борта машины переходит на спину вашего новенького пиджака из «Маркс и Спенсер». Потом вы отправляетесь на поиски платежного автомата, который не дает сдачи и не принимает монет, выпущенных после 1976 года, и еще ждете, пока стоящий впереди старичок перечитает все инструкции, после чего попытается запихнуть монетки в прорезь для чеков и в замочную скважину.

В конце концов вы получаете свой чек и тащитесь к машине, где заждавшаяся жена встречает вас вопросом: «Где тебя носило?». Не отвечая, вы протискиваетесь мимо колонны, разукрашиваясь пылью, чтобы

передние полы вашего пиджака не слишком отличались от спины, выясняете, что до ветрового стекла не дотянуться, потому что дверца приоткрывается ровно на три дюйма, и просто швыряете квитанцию на приборную панель. (Квитанция слетает на пол, но жена не видит, так что, бросив: «Хрен с ней!», вы запираете дверцу и протискиваетесь обратно, и тут жена замечает, во что вы превратились, после того как она столько сил потратила, наряжая вас, и выбивает из вас пыль ладонью, приговаривая: «Честное слово, с тобой никуда пойти нельзя!»)

А это только начало. Тихо отругиваясь, вы отыскиваете путь из этого холодного пекла через дверцу без надписи, ведущую в кунсткамеру, сочетающую в себе лучшие черты темницы и писсуара, или два часа дожидаетесь самого искореженного и ненадежного в мире лифта, который берет всего двоих — а в кабине и так два человека: мужчина с женой, выбивающей пыль из его новенького пиджака из «Маркс и Спенсер» и заботливо распекающей супруга на все корки.

Самое примечательное, что это нарочно — обратите внимание, нарочно — устроено так, чтобы всеми средствами испортить вам жизнь. От крошечных отсеков для машин — чтобы въехать в них, придется повернуть ровно на сорок шесть градусов (что, нельзя было их немного расширить?) — до колонн, тщательно расставленных так, чтобы как можно сильнее воспрепятствовать движению, до эстакад, таких темных, узких и крутых, что на них обязательно врежешься в ограждение, до редких, капризных и зловердных платежных автоматов. (Ни за что не поверю, что машина, способная распознавать и отвергать все существующие на свете иностранные монеты, не могла бы дать сдачу, если бы только захотела!) Все продумано так, чтобы сделать это испытание самым унижительным за всю вашу взрослую жизнь. Известно ли вам — сей факт редко упоминается, но это чистая правда, — что при торжественном открытии новой многоэтажной стоянки мэра и его жена должны торжественно пописать в лестничный пролет? Честное слово!

Такова лишь малая доля испытаний, ожидающих местного автовладельца. Несть числа трудностям, подстерегающим водителя самодвижущегося экипажа: колонна службы «Нэшнл экспресс», выворачивающая на автостраду у вас перед носом, или система встречных полос, протянутая на 8 миль, чтобы дать возможность работягам на передвижном кране менять лампочки в фонарях, или светофоры на развязках с плотным движением, не позволяющие продвинуться больше чем на 20 футов за раз, или сервисные площадки на автострадах, где за 4 фунта 20 пенсов можно получить микроскопическую чашечку кофе и

картофелину в мундире, в которую плюнули тертым чеддером, а в магазин заходить бессмысленно, потому что все журналы для мужчин запечатаны в полиэтилен, и вы бы обошлись без сборника хитов Уэйлона Дженнинга, и без болванов с прицепами, выворачивающих с второстепенной трассы прямо перед вами, и без старого дурня в «моррис майнор», который тащится через Озерный край на 11 милях в час и собирает за собой длинный хвост — он, видите ли, всегда мечтал возглавить парад... А сколько еще жестоких испытаний уготовано вашему терпению и рассудку! Моторные экипажи уродливы и грязны и взывают к худшему в людях. Они разрушают мостовые, превращают старинные рыночные площади в беспорядочные свалки металла, плодят заправки, рынки подержанных автомобилей, ремонтные станции и прочие пакости. Они ужасны и отвратительны, и в этой поездке я не желаю иметь с ними ничего общего. И вообще, жена не разрешила мне взять машину.

Вот так и случилось, что пасмурным субботним днем я оказался в исключительно длинном и пустом поезде на Виндзор. Я поднял спинку кресла и в гаснущем свете дня смотрел, как поезд скользит мимо деловых кварталов в чашу муниципальных зданий и стандартных домиков Воксолла и Клэпема. В Туикнеме я понял, почему в вагонах до сих пор было так пусто. Платформа оказалась забита мужчинами и мальчиками в теплой одежде и в шарфах. Они держали в руках блестящие программки и сумочки, из которых выглядывали крышки термосов с чаем. Толпа явно разъезжалась с Туикнемского поля для регби. В вагоны заходили терпеливо, не напирая, извиняясь, если нечаянно сталкивались или занимали чужое место. Меня восхищает такое инстинктивное внимание к другим людям, ставшее в Британии настолько обычным, что его почти не замечают. Почти все ехали до самого Виндзора — я решил, что там, верно, устроена большая парковка: не может в одном Виндзоре проживать столько фанатов регби; и у барьера на выход образовалась терпеливая пробка. Кондуктор отработанным движением принимал билеты и каждому проходящему говорил «спасибо». Смотреть на билеты он не успевал — легко можно было подсунуть ему крышку от картонной коробки, — зато успевал вежливо приветствовать каждого, и все благодарили его за то, что их освободили от билетов и выпустили. Настоящее чудо разумного порядка и доброжелательства. В любой другой стране пропускающий облаивал бы толпу, приказывая не толпиться и встать в очередь.

Блестевшие от дождя улицы Виндзора были не по сезону темными и зимними, но это не останавливало густые толпы туристов. Я снял номер в

отеле «Касл» на Хай-стрит — в одном из тех до странности беспорядочных отелей, где приходится пускаться в эпическое странствие по множеству коридоров и пожарных выходов. Я поднялся на один пролет по лестнице и не слишком далеко от него нашел следующий, по которому спустился, чтобы добраться до дальнего крыла, в котором моя комната оказалась последней. Все же это была приятная комната, и, на мой взгляд, если выйти через окно, из нее удобно было бы добираться до Рединга.

Я бросил багаж и вернулся той же дорогой, какой пришел, чтобы успеть посмотреть Виндзор, пока все не закроется. Я хорошо помнил Виндзор — мы в свое время ездили сюда за покупками, когда жили неподалеку, в Вирджиния-Уотер — и шагал по улицам как хозяин, отмечая, какие магазины за это время закрылись или перешли в другие руки (а эта участь мало кого миновала). Рядом с прекрасным зданием ратуши стоял Маркет-Кросс, столь опасно покосившийся, что поневоле задумаешься, не выстроен ли он так нарочно, ради привлечения японских туристов. Теперь в нем бар с холодными закусками, но внутрь, как и в другие дома на этих очаровательно тесных мощеных улочках, набили уйму всякого разного, по большей части связанного с туристским бизнесом. В прошлый раз, когда я сюда заходил, большая часть лавочек торговала рюмочками для яиц на ножках; теперь, они, похоже, перешли на изящные маленькие домики и замки. Только «Виндзорский лес», умудряющийся извлекать из лаванды коммерческую выгоду, какая мне и не снилась, по-прежнему продает мыло и туалетную воду. На Пискод-стрит вольно раскинулся «Маркс и Спенсер»; «Хэммик» и «Лора Эшли» переехали. А «Золотого яйца» и «Уимпи», как и следовало ожидать, уже нет. (Хотя я, признаться, питаю слабость к старомодному «Уимпи» с его странным представлением об американской кухне. Сдается мне, рецепты владельцам передавали по испорченному телеграфу.) Зато я с удовольствием отметил, что «Дэниел» — самый интересный универмаг Британии — остался на месте.

«Дэниел» — необыкновенный магазин. В нем вы найдете все черты провинциального универмага: низкие потолки, темные и тесные отделы, вытертые ковры, которые держатся на полосках изоленты, ощущение, что здание принадлежит этак одиннадцати разным хозяевам с различными вкусами; но самое поразительное — ассортимент товаров: резиновые подтяжки и воротнички на кнопках, пуговицы и фестонные ножницы, портмерионский фарфоровый сервиз из шести предметов, вешалка с одеждой для древних стариков, скромный выбор свернутых в рулоны ковров такой расцветки, какую можно увидеть, если крепко зажмурить глаза, комоды с отвалившимися ручками, шкафы, у которых дверцы

бесшумно распахиваются ровно через пятнадцать секунд после того, как вы попробовали их закрыть... «Дэниел» полностью отвечает моему представлению о том, как выглядела бы Британия при коммунистах.

Мне всегда представлялось неудачным — рассматривая вопрос с глобальной точки зрения, — что проведение столь важного социального эксперимента предоставили русским, хотя британцы справились бы куда лучше. Ведь все, необходимое для установления строгой социалистической системы, для бриттов — вторая натура. Прежде всего, они любят терпеть лишения. Они великолепно умеют сплачиваться, особенно перед лицом врага, ради будущего общего блага. Они будут стоять в бесконечных очередях и невозмутимо встретят введение пайков, скудную диету и внезапное исчезновение из продажи скобяных товаров — в чем может убедиться каждый, кто в субботу вечером искал хлеб по супермаркетам. Их не выводит из себя безликая бюрократия, они, как доказала миссис Тэтчер, терпимы к диктатуре. Они безропотно будут ждать годами операции или доставки купленной мебели. У них природный дар отпускать остроумные шутки о властях, не бросая тем серьезного вызова, и все, как один, радуются, видя богатых и могущественных поверженными в прах. Почти все, кому за двадцать пять, уже и теперь одеваются как восточные немцы. Одним словом, условия подходящие.

Пожалуйста, не подумайте, будто я говорю, что Великобритания под властью коммунистов стала бы лучше и счастливее — просто британцы проделали бы все как следует. Они провели бы эксперимент точно по плану, с искренним старанием и без большого мошенничества. Честно говоря, в 1970-х мало кто заметил бы перемену, а заодно мы бы избавились от Роберта Максвелла^[13].

На следующий день я встал спозаранку и утренние гигиенические процедуры от волнения проделал кое-как — меня ждал большой день. Я намеревался пройти насквозь Большой Виндзорский парк. Это самый роскошный из известных мне парков. Он протянулся на 40 волшебных квадратных миль, и ему присущи все прелести леса: глубокие девственные дебри, тенистые лощины, извилистые тропки для пешеходов и всадников, английские и свободные сады, лесные хижины, забытые статуи, целая деревушка, населенная работниками парка, и все, что королева привезла из заграничных поездок и не нашла, куда приткнуть, — обелиски, тотемные столбы и прочие диковинки, подаренные Короне в разных уголках Содружества.

Тогда еще не прошел слух, что под парком обнаружены нефтяные залежи и его скоро превратят в новый Саллом-Во (но не тревожьтесь,

администрация парка заставит замаскировать вышки кустарником), поэтому я пустился в путь без мысли, что надо впитать в себя напоследок здешние красоты, потому что в следующий раз я увижу тут подобие нефтяных полей Оклахомы. В то время Виндзорский парк еще наслаждался блаженной безвестностью — не постигаю, как можно не замечать столь великолепного места столь близко от Лондона! Мне вспомнилось всего одно упоминание парка в газетах — пару лет назад, когда принц Филип отчего-то проникся неприязнью к аллее древних деревьев и велел лесорубам ее величества их срубить.

Надо думать, ветви мешали ему проезжать по парку на лошади или на четверной упряжке или как там называлось то скрипучее сооружение, в котором он так любил разъезжать. Его и членов его семейства часто можно было увидеть в парке, когда они в своем излюбленном экипаже спешили поиграть в поло или посетить богослужение в домовый церкви королевы-матери. В самом деле, поскольку публике не разрешено появляться в парке на колесах, большую часть оживленного движения на его дорожках следует отнести на счет королевской семьи. Однажды, в День подарков^[14], я, как заботливый отец, прогуливался по дорожке парка следом за трехлетним отпрыском на сверкающем новеньком трехколесном велосипеде и вдруг шестым чувством определил, что мы с ним препятствуем движению.

Обернувшись, я увидел за рулем принцессу Диану. Когда я поспешил убрать с дороги себя и сына, она наградила меня обаятельнейшей улыбкой, и с той поры я никогда ни слова не сказал против милой девушки, сколько бы ни убеждали меня те, кто считает, будто она немножко хватает через край, когда тратит 28 000 фунтов в год на леотарды и порой ведет слишком оригинальные телефонные разговоры с восточными военными (а кто бы из нас отказался, дай ему волю? — без слов возражаю я).

Я двинулся по Длинной дорожке — удачное название — от подножия Виндзорского замка к конной статуе Георга III, известной в окрестностях как Медный конь, на вершине Снежного холма, на котором передохнул и наслаждался одним из самых красивых английских пейзажей: величественный Виндзорский замок в трех милях от меня на конце Длинной дорожки, городок у его подножия, а дальше — Итон, туманная долина Темзы и невысокие холмы Чилтерна. Олени живописными стадами паслись на полянах, ранние отдыхающие казались точками на дорожках. Всю картину обрамляли ступни моих раскинутых ног. Я смотрел, как взлетают из Хитроу самолеты, нашел взглядом на горизонте крошечные, но узнаваемые силуэты электростанции Баттерси и башни почтамта. Помнится, я пришел в восторг от мысли, что могу отсюда увидеть Лондон.

По-моему, это единственная точка, с которой его можно увидеть на таком расстоянии. Генрих VIII, выехав на этот холм, слушал гром пушек, возвещающих о казни Анны Болейн, но теперь мне слышно было лишь гудение авиалайнеров, взлетающих из Хитроу, да громкий лай большой лохматой псины, откуда ни возьмись объявившейся рядом со мной — видно, обогнала взбирающегося по склону хозяина. Псина предложила мне щедрую порцию слюны, но я отверг ее дар.

Я отправился дальше, мимо Королевских покоев — розового домика в стиле короля Георга, где провели детские годы королева и принцесса Маргарет, — через окружающие леса и поля в свой самый любимый уголок парка, на Смитс-лоун. Наверно, это лучший и громаднейший газон во всей Британии: ровная чистая зелень, и на ней — ни души, кроме дней, когда здесь проводятся матчи поло. Я пересекал луг добрый час (правда, однажды свернул в сторону, чтобы осмотреть одинокую статую — оказалось, это принц Альберт) и еще час искал дорогу через Вэлли-Гарденс к озеру Вирджиния-Уотер, над которым в прохладном утреннем озере висела нежная дымка. Это озеро — прекрасное рукотворное создание. Герцог Камберленд выбрал столь необычный способ почтить всех шотландцев, брошенных им мертвыми или корчащимися в агонии на поле битвы при Куллодене. Озеро живописно и романтично. Такими живописными и романтичными бывают лишь рукотворные ландшафты: внезапно открывающиеся между деревьями виды, длинный декоративный каменный мостик, а на дальнем конце — даже искусственные римские руины против Форт-Бельведер, сельского домика, в котором Эдуард VIII объявил о своем знаменитом отречении, позволившем ему ловить рыбу в компании с Геббельсом и жениться на кислотице женщине по фамилии Симпсон, каковую, при всем доброжелательстве и патриотических обязательствах американца, я не могу по чести признать романтической возлюбленной.

Я только потому об этом упоминаю, что в мое время нация, кажется, переживала похожий монархический кризис. Должен сказать, мне совершенно непонятна привязанность британского народа к своему королевскому семейству. Много лет — позвольте мне на минуту проявить простодушие — я считал здешних монархов такими же несносно нудными и почти столь же непривлекательными, как Уоллис Симпсон, однако вся Англия их обожала. Но вот случилось чудо, они принялись совершать увлекательно неправильные поступки и по заслугам попали в «Новости мира» — словом, стали интересными, — и тут вся нация вдруг заявила: «Какой ужас! Давайте от них избавимся!» Как раз на этой неделе я, разинув

рот, смотрел выпуск «Времени вопросов», где всерьез обсуждали, не следует ли отвергнуть принца Чарльза и перепрыгнуть сразу к маленькому принцу Уильяму. Оставим пока в стороне сомнительное благоразумие самой мысли: возлагать все надежды на незрелое дитя, несущее в себе гены Чарльза и Дианы, мягко говоря, трогательно, но суть не в том. Если уж вы установили систему наследственных привилегий, так принимайте то, что досталось, как бы ни был скучен очередной бедняга и какой бы дурной вкус он ни проявлял в выборе любовниц.

Мой личный взгляд на этот вопрос исчерпывающе выражен в песенке моего собственного сочинения. Называется она: «Я старший сын наследника наследника наследника того типа, что спал с Нелл Гвин», и я готов выслать ее вам отдельным изданием по получении 3 фунтов 59 пенсов плюс 50 пенсов на почтовые расходы и упаковку.

А пока вы можете вообразить, как я напеваю сей веселый мотивчик, искусно лавируя между машинами, пересекаю магистраль А30 и направляюсь по Крайстчерч-роуд к зеленой и тихой деревушке Вирджиния-Уотер.

Глава пятая

Я впервые увидел Вирджиния-Уотер в необыкновенно знойный день в самом конце августа 1973 года, примерно через пять месяцев со времени своего прибытия в Дувр. Лето я провел, путешествуя в обществе некоего Стивена Катца, с которым повстречался в апреле в Париже и которого с облегчением проводил из Стамбула дней десять назад. Дорога утомила меня, но я рад был возвратиться в Англию. Я был пленен, едва сойдя с лондонского поезда. Городок выглядел чистеньким и заманчивым. Он был полон ленивых предвечерних теней и невероятно яркой зелени, оценить которую в полной мере способен лишь тот, кто только что вернулся из стран с засушливым климатом. Рядом с вокзалом поднимались готические башенки санатория Холлоуэй: монументальное нагромождение кирпичей и фронтонов посреди паркового участка, начинавшегося сразу за станцией. Две девушки из моего родного городка работали в этом санатории сиделками и предложили мне переночевать в своей квартире и покрыть их ванну слоем накопленной за пять месяцев грязи. На следующий день я собирался вылететь домой из Хитроу: через две недели начинались нудные занятия в университете. Однако за лишней кружкой пива в пабе, называвшемся «Роза и корона», мне доверительно поведали, что в санатории постоянная нехватка младшего персонала и что меня, как англоговорящего от природы, возьмут не задумываясь. На следующий день голова у меня гудела, и, не дав себе времени на раздумье, я опомниться не успел, как уже заполнял анкеты и получал инструкции: представиться старшему санитару в отделении Тьюк ровно в 7 часов завтра утром. Добродушный человек с разумом дитяти отвел меня в кладовую, где мне выдали тяжеловесную связку ключей и гору опрятно сложенного больничного одеяния: два серых костюма, рубашки и галстук, несколько белых лабораторных халатов (к чему это меня готовят?), после чего человек проводил меня в мужское общежитие, корпус В. Там седовласая старуха показала мне спартанскую комнату и в манере, живо напомнившей незабвенную миссис Смегму, завалила меня наставлениями относительно еженедельной смены грязных простыней на чистые, часов подачи горячей воды и прочего. Я почти ничего не успел запомнить, хотя с некоторой гордостью уловил упоминание о пледах. «Плавали, знаем,» — подумал я.

Я сочинил письмо родителям, предупредив, чтоб не ждали меня к ужину; провел несколько счастливых часов, примеряя новые наряды и

позируя перед зеркалом; разложил свою скромную коллекцию книг в бумажных обложках на подоконнике; выскочил на почту и вообще осмотрелся; пообедал в маленьком заведении под названием «Роза Тюдоров»; потом заглянул в паб «Троттлсворт», где обнаружил столь приятную обстановку, что, за неимением других развлечений, выпил, признаюсь, чрезмерное количества пива; и вернулся на новую квартиру мимо нескольких колючих кустов и одного памятно твердого фонарного столба.

Наутро, проснувшись с пятнадцатиминутным опозданием, я чуть ли не ощупью отыскал дорогу к госпиталю. В сутолоке сменявшегося дежурства я спросил у кого-то дорогу к отделению Тьюк и явился туда, с всклокоченными волосами и нетвердой походкой, на десять минут позже назначенного. Старший санитар, дружелюбный и уже не слишком молодой, тепло приветствовал меня, сообщил, где искать чай и печенье, и скрылся. С тех пор я его, кажется, и не видел.

В отделении Тьюк обитали постоянные пациенты мужского пола: тихие сумасшедшие, к счастью, вполне способные сами себя обслуживать. Они сами разобрали с тележки завтрак, сами побрились, самостоятельно заправили свои постели, пока я занимался бесплодными поисками средства от изжоги в туалете для незаметно исчезнувшего персонала. Выйдя из туалета, я, к своему смятению и тревоге, обнаружил, что остался в одиночестве. Я озадаченно обследовал комнату отдыха, кухню и спальни и открыл дверь отделения, за которой увидел лишь пустой коридор, в конце которого открывалась дверь в мир. В этот самый миг в комнате для персонала зазвонил телефон.

— Это кто? — рявкнул голос в трубке.

Я собрался с силами и назвался, одновременно выглядывая в окно и готовясь увидеть, как тридцать три пациента отделения Тьюк перебегают от дерева к дереву в отчаянном стремлении к свободе.

— Говорит Смитсон, — сообщил голос.

Смитсон был начальником над всеми санитарями, грозной личностью с курчавыми баками и бочкообразной грудью. Мне его показали еще вчера.

— Ты новенький, что ли?

— Да, сэр.

— Шумно там?

Я недоуменно моргнул и подумал, как странно эти англичане строят фразы.

— Вообще-то, здесь довольно тихо.

— Нет, Джон Шумно, старший санитар, там?

- О! Нет, он ушел.
- Сказал, когда вернется?
- Нет, сэр.
- Все под контролем?
- Ну, вообще-то... — я прокашлялся, — похоже, пациенты сбежали, сэр.
- Что сделали?
- Сбежали, сэр. Я только зашел в ванную, а когда вышел...
- Им положено выходить из отделения, сынок. Они на садовых работах или на трудовой терапии. Они каждое утро расходятся.
- О, слава богу!
- Прошу прощения?
- Я сказал, слава богу, сэр.
- Именно так. — Он повесил трубку.

Остаток утра я провел, одиноко блуждая по отделению, заглядывая во все шкафы, обследуя буфет и пытаюсь вычислить, как приготовить чай с помощью рассыпной заварки и ситечка, а когда выяснилось, что я способен справиться с этой задачей, устроил личное первенство по катанию по гладким полам коридоров между палатами, поощряя себя негромкими уважительными комментариями. Когда часы показали час тридцать, а на ланч меня никто не отпустил, я сам дал себе разрешение и отправился в столовую, где сидел один над тарелкой бобов с жареной картошкой и таинственным кушаньем, которое мне позже назвали «колбасными обрезками». Я заметил, что мистер Смитсон, сидевший с коллегами за столом напротив, рассказывает им что-то весьма забавное и что по непонятной причине все весело оглядываются в мою сторону.

Вернувшись в отделение, я заметил, что, пока меня не было, несколько пациентов возвратились. По большей части они уселись в кресла в комнате отдыха и дремали после утренних трудов. Не так-то легко все утро простоять, опираясь на грабли, или раскладывать свечи по коробочкам.

Только один вежливый щеголь в твидовом костюме смотрел футбол по телевизору. Он пригласил меня присоединиться к нему, а узнав, что я американец, с энтузиазмом взялся объяснять мне правила этой ошеломляюще сложной игры. Я принимал его за одного из сотрудников, скажем, за дневного сменщика таинственного мистера Шумно или одного из психиатров, пока он, прервав пояснения по поводу одного из сложных крученых ударов и обернувшись ко мне, не сказал внезапно самым светским тоном:

- У меня, знаете ли, атомные яйца.

— Простите? — переспросил я, решив, что это название очередного удара.

— Портон-Даун, 1947 год. Правительство проводило эксперимент. Все страшно секретно. Никому не говорите.

— Э-э... конечно, не скажу.

— Меня разыскивают русские.

— О... Да?

— Потому я здесь и сижу. Инкогнито. — Он постучал себя по кончику носа и оценивающе оглядел дремлющих в кресле пациентов. — В сущности, здесь недурно. Конечно, сумасшедших полно. Положительно, на каждом шагу психи. Зато по средам подают отличнейший рулет с вареньем. А вот, смотрите, Джеф Бойкот атакует. Отличный удар. Видите ли, с подачи Бенсона бить легко.

Большинство обитателей отделения Тьюк при ближайшем знакомстве оказались в том же роде — с виду нормальные, но в сущности безумнее пса с солнечным ударом. Мне было весьма интересно знакомиться со страной, глядя на нее глазами безумцев, и к тому же, с позволения сказать, это послужило отличной подготовкой к жизни в Британии.

Так я остался в Британии и так проводил дни. Вечерами шел в паб, а днем начальствовал над пустым отделением. Каждый день ровно в четыре часа испанская леди в розовом комбинезоне прикатывала гроыхающую тележку, и пациенты, воспрянув к жизни, оживленно разбирали чай и желтые ломтики кекса. Время от времени объявлялся неуловимый мистер Шумно, раздавал лекарства или перекладывал печенье, но в остальном жизнь шла тихо. Я научился недурно разбираться в крикете и стал чемпионом в катании по полам.

Вскоре я узнал, что санаторий представляет собой маленькую вселенную, обеспеченную всем необходимым. Здесь были своя столярная мастерская и электрики, водопроводчики и маляры, собственная повозка и возчик. Имелись бильярдная, площадка для бадминтона и плавательный бассейн, кондитерская и часовня, поля для крикета и крикетный клуб, педикюрша и парикмахер, кухня, швейная мастерская и прачечная. Раз в неделю в подобию танцзала показывали кино. Все садовые работы, не требовавшие применения острых инструментов, выполняли пациенты. Они же содержали территорию в безупречной чистоте. Все это немного напоминало загородный клуб для сумасшедших. Мне там очень нравилось.

Как-то раз во время одного из редких визитов мистера Шумно — я так и не узнал, чем он занимался в промежутках между посещениями. — меня послали в соседнее отделение, именовавшееся «отделение Флоренс

Найтингейл», за флаконом торазина, успокоительного для пациентов. «Фло», как называли его сотрудники, оказался странным и мрачным местом, населенным настоящими больными. Они бессмысленно блуждали по коридорам или безостановочно раскачивались в креслах с высокими спинками. Пока сестра с бренчащей связкой ключей ходила за торазином, я смотрел на эту бормочущую толпу и благодарил бога, что бросил сильнодействующие наркотики. На дальнем конце комнаты расхаживала хорошенькая молодая сиделка, лучившаяся добротой. Она опекала этих беспомощных бедолаг с неисчерпаемой энергией и вниманием: усаживала в кресла, освещала их день легкой болтовней, вытирала слюну с подбородков, — и я подумал: именно такая мне и нужна.

Мы поженились через шестнадцать месяцев в местной церкви. Теперь я прошел мимо той церкви на Крайстчерч-роуд, лениво шагая под прозрачной листвой, под высокими сводами ветвей, напевая себе под нос последние восемь тактов из «Нелл Гвинн». Большие здания на Крайстчерч-роуд остались теми же, только на каждом появилась коробочка охранного устройства и яркие фонари из разряда тех, что сами собой включаются ночами.

Вирджиния-Уотер — любопытный городок. Строился он в основном в двадцатые и тридцатые годы. Вокруг двух маленьких торговых улиц вьются частные дорожки, окружающие знаменитые Уэнтворские площадки для гольфа. Среди деревьев в беспорядке разбросаны дома, и во многих из них проживают знаменитости. Выстроены эти дома в стиле, который можно назвать «Национальная английская показуха» или, например, «Лютъенские забавы». Над крышами теснятся затейливые фронтоны, высятся дымовые трубы — по крайней мере один подчеркнутый выступ для дымохода в кладке, — и целые акры роз вьются вокруг каждого крылечка. С первого взгляда мне показалось, будто весь городок сошел со страниц «Дома и сада» выпуска 1937 года. Но что в те времена придавало Вирджиния-Уотер особенное очарование — я вовсе не шучу, — так это множество бродящих по его улицам безумцев. Поскольку большинство пациентов прожили в санатории долгие годы и десятилетия, считалось, что даже самые полоумные, как бы причудливо они ни передвигались, какую бы чушь ни бормотали, какие бы симптомы полного помешательства ни проявляли, все же способны побродить по улицам и найти дорогу назад. Каждый день ваш взор радовала свежая подборка психов, покупающих сигареты или чашечку чая или просто наслаждающихся воздухом свободы. В результате получилась одна из самых удивительных общин в Англии:

помешанные и нормальные существовали в ней на равных правах. Лавочники и местные жители с великолепной невозмутимостью реагировали на человека с всклокоченной шевелюрой, который стоит в пижамной куртке и декламирует что-то, обращаясь к стене, или сидит за угловым столиком в «Розе Тюдоров», вращая глазами, и с кривой улыбкой бросает кусочки сахара в куриный суп. Это зрелище — я все еще не шучу — чрезвычайно согревало сердце.

Среди пяти сотен пациентов санатория был один примечательный ученый идиот по имени Гарри. У Гарри был интеллект маленького рассеянного ребенка, но стоило назвать любую дату из прошлого и будущего, и он немедленно сообщал вам, на какой день недели придется это число. Мы проверяли его, пользуясь «вечным» календарем, и ни разу он не ошибся. Можно было попросить его назвать число третьей субботы декабря 1935 или второй среды июля 2017 года, и он выдавал ответ быстрее любого компьютера. Еще более удивительно — хотя в то время это представлялось просто утомительной привычкой, — что он несколько раз на дню назойливо приставал к персоналу с вопросом, закроют ли санаторий в 1980 году. Согласно его пухлой медкарте, этот вопрос преследовал его со времени поступления, а попал он сюда совсем молодым человеком, где-то в 1950 году. Штука в том, что Холлоуэй был большим серьезным учреждением, и закрывать его никто не собирался. Не собирался до той самой штормовой ночи зимой восьмидесятого года, когда Гарри уложили в постель в состоянии необычного возбуждения — он на протяжении нескольких недель особенно настойчиво повторял свой вопрос, — а удар молнии, попавшей в задний щипец^[15], вызвал опустошительный пожар, спаливший чердак и несколько отделений. Жить в здании после этого стало невозможно. История оказалась бы еще увлекательнее, погуби пожар бедного Гарри, привязанного ремнями к кровати. К несчастью для любителей остросюжетных историй, всех пациентов в ту штормовую ночь благополучно эвакуировали. И все же мне нравится вообразить себе искаженное ухмылкой лицо Гарри, стоящего на газоне с одеялом на плечах, освещенного отблесками пламени и наблюдающего катастрофу, которой он терпеливо дожидался тридцать лет.

Пациентов перевели в отдельный флигель обычной больницы в Чертси, где они скоро лишились привычной свободы за свою нежелательную склонность вносить хаос в жизнь отделений и беспокоить здравомыслящих граждан. Между тем санаторий тихо ветшал, окна его были выбиты и заколочены досками, парадный вход с Струд-роуд перегороден железными воротами с колючей проволокой поверх. В начале

восемидесятых, работая в Лондоне, я пять лет прожил в Вирджиния-Уотер и частенько заглядывал за стену, лицезрея заброшенный участок и общее запустение. Несколько проектных компаний питали честолюбивые планы по превращению санатория в конторское здание, или конференц-центр, или в роскошный квартал жилых домов. Они завезли несколько рабочих вагончиков и развесили объявления, предупреждающие, что участок охраняется собаками — совершенно дикими и неуправляемыми, если верить картинкам, — но дальше дело не пошло. Добрый десяток лет этот прекрасный старый санаторий — может быть, красивейшее из сохранившихся викторианских зданий — стоял без присмотра, и сейчас я ожидал найти его все в том же состоянии и даже отрепетировал предполагаемый разговор со сторожем, который бы не пропустил меня в ворота, чтобы осмотреть здание, не видимое с дороги.

Представьте мое изумление, когда, въехав на пологий пригорок, я увидел в старой стене блестящие новые ворота и большой плакат, приглашающий в Вирджиния-парк, старое здание в конце новой перспективы и за ним — квартал дорогих домов. Разинув рот, я вышел из машины на асфальтовую дорожку, по сторонам которой выстроились новехонькие домики: с окон еще не сняли полоски клейкой бумаги, а во дворах стояли грязные лужи. Один из этих домиков оставили как образец, и по случаю воскресного дня он был полон любопытствующих. Внутри я нашел глянцевую брошюрку, полную архитектурных проектов, изображающих счастливых стройных людей, гуляющих среди красивых домов, слушающих камерный оркестр в зале, где я в былые времена смотрел кино в компании дергающихся сумасшедших, и плавающих в бассейне, встроенном в пол большого готического зала, где я некогда играл в бадминтон и робко назначал свидание молоденькой сиделке из «Флоренс Найтингейл» с дальним прицелом на просьбу выйти за меня, когда у нее найдется свободное время. Картинки сопровождала велеречивая проза, из которой следовало, что население Вирджиния-парка могло выбирать жилье среди дюжины разновидностей отдельных домов и особнячков или поселиться в одной из двадцати трех роскошных квартир, нарезанных из бывшего санаторного здания, таинственным образом переименованного в Крослэнд-хаус. План участка пестрел странными названиями: Конноли-Мьюз, Чепел-сквер, Пьяцца, — мало говорившими о его прошлой жизни. На мой взгляд, более уместно было бы выбрать для них названия вроде Лоботомия-сквер и Электрошок-ярд. Цены начинались от 350 000 фунтов.

Я снова вышел на улицу, чтобы взглянуть, что я мог бы приобрести за 350 000 фунтов. За эту цену предлагали маленький, но нарядный домик со

скромным участком и интересным видом на сумасшедший дом девятнадцатого века. Не могу назвать его воплощением своей мечты. Все эти дома были выстроены из красного кирпича, со старомодными пузатыми дымовыми трубами, пряничной отделкой и другими любезными поклонами в адрес эпохи королевы Виктории. Одна модель, довольно неромантично названная «Дом типа Д», даже щеголяла декоративной башенкой. В результате все выглядело выводком щенков, рожденных санаторием. Вполне можно было вообразить, что со временем из каждого домика вырастет такой же санаторий. Впрочем, насколько это возможно для новостроек, они выглядели на удивление хорошо. Они вписывались в окружение старого здания, и к тому же — десяток лет назад такого бы не случилось — громада старого санатория уцелела, вместе со всеми счастливыми воспоминаниями, которые сохранили о нем я и поколения оригинальных безумцев. Я мысленно снял шляпу перед планировщиками и удалился.

Я хотел пройти до своего старого дома, но до него было не меньше мили, а ноги у меня уже гудели, и я вместо того направился по Страуд-роуд мимо старого санаторного клуба, на месте которого выросло довольно уродливое здание. Проходя мимо домиков, где раньше селились сиделки и обслуживающий персонал, я сам с собой побился об заклад на 100 фунтов, что в следующий раз увижу на их месте большие дома с двойными гаражами. Пешком я прогулялся две мили до Эдхема и заглянул в гости к восхитительной леди, миссис Биллен, которая, помимо прочих неоценимых достоинств, была моей тещей. Она упорхнула на кухню с той очаровательной суетливостью, с какой все английские дамы, начиная с определенного возраста, встречают неожиданных гостей, а я уселся погреть ноги у огня и задумался (в то время мне была свойственна задумчивость) о том, что это первый английский дом, где я побывал как гость, а не как постоялец. Моя жена как-то в воскресенье привела меня сюда в качестве своего молодого ухажера, и мы с ее родней сидели, набившись в милую и теплую гостиную, и смотрели «В яблочко», «Игру поколения» и прочие программы, какие предлагало нам телевидение. Все они, с моей точки зрения, были на удивление лишены занимательности. Для меня это было внове: собственной семьи в подобной обстановке я не видал года с 1958, если не считать кратких и неловких рождественских визитов, так что мне было непривычно уютно в обстановке семейного тепла, до сих пор восхищающего меня в англичанах, хотя, признаюсь, я пришел в восторг, когда узнал, что они принимают «В яблочко» за прямой эфир.

Моя теща — мама — возникла в дверях с подносом еды. При виде

этого подноса я задумался, не принимает ли она меня за бригаду лесорубов. Я жадно зарылся в груды восхитительных, исходящих паром кушаний, напоминающих воплощенные в съедобной форме горы Кейрнгорм, а потом, развалившись с блаженно раздувшимися животами и чашечками кофе в руках, мы завели беседу о том о сем — о детях, о нашем надвигающемся переезде в Штаты, о моей работе, о недавней смерти ее мужа. Поздно вечером — поздно по меркам таких отставших от времени личностей, как мы с тещей — она снова засуетилась и, заглянув в припадке шумной деятельности во все углы дома, объявила, что спальня для гостей готова. Я нашел там опрятно заправленную постель, укомплектованную бутылками с горячей водой, и после весьма небрежного омовения радостно нырнул в нее, гадая, отчего это постели в домах бабушек и тещ всегда восхитительно уютны. Заснул я мгновенно.

Глава шестая

А теперь — в Борнмут. Я прибыл туда к вечеру, в половине шестого, под проливным дождем. Быстро сгущалась темнота, и машины со свистом проносились мимо, высвечивая фарами светящиеся дождевые капли. В Борнмуте я прожил два года и неплохо знал город, но район у вокзала сильно перестроили, появились новые улицы и конторские здания, а еще — один из тех запутанных пешеходных переходов, что заставляют вас, словно суслика, через каждые несколько шагов выныривать из-под земли, чтобы понять, где вы находитесь.

К тому времени, как добрался до Истклифа — района недорогих отелей, возведенных высоко над чернеющим морем, — я промок насквозь и сердито бормотал себе под нос. В пользу Борнмута можно сказать одно: он балует вас огромным выбором отелей. Среди множества блистательных дворцов комфорта я выбрал заведение на боковой улочке по одной-единственной причине: мне понравилась его вывеска. Крупные буквы приветливо сияли розовым неонам сквозь струи дождя. Я шагнул в дверь, отряхиваясь от воды, и сразу понял, что не ошибся с выбором. Чистенький, приятно старомодный, и за постель и завтрак, согласно объявлению на стенке, брали всего 26 фунтов. К тому же здесь царило тепло, от которого сразу запотевают стекла очков и начинает щекотать в носу. Я вылил из рукава несколько унций воды и попросил номер для одного на две ночи.

— На улице дождь? — догадалась девушка за стойкой, пока я заполнял регистрационную карточку, прерываясь, чтобы чихнуть и попытаться мокрым рукавом вытереть мокрое лицо.

— Нет, просто наш корабль затонул, и последние несколько миль пришлось добираться вплавь.

— Да? — удивилась она, и ее тон заставил меня заподозрить, что она не слишком внимательно вслушивается в мои слова. — Вы поужинаете у нас, мистер... — она взглянула на залитую водой карточку. — Мистер Брайлкрим?

Я взвесил альтернативный вариант — долгий путь под розгами дождя — и почувствовал, что не хочу выходить. К тому же усилиями ее мозгов с горошину и моих мокрых каракулей можно было надеяться, что ужин поставят в счет другому постояльцу. Я сказал, что поем здесь, получил ключ и, оставляя за собой мокрые следы, отправился на поиски номера.

Среди многих сотен других вещей, в которых Британия далеко ушла от

1973 года — а стоит на минуту задуматься, и становится ясно, что список впечатляющей длины, — мало что удалилось дальше, чем обслуживание в обычном английском отеле. Теперь к вашим услугам цветной телевизор, кофе с пакетиком умеренно вкусных печений, собственная ванная с пушистыми полотенцами, корзиночка ватных шариков радужной расцветки и набор саше и пластиковых бутылочек с шампунями, гелями для ванны и увлажняющими лосьонами. В моем номере даже имелась удобная лампочка над кроватью и две мягкие подушки. Я был вполне счастлив. Я налил полную ванну, выплеснул в нее все гели и увлажняющие кремы (не тревожьтесь за меня, при ближайшем рассмотрении состав во всех оказался одинаковый) и, пока шапка пенных пузырьков медленно поднималась к уровню трех футов над поверхностью воды, вернулся в комнату и приступил к занятию, привычно поглощающему всех одиноких путешественников: тщательно и вдумчиво разбирал рюкзак, раскладывая мокрые вещи — на батарею, чистые — на кровать с такой аккуратностью, будто собирался на первый школьный бал, дорожный будильник, часы и чтиво — на столик у кровати в безупречном порядке, лампочку над кроватью — повернуть поуютнее и приглушить; и наконец, с восторженным воплем и хорошей книжкой в руках надолго нырнул в пену такой пышности, какую увидишь, пожалуй, только в фильмах Джоан Коллинз.

Потом, в свежем наряде, окруженный колдовским ароматом роз, я ввел себя в просторный и пустой обеденный зал. Меня проводили за столик, где бумажные салфетки были сложены цветочком в винном бокале, солонка и перечница из нержавеющей стали покоились в лодочке той же стали, масло в масленке было старательно вырезано зубчатыми колесиками, а в узкогорлой вазе торчал пучок искусственных лилий. Все эти финтифлюшки сразу поведали мне, что еда будет не из лучших, зато подают здесь с отработанной пышностью. Я закрыл глаза, просчитал до четырех и не глядя протянул руку, попав прямо в корзинку с булочками, подставленную услужливым официантом. Должен сказать, мой опыт и точный расчет произвели на него впечатление и сразу дали понять, что он имеет дело с испытанным путешественником, который легко найдет дорогу в разнообразии зеленых супов-пюре, овощей, поданных со своей ложечкой каждый, и кружочков задубелой кожи, гордо поименованных «ветчинными медальонами».

Появились еще трое посетителей: довольно округлые отец и мать и совсем уж шарообразный подросток-сын. Официант предусмотрительно посадил их так, чтобы мне было удобно производить наблюдения, не

вертаться и не вытягивая шею. Смотреть, как люди едят, всегда интересно, но нет ничего интереснее зрелища троицы набивающих рты толстяков. Любопытно, что даже самые жадные и прожорливые толстяки — а сидящее передо мной трио явно относилось к чемпионам по обжорству — за едой всегда имеют недовольный вид. Можно подумать, они выполняют давно наскучившую обязанность перед своим брюхом. Пока есть еда, они склоняются над ней и ложками забрасывают в себя, а в перерыве между блюдами сидят, скрестив руки на животах и озирая помещение, и ведут себя так, будто сидящие рядом им не представлены. Но подкатите к ним тележку со сладями, и все изменится. Они азартно закурлычат, и занятый ими угол комнаты сразу наполнится звуками оживленной беседы. Так было и в этот вечер. Мои сотрапезники поглощали провизию с такой скоростью, что вдвое обогнали меня и, к моему нескрываемому ужасу, сожрали последние оставшиеся на тележке профитроли и шварцвальдское печенье-гато. Я заметил, что мальчишка взял себе двойную порцию того и другого — жадный поросенок!

Мне осталось выбирать между водянистой сладкой мелочью, меренгами, которые взрываются, как праздничные хлопушки, едва к ним прикоснешься ложкой, и пудингом со сладкой масляной пропиткой, а тем временем пузатое трио прошествовало мимо моего столика, и подбородки у них блестели от шоколада. Я ответил на их вежливые сытые улыбки кременно-твердым взглядом, предупреждавшим больше со мной не шутить. Думаю, они поняли намек. На следующее утро они выбрали столик так, чтобы мне их было не видно, и дали мне солидную фору в выборе сладостей.

В Борнмуте много хорошего. Прежде всего море, которое весьма пригодится, если прогнозы о глобальном потеплении оправдаются, хотя пока я нахожу в нем немного проку. И еще есть густые парки, выступающие под общим названием «Сады удовольствий». Они делят городской центр почти пополам и предоставляют желанный отдых на долгом пути покупателям, перебирающимся из одного торгового района в другой. Хотя, конечно, не будь этих парков, путь не был бы столь долгим. Такова жизнь.

На карте парки когда-то назывались «Сад удовольствий низ.» и «Сад удовольствий верх.», однако муниципалитет или иные борцы за добродетель уловили неблагоприятный намек в опасной близости «низ.» и удовольствий и добились удаления низости с городских планов, так что теперь там фигурируют «Сад высоких удовольствий» и просто «Сад

удовольствий», а сторонники лексических извращений оттеснены на пляж, где могут вволю обнажаться и качаться на волнах.

Заранее познакомившись с претензией Борнмута на светский тон, я, приехав сюда в 1977 году, ожидал найти английский вариант Бад-Эмса или Баден-Бадена: наманикюренные парки, оркестры под пальмами, пижонистые отели, где служители в белых перчатках надраивают медяшки, стайки пожилых дам в норковых манто, выгуливающие крохотных собачонок, которым до смерти хочется дать пинка (сами понимаете, не из жестокости, а от простого честного желания посмотреть, высоко ли полетят). С прискорбием сообщаю, что почти ничего из перечисленного там не нашлось. Парки были хороши, но вместо сверкающих огнями казино и прекрасных курзалов в них попадались лишь маленькие эстрады, занятые сборным духовым оркестриком с оркестрантами, наряженными как автобусные кондукторы, да шарики из цветного стекла со свечками внутри, которые, надо полагать, зажигались тихими летними вечерами и тогда преображались в ярких бабочек и прочие волшебные видения, украшающие ночь здоровыми радостями. Точно не скажу, потому что сам я никогда не видел их горящими, и к тому же склонность местной молодежи срывать их с подставок и швырять друг другу под ноги забавы ради скоро привела к тому, что конструкции эти были разобраны и сняты.

Я прошелся через парк удовольствий («низ») к информационному центру для туристов на Уэстовер-роуд, чтобы узнать, нет ли у них в запасе других развлечений — и не узнал, потому что вся информация, кроме вывешенной на доске объявлений, стала платной. Конечно, я рассмеялся им в лицо.

На первый взгляд казалось, что центр города не изменился, на самом же деле прогресс и муниципальный совет всюду делают свое дело. Крайстчерч-роуд — главная улица, проходящая через весь город — стала пешеходной зоной и украсилась любопытной конструкцией из стекла и стали, напоминающей предназначенную для гигантов автобусную остановку. Два торговых пассажа принарядились и превратились в «Макдональдс», «Уотерстоун» и «Диллон», а также пару заведений, меньше отвечающих моим персональным запросам. Однако по большей части прежнее просто исчезло. Универмаг «Бил» закрыл свой отличный книжный отдел, «Дингл» избавился от закусовых, а «Билсон» — еще один универмаг — совсем пропал. Пропал и магазин заморских товаров, и — что больше меня огорчило — изящная маленькая булочная, а с ней исчезли — увы, увы! — лучшие в мире сахарные пончики. Обнаружились и перемены к лучшему: на улице не было ни соринки, а в былые времена Крайстчерч-

роуд напоминала большую открытую помойку.

За углом от исчезнувшей старой булочной, на Ричмонд-Хилл, стоял роскошный, с легким налетом арт-деко, офис «Борнмут Ивнинг Эхо», в котором я два года проработал младшим редактором в комнате, взятой прямо из романа Диккенса — неряшливые кипы газет, сумрачное освещение, два ряда сутулых спин за письменными столами, и все купается в угрюмом, мучительном молчании. Тишину нарушали только скребущие по бумаге карандаши да тихий щелчок, когда минутная стрелка стенных часов перескакивала на следующее деление. Теперь я, завидев с противоположной стороны улицы окна своей старой конторы, слегка вздрогнул.

После свадьбы мы с женой на два года вернулись в Штаты, чтобы я мог закончить колледж, так что «Эхо» оказалась не просто моей первой работой в Британии, но и первой взрослой работой, и все два года, пока служил в газете, я постоянно чувствовал себя подростком, изображающим взрослого. Этому ощущению способствовало, несомненно, то обстоятельство, что мои сослуживцы вполне годились мне в отцы — все, кроме пары мертвенных фигур на дальнем конце комнаты. Те вполне годились в отцы остальным.

Я занимал место рядом с парой добродушных и знающих людей. Звали их Джек Страйт и Алан Брук, и оба все эти два года спокойно и терпеливо объясняли мне смысл термина «sub judice»^[16] и существенную разницу, которую английская юриспруденция проводит между понятиями «угнать машину» и «украсть машину».

Ради моего же блага мне по большей части доверяли редактировать лишь сообщения Гильдии горожанок и Женского института. Мы ежедневно получали от них целые пачки сообщений, все написанные будто одним и тем же беглым почерком и повествующие об одинаково занимательных событиях: «Весьма увлекательно прошла демонстрация искусства создания теней животных, проведенная мистером Артуром Смотом из Поксдауна», «Миссис Ивлин Стаббс почтила избранных гостей весьма увлекательной и забавной речью о недавно перенесенной ею операции по гистерэктомии», «Миссис Труп не смогла выступить с запланированным докладом о воспитании собак, поскольку недавно трагически пострадала от зубов своего мастифа Принца, однако миссис Сметвик удачно заполнила пробел жизнерадостным рассказом о своем опыте выступления в качестве вольнонаемной органистки на похоронах». И так лист за листом: благодарности, просьбы о финансовой поддержке, долгоиграющие рассказы об удачных распродажах старья и утренниках с кофе, подробные

списки всех, кто принес свое угощение, с непременным упоминанием, как те были восхитительны. Никогда, ни до, ни после, дни мои не тянулись столь долго.

Помнится, окно можно было открыть только с помощью длинной палки. Каждое утро в начале рабочего дня один из редакторов, такой дряхлый, что едва мог удержать в пальцах карандаш, начинал скрести ногами пол в усилии отодвинуть кресло от стола и выбраться из-за него. На борьбу с креслом у него уходило около часа, и еще час — чтобы шаркающей походкой одолеть несколько футов до окна и открыть его с помощью палки. Еще час требовался, чтобы прислонить палку к стене и прошаркать на свое место. В тот миг, когда он оказывался за своим столом, сидящий напротив вскакивал, шагал к окну, захлопывал его палкой и с вызывающим видом возвращался к себе, после чего первый старикан молча, стоически начинал заново процесс отодвигания кресла. Так продолжалось каждый день зимой и летом все два года.

Я ни разу не видел их обоих за работой. Старший, понятно, и не мог работать, потому что весь день, кроме нескольких мгновений, уходил у него на путешествия к окну и обратно. Второй же просто сидел, посасывая незажженную трубку, и довольно ехидно поглядывая на меня. Каждый раз, как наши взгляды встречались, он задавал мне какой-нибудь таинственный вопрос по поводу Америки.

— Скажите, — говорил он, — правда ли, что Микки Руни, как я читал, так и не осуществил брачных отношений с Авой Гарднер? — или: — Я часто задумывался, и вы, возможно, сумеете мне ответить, почему гавайская птица нуа-нуа питается исключительно моллюсками с розовыми раковинами, хотя моллюски с белыми раковинами встречаются чаще и не менее питательны?

Я тупо смотрел на него, одурманенный сообщениями Гильдии горожанок и Женского института, и переспрашивал:

— Чего?

— Вы ведь, надо думать, слышали о птице нуа-нуа?

— Э-э, нет.

Он приподнимал бровь:

— Право? Просто удивительно! — и снова принимался посасывать трубку.

Словом, странное это было место. Редактор вел жизнь отшельника: пищу ему доставляли прямо в кабинет, откуда он редко осмеливался выйти. За все проведенное там время я видел его дважды: первый раз, когда он беседовал со мной о приеме на работу — та встреча продлилась три

минуты и, кажется, сильно вывела его из равновесия, а второй — когда он открыл дверь в наше помещение (событие столь необычайное, что все мы подняли головы). Даже старец прервал свое бесконечное странствие к окну. Редактор созерцал нас, застыв в изумлении, — его явно до потери речи поразило тот факт, что за дверью располагалась целая комната, полная младших редакторов. На мгновение мне почудилось, что он готов заговорить, однако он молча отступил назад и плотно закрыл дверь. Больше я его не видел. Спустя неделю я получил работу в Лондоне.

Еще одна перемена в Борнмуте — закрылись все маленькие кофейни. Они прежде попадались на каждом шагу: пыхтящие автоматы «эспрессо» и липкие столики. Ума не приложу, где теперь отдыхающие добывают кофе — хотя нет, знаю, в «Коста дел Соль», но за ним надо тащиться до самого Трайангл, отдаленного пункта, где отдыхают между поездками местные автобусы, и только там я сумел раздобыть скромную чашечку бодрящего напитка.

Затем, решив немного проветриться, я сел на автобус до Крайстчерча в намерении вернуться пешком. Я занял место впереди на верхней палубе желтого дабл-деккера. Есть что-то необыкновенно волнующее в поездке на верхней площадке. Глядя в высокое окно, видишь сверху макушки людей на остановках (и когда они спустя минуту входят в автобус, ты встречаешь их торжествующим взглядом, говорящим: «А я только что видел вашу макушку!»), и острые ощущения дает поворот на большой скорости, когда чувствуешь себя на грани катастрофы. Вы смотрите на мир с новой точки зрения. Все города более привлекательны при взгляде с верхней палубы двухэтажного автобуса, но Борнмут — особенно. С улицы он представляется заурядным английским городком: множество зданий, обществ, контор и типовых магазинов с одинаковыми стеклянными витринами — а оказавшись наверху, вдруг понимаешь, что попал в один из самых викторианских городов Британии. Борнмут просто не существовал до 1850 года — между Крайстчерчем и Пулом стояла всего пара ферм, — а потом буквально взорвался, разбросав волнорезы и прогулочные набережные и мили контор с фигурной кирпичной кладкой и тяжеловесных торжественных жилых домов, часто с причудливыми башенками по углам и другими затеями, открывающимися только пассажирам автобусов да мойщикам стекол.

Какая жалость, что лишь малая часть этого викторианского великолепия достигает уровня земли. Ну, конечно, если убрать все огромные витрины, чтобы первые этажи соответствовали всему зданию,

мы лишились бы возможности заглядывать с улицы в каждый «Скетчли» и «Бутс» и в здание Лидского общества перманента, и какая это была бы ужасная потеря! Вообразите — пройти мимо «Скетчли» и не увидеть пластиковых мешков с костюмами на вешалках и батареи шампуней для мытья ковров, и леди за прилавком, со скуки ковыряющую скрепкой в зубах! Как безрадостна стала бы наша жизнь! Нет, о таком и подумать нельзя!

Я проехал на автобусе до конца маршрута, до большой автомобильной стоянки у нового «Сэйнсбери» на ньюфорестском конце Крайстчерча, и по переплетению пешеходных дорожек выбрался на Хайклифское шоссе. Примерно в четверти мили оттуда стоит замок Хайклиф, к которому ведет узкое ответвление дороги. Некогда в нем обитал Гордон Селфридж, богатый владелец универмагов, а теперь это просто руины.

Селфридж был достопримечательным типом, преподнесшим всем полезный урок морали. Этот американец всю жизнь трудился, создавая лучшую в Европе торговую империю, и попутно сделал из Оксфорд-стрит главный торговый проспект Лондона. Он вел суровую самоотверженную жизнь, рано ложился и трудился без устали. Пил он в основном молоко и никогда не делал глупостей. Но в 1918 году скончалась его жена, и освобождение от брачных уз ударило ему в голову. Он связался с парой венгеро-американских красоток, известных в кругах мюзик-холла как сестры-куколки, и бросился в пучину порока. С Куколкой на каждой руке он объехал все казино Европы, играя и проигрывая без счета. Он каждую ночь устраивал приемы, тратил безумные суммы на скаковых лошадей и автомобили, купил замок Хайклиф и собирался построить рядом, в Хенигстбери-Хед, поместье на 250 комнат. За десять лет он спустил 8 миллионов фунтов, выпустил из рук универмаги, потерял замок и дом в Лондоне, скаковых лошадей и «роллс-ройсы» и кончил тем, что жил один в маленькой квартирке в Патни и ездил автобусом. Умер он нищим и практически забытым 8 мая 1947 года. Зато он получил неоценимое удовольствие иметь разом двух сестер-близняшек, а это главное.

Сегодня гордая готическая скорлупа Хайклифа окружена частными коттеджами, которые выглядят рядом с замком крайне неуместно, и только на задворках здания участок спускается к морю через общественную автостоянку. Мне хотелось бы знать, как случилось, что здание пришло в такое небрежение и запустение, но окрест его мрачного величия не было ни души и на стоянке не стояло машин. По шаткой деревянной лесенке я спустился на берег. Дождь за ночь перестал, но небо все еще оставалось грозным, а пронзительный морской бриз раздувал волосы и одежду и

бешено пенил волны. Я слышал только удары волн о берег. Пригнувшись навстречу ветру, я побрел по пляжу в позе человека, выталкивающего машину в гору, и миновал длинный полумесяц пляжных домиков, одинаковых, но раскрашенных в разные яркие цвета. Почти все они были закрыты на зиму, но к дальнему концу нашелся один открытый, прямо как шкатулка фокусника; на веранде сидели в садовых шезлонгах муж и жена. Оба закутались в полярную одежду и прикрыли колени пледами, а ветер избивал их, угрожая опрокинуть кресла. Мужчина пытался читать газету, но ветер то и дело оборачивал газетным листом его лицо.

Оба выглядели совершенно счастливыми — а если не счастливыми, то во всяком случае довольными, словно находились на Сейшельских островах и попивали коктейль с джином под пальмами, а не терпели крушение под жестоким английским ураганом. Они были довольны: ведь у них в собственности имелся домик на взморье — а за такими, без сомнения, выстроилась длинная очередь; вот истинный секрет их счастья, и в любой момент они могли укрыться в доме, где было чуть менее холодно. Они могли выпить чашечку кофе и даже — если бы пришло настроение покутить — съесть по шоколадному печенью. А потом могли бы провести счастливые полчаса, собирая чемоданы и запирая ставни. Что еще нужно, чтобы привести в состояние полного блаженства?

Одна из обаятельнейших черт в британцах — они понятия не имеют о собственных добродетелях, и ни в чем это не проявляется так явно, как в том, что они чувствуют себя счастливыми. Можете смеяться, но они — счастливейший народ на земле. Честно! Понаблюдайте за разговором любых двух британцев и заметьте, сколько времени пройдет, пока они улыбнутся или засмеются над какой-нибудь шуткой. Не пройдет и минуты. А я как-то делил вагонное купе в поезде Дюнкерк — Брюссель с двумя франкоязычными бизнесменами, по-видимому, старыми друзьями или коллегами. Они проговорили буквально всю дорогу, но ни разу за два часа я не заметил на их лицах и тени улыбки. На их месте можно представить немцев, швейцарцев, даже испанцев, но только не британцев.

И еще этих бриттов так легко порадовать. Это просто удивительно. Они даже предпочитают маленькие радости. Я полагаю, что именно потому они так осторожно сдабривают свои лакомства: все эти кексы к чаю, рогалики, лепешки, печенья и даже сдобу. Из всех народов мира только они видят в джеме и изюме восхитительную приправу к пудингу или печенью. Предложите им что-нибудь по-настоящему соблазнительное, скажем, коробку с печеньем или шоколадными конфетами на выбор — и они замнутя, забеспокоятся, не слишком ли это роскошно, словно любое

удовольствие сверх некой очень низкой планки слегка неприлично.

— О, в сущности, нам бы не следовало, — скажут они.

— Ну, берите же, — продолжаете искушать вы.

— Ну, тогда одну маленькую, — скажут они и быстрым движением схватят самую крохотную конфетку, и вид у них такой, будто они сделали что-то ужасно отчаянное.

Подобное совершенно чуждо сознанию американца. Для американца цель жизни и непрерывное доказательство бытия — постоянно набивать полный рот разнообразных чувственных удовольствий. Им по праву рождения полагается немедленное и роскошное удовлетворение всех желаний. Слов «Вообще-то мне бы не следовало» от них с тем же успехом можно ждать, если кто-то предложит им не дышать.

Меня прежде озадачивало странное отношение британцев к удовольствиям и неутомимый стойкий оптимизм, который позволяет им применять к самым нестерпимым неудобствам избитые обороты: «Ну, для разнообразия неплохо», «Не стоит ворчать», «Могло быть и хуже», «Немного, зато дешево и сердито», «На самом-то деле было очень славно», — но со временем я освоил их способ мышления, и моя жизнь стала счастливой, как никогда. Помнится, я сидел в промокшей одежде в холодном кафе на серой набережной, и когда мне подали чай с печеньем, поймал себя на восклицании: «О, чудесно!». Тогда я понял, что процесс пошел. Вскоре самые разнообразные поступки: просьба о второй порции тостов в отеле, покупка шерстяных носков в «Маркс и Спенсер» и второй пары брюк, когда по-настоящему мне нужна была всего одна — стали представляться мне рискованными и немного преступными. Это чрезвычайно обогатило мою жизнь.

Я обменялся улыбками со счастливой парочкой на веранде и поплелся по берегу дальше к Мадфорду. Эта деревушка стоит на песчаной полоске между морем и тростниковыми зарослями Крайстчерчской бухты, и от нее открывается красивый вид на аббатство. В былые времена Мадфорд был прибежищем контрабандистов, однако ныне там только маленькая полуразрушенная набережная с несколькими лавочками и гараж фирмы «Вольво» в окружении домов с пижонскими морскими названиями: Солтингс (Соленые), Хоув-Ту (Дрейф), Сик-овер-зе-Сайд (Тошни-за-борт).

Я прошел Мадфорд насквозь и вышел в Крайстчерч по длинной грязной улице, застроенной гаражами, пыльными магазинами и полумертвыми пабами, а оттуда через Тактон, Саутберн и Воском попал в Борнмут. Время оказало дурную услугу этим поселкам. Торговые заведения Крайстчерча и Саутберна приходили в упадок и закрывались одно за

другим, а чудесный прежде паб у Тактонского моста через реку Стер пожертвовал свою прекрасную лужайку большой автостоянке. Заведение переименовали в «Ярмарку пивоваров», и оно сделалось филиалом организации пекарей. Выглядело оно ужасно, но, как ни печально, пользовалось популярностью. Кажется, только Боском немного воспрянул духом. Встарь его главная улица с первого взгляда вызывала вздох ужаса: ветер гонял по ней мусор, а по краям стояли мелкие магазинчики и отвратительно несимпатичные супермаркеты и универмаги, втиснутые за викторианские фасады. Теперь часть улицы удачно сделали пешеходной, королевский пассаж отреставрировали, заботливо сохранив стиль, и повсюду виднелась щедрая россыпь антикварных лавочек, заглядывать в которые куда интереснее, чем в прежние кожаные салоны и центры продажи постельного белья. На дальнем магазинчике под названием «Боскомский антикварный рынок» красовалась в окне большая вывеска: «Мы покупаем все!» Предложение выглядело необыкновенно щедрым, так что я вошел внутрь, перегнулся через прилавок и рявкнул:

— И сколько даете?

Конечно, ничего такого я не сделал — было закрыто, — но очень хотелось.

От Хайклифа до Борнмута дорога дальняя, миль десять или около того, и я здорово приуныл к тому времени, как добрался до Ист-Оверклиф-драйв — последней остановки перед городом. Я прислонился к белой изгороди и постоял, любуясь видом. Ветер стих, и в бледном вечернем свете бухта Пула и море у Борнмута зачаровали меня: плавный величественный изгиб растрескавшихся утесов и широкие золотые пляжи, протянувшиеся от острова Уайт до лиловых Парбекских холмов. Впереди в сгущающихся сумерках маняще мигали огоньки Борнмута и Пула. Внизу смело и весело тянулись к морю два городских мола, а за ними моргали и подпрыгивали огни проходящих судов. Мир, или, по крайней мере, этот его уголок, выглядел добрым и спокойным, и я был бесконечно рад, что попал сюда.

Во время поездки меня нередко одолевали приступы тихой паники при мысли о том, что когда-нибудь придется покинуть этот уютный и родной островок. Вообще, предприятие было невеселое, вроде как бродить последний раз по любимому дому. Мне здесь нравилось. Хватало дружеского кивка продавца, или уютного огня в камине паба, или такого вот вида, чтобы вернуть меня к мысли, что я совершаю серьезную, безрассудную ошибку.

Так что, если бы вы в тот тихий вечер вышли прогуляться по

прибрежным утесам, то могли бы увидеть американца средних лет, рассеянно бредущего по тропинкам и бормочущего, как заклинание:

— Вспомни прическу Сесил Паркинсон. Вспомни об НДС 17,5 процента. Вспомни, как субботним утром под завязку набиваешь машину мусором и гонишь на свалку, а там обнаруживаешь, что она закрыта. Вспомни о водопроводных шлангах после десяти месяцев дождей. Вспомни о странном, непоколебимом пристрастии первой программы Би-би-си к повторам «Кэгни и Лэйси»^[17] Вспомни...

Глава седьмая

Я ехал в Солсбери на большом красном двухэтажном автобусе, который покачивался на изгибах проселочной дороги и самым восхитительным образом задевал крышей нависающие ветви. Солсбери мне очень понравился. Он как раз правильного размера: достаточно велик, чтобы иметь кинотеатр и книжные лавки, и достаточно мал, чтобы в нем было приятно жить и гостить.

Я пробирался через шумный рынок на площади и пытался угадать, что находят в таких сборищах британцы. На меня эти рынки неизменно наводят уныние: безвкусица, перевернутые ящики, капустные листья под ногами и дешевые пластиковые пакетики, скрепленные прищепками. На французском рынке вас окружают плетеные корзины с блестящими оливками, вишнями и кружками козьего сыра, и все красиво уложено. На британском рынке вы покупаете кухонные полотенца и чехол для гладильной доски из пластмассового ящика из-под пива. Британский рынок всякий раз приводит меня в мрачное и критическое настроение.

Вот и теперь, шагая по шумным торговым улицам, я выбирал все бросающиеся в глаза уродства: «Бургер-кинг», скоропечатни, супераптеки и прочие враги рода человеческого, и окна во всех заклеены «особыми предложениями», и все вляпаны в здания без малейшего внимания к их веку и стилю. В центре городка, на углу, который должен был бы радовать глаз, небольшой дом, оккупированный бюро путешествий Ланн Полли. Второй этаж — с деревянными балками между каменной кладкой — дышит тихой славой. Нижний же... между витринами-переростками, залепленными рукописными объявлениями о дешевых путевках на Тенерифе и в Малагу, фасад вымощен — вымощен! — мозаикой мелких разноцветных квадратиков, словно содранных со стен туалета на вокзале Кингс-Кросс. Ужасно! Я стоял перед ним и пытался представить, что за комбинация архитекторов, дизайнеров и городских планировщиков могла допустить такое насилие над прекрасным зданием семнадцатого века с деревянными конструкциями — и не мог. Беда в том, что оно, в сущности, оказалось немногим хуже большинства других фасадов на той же улице.

Мне временами приходит в голову, что британцы непомерно избалованы, испорчены избытком исторического наследия. В стране, где всего так потрясающе много, легко привыкнуть видеть в наследии

неисчерпаемый источник. Вдумайтесь в цифры: 445 000 зарегистрированных зданий, 12 000 средневековых церквей, 150 000 акров общинных земель, 120 000 миль пешеходных маршрутов и заповедных участков, 600 000 известных объектов, представляющих археологический интерес (98 процентов не защищены законом). Знаете ли вы, что в одной только моей йоркширской деревушке больше построек семнадцатого века, чем во всей Северной Америке? А это всего лишь одна безвестная деревушка с населением, далеко не дотягивающим до ста душ. Умножьте на все поселки и деревушки Британии, и вы получите такое обилие старинных жилищ, амбаров, церквей, загонов, стен, мостов и прочих строений, что и не перечесть. Их так много повсюду, что легко поверить, будто убрав малую толику — там фасад с деревянными балками, здесь георгианское окно или несколько сот ярдов живой изгороди или изгороди из дикого камня, — вы ничего не потеряете. Сколько еще останется! На деле же страну понемногу обглаживают до смерти.

Меня поражает, как беззаботно относятся правила застройки к столь хрупкой среде. Известно ли вам, что даже в охраняемом районе домовладелец вправе снять старые окна и двери, перекрыть крышу черепицей в стиле асиенды, выложить фасад искусственным камнем, снести садовую стену, заасфальтировать газон и пристроить фанерное крылечко, и закон не увидит в том никакого нарушения тщательно сберегаемого стиля? Пожалуй, единственное, чего не разрешат сделать — это полностью снести дом, да и то этот пункт закона весьма сомнителен. В 1992 году застройочная компания в Рединге снесла пять зарегистрированных зданий в заповедном районе. Ее привлекли к суду и оштрафовали на 675 фунтов.

Правда, в последние годы у некоторых начала просыпаться совесть, однако и теперь домовладельцы по всей стране могут творить что душе угодно со своими домами, фермеры вправе возводить чудовищные жестяные сараи и выкорчевывать живые изгороди, компании «Бритиш Телеком» дозволяется уничтожать телефонные будки и заменять их душевыми кабинками, владельцы автозаправочных станций могут втискивать на каждом углу большие плоские навесы, а лавочники — сколь угодно уродовать самые хрупкие фасады, и никто не вправе им помешать. Нет, одна мелочь по силам каждому: отказаться от их услуг. Я с гордостью заявляю, что много лет не входил в «Бутс» и не войду, пока они не восстановят фасады своих главных магазинов в Кембридже, Челтнеме, Йорке и других городах, которые я понемногу добавляю к списку, и что я охотно промокну до нитки ради того, чтобы отыскать в 20-мильных

окрестностях своего дома хоть одну заправку, не украсившуюся пестрым балдахинном.

По чести сказать, Солсбери заботится о себе много лучше большинства других городков. На самом деле именно из-за общей его красоты так трудно перенести осквернение отдельных зданий. Больше того, положение понемногу улучшается. Недавно городские власти заставили владельца кинотеатра сохранить фасад с деревянными балками в здании шестнадцатого века в центре города, а в паре мест я заметил, что реставраторы буквально разобрали на части здания, изувеченные в Темные века шестидесятых и семидесятых годов, и собрали их заново, почтительно и заботливо. Одна из реклам застройщиков бахвалится, что они поступают так всегда или почти всегда. Да преуспевают они вовеки!

Я готов все простить Солсбери, если они не испоганят Соборную площадь. Я вполне уверен, что этот собор — единственный в своем роде в Англии, а площадь вокруг него — самая прекрасная из всех. Каждый камень, каждая стена, каждый куст здесь на своем месте. Кажется, каждый, кто прикасается к ним на протяжении 700 лет, менял все только к лучшему. Я мог бы поселиться здесь на скамеечке. Вот и сейчас я сел на скамью и полчаса с наслаждением глазел на изысканное сочетание собора, газонов и суровых домов вокруг. Я бы сидел и дольше, но стало моросить, и я поднялся, чтобы осмотреть город. Первым делом я зашел в городской музей в надежде, что там найдется добрый человек, который позволит мне оставить за прилавком рюкзак, пока я буду осматривать музей и собор. (Такой нашелся, благослови его, Боже!) Музей в Солсбери выдающийся, и я настоятельно советую каждому хотя бы раз в нем побывать. Я не собирался задерживаться, но там было полно вещей римского периода, старых картин, маленьких моделей поселения Олд Сарум и тому подобного, а я до всего этого большой охотник.

Особенно заинтересовала меня галерея Стоунхенджа, потому что на завтра я собирался съездить туда и заранее внимательно прочел все пояснительные надписи. Я понимаю, ясно без слов, но и вправду это невероятное сооружение. Для доставки каждой глыбы требовалось 500 человек, да еще 100, чтобы перекладывать катки. Представьте себе, что вам нужно уговорить 600 человек переволочь 50-тонный камень на 18 миль по бездорожью, поднатужиться, чтобы поставить его стоймя на выбранное место, и потом еще сказать:

— Отлично, ребята! Еще двадцать таких, да еще, пожалуй, несколько на перемычки и, может, пара дюжин валунов из Уэльса, и готово дело!

Кто бы ни затеял Стоунхендж, уверяю вас, он был мастер уговаривать.

Выйдя из музея, я через широкий газон прошел к собору. В том прискорбном случае, если вы там еще не побывали, предупреждаю, что собор в Солсбери жаден до денег, как никакой другой. Я прежде с большим неодобрением относился к церковным учреждениям, вымогающим из посетителей пожертвования, но однажды познакомился с викарием оксфордской Университетской церкви Святой Девы Марии — самой посещаемой приходской церкви в Англии — и узнал, что 300 000 ежегодных посетителей оставляют в ящиках для сбора пожертвований жалкие 8000 фунтов, и с тех пор сильно смягчился. Я хочу сказать, что эти великолепные здания заслуживают благодарной поддержки. Все же Солсбери, должен сказать, основательно переходит границу умеренности.

Прежде всего на пути встречается доска объявлений, похожая на афишу кинотеатра, приглашающая внести «добровольный» входной взнос 2 фунта 50 пенсов, затем внутри вас то и дело осаждают новыми воззваниями к содержимому ваших карманов. Вам предлагают заплатить за прослушивание записи и за возможность начистить медяшку, выказывая таким образом поддержку «Хористкам собора» и «Друзьям собора», и еще помочь в восстановлении предмета, названного «Флагом Эйзенхауэра», каковой сильно вылинял и изорвался. Звездно-полосатый флаг этот когда-то висел на командном пункте Эйзенхауэра недалеко от Солсбери, в Вилтон-хаусе. (Я оставил 10 пенсов с запиской: «Зачем было доводить его до такого состояния?») Всего я насчитал между проходной будкой и сувенирным киоском девять разных ящиков для пожертвований — десять, если считать плату за обетные свечи. Сверх того, в нефе нельзя шагу ступить, не наткнувшись на объявления, знакомящие со служителями собора (каждое с улыбающейся фотографией, словно они работники какого-нибудь «Бургер-кинга») или повествующие о работе добровольцев церкви за морем, или на стеклянные ящики с моделями, демонстрирующими разные стадии постройки собора: признаю, весьма познавательно, но больше приличествует расположенному через площадь музею. Кошмар. Интересно, долго ли ждать, пока вас начнут сажать в электрическую тележку и катать по «павильону ужасов собора», среди движущихся моделей каменщиков и монахов, похожих на брата Тука? Я ставлю на пять лет.

Потом я забрал свой рюкзак у доброго человека из музея и потащился к центральному туристскому агентству, где представил молодому человеку за прилавком сложный план поездки через Уилтшир и Дорсет, от Стоунхенджа к Эйвбери и дальше в Лакок, Стурхед-гарден и, возможно, Шерборн и попросил подсказать, на какие автобусы мне нужно успеть,

чтобы посмотреть все это за три дня. Он уставился на меня как на невероятного чудака, и спросил:

— А вам когда-нибудь раньше приходилось путешествовать на автобусах по Британии?

Я заверил его, что проделал это в 1973 году.

— Ну, думаю, с тех пор кое-что изменилось.

Он вручил мне тонкую книжицу с расписанием автобусов, следующих от Солсбери на запад, и помог найти в ней скромный раздел, относящийся к рейсам на Стоунхендж. Я-то надеялся рано утром выехать автобусом в Стоунхендж, чтобы за полдень поспеть в Эйвбери, но сразу выяснилось, что этот план неисполним. Первый автобус до Стоунхенджа отходил в 11 утра. Я недоверчиво фыркнул.

— Я полагаю, местное такси отвезет вас в Стоунхендж, подождет и доставит обратно примерно за 20 фунтов. Многих американцев это вполне устраивает.

Я объяснил ему, что, хотя, строго говоря, я американец, но прожил в Англии достаточно долго, чтобы научиться не транжирить деньги, и что, хотя я еще не дошел до стадии, когда выдавливаю медь по пенни из пластикового кошелька-копилки, но и платить двадцать фунтов за услугу, которую нельзя увезти с собой домой и пользоваться ею много лет, не готов. Я отступил в кафе, захватив с собой расписание автобусов, и, достав из рюкзака пухлый том железнодорожных расписаний, купленный именно для такого случая, принялся за сложное сопоставление маршрутов общественного транспорта в Уэссексе.

Я с некоторым изумлением обнаружил, что многие значительные населенные пункты вообще не имеют железнодорожного сообщения. Мальборо, Девайзес и Эймсбери, например. Автобусные маршруты, кажется, совершенно не согласованы. Рейсы в местечки вроде Лакока оказались на удивление редкими и обычно требовали почти сразу отправляться обратно, оставляя выбор: провести в городке сорок минут или семь часов. Все это весьма обескураживало.

Мрачно нахмурившись, я отправился в редакцию местной газеты, чтобы отыскать там Питера Блэккока, старого сослуживца по «Таймс», работавшего теперь в Солсбери и однажды по неосторожности сболтнувшего, что они с женой будут рады принять меня, если мне случится там оказаться. За несколько дней до того я черкнул ему пару строчек, предупредив, что в один из ближайших дней загляну к нему в контору в полпятого, но письмо, как видно, не дошло, поскольку, явившись в 4:29, я застал его выпрыгивающим в заднее окно. Конечно же, я шучу! Он

ждал меня с горящими глазами и с таким видом, будто он и его святая Джоан ждут не дождутся, когда я съем их еду, выпью их выпивку, сомну гостевую постель и устрою им ночное прослушивание моей знаменитой «Назальной симфонии».

Утром я вышел в город вместе с Питером, который показал мне местные достопримечательности: место, где давали первое представление «Как вам это понравится?», мост, выведенный Троллопом в «Барчестерских хрониках», — и расстался с ним у дверей редакции. Чтобы убить два часа, я пошлялся по магазинам и выпил чашечку кофе, прежде чем отправиться на автовокзал, где толпа народа уже ждала рейс 10:55 на Стоунхендж. Автобус подошел после одиннадцати, а потом понадобилось еще двадцать минут, чтобы водитель обеспечил билетами тех туристов, которые, будучи иностранцами, не догадались, бедняжки, что для посадки в автобус нужно отдать сколько-то денег за бумажный квадратик. Я за билет туда и обратно заплатил 3 фунта 5 пенсов, а потом еще 2.80 за вход в Стоунхендж.

— Не хотите ли взять путеводитель за 2.95? — предложила мне леди в кассе и услышала в ответ гулкий хохот.

Времена переменялись с тех пор, как я был в Стоунхендже в начале семидесятых. Там построили нарядную сувенирную лавочку и кофейню, но экскурсионного бюро здесь по-прежнему нет. Оно и понятно. Это ведь всего-навсего важнейший доисторический памятник Европы и один из дюжины наиболее посещаемых туристских аттракционов в Англии, так стоит ли тратить безумные деньги, чтобы сделать его интересным и поучительным? Самая главная перемена: теперь вы уже не сможете подойти к самым камням и нацарапать на любом из них «Я ЛЮБЛЮ ДЕНИЗ». Скромный шнурок удерживает вас на почтительном расстоянии от гигантских мегалитов. На самом деле это существенное усовершенствование. В результате камни не теряются в толпе зевак, а висят в грозном и славном одиночестве.

Как ни впечатляет Стоунхендж, но наступает минута — примерно одиннадцатая минута с начала осмотра, — когда понимаешь, что уже насмотрелся досыта, и проводишь сорок минут до обратного рейса, бродя по периметру шнурка и поглядывая на памятник больше из вежливости, потому что неловко первым вернуться в автобус, и больше всего жалеешь о потерянных 2 фунтах 80 пенсах. Кончилось тем, что я отправился в сувенирную лавочку, рассмотрел книги и подарки, выпил кофе из пластикового стаканчика, вернулся на остановку ждать рейса 13:10 на Солсбери и проводил время, гадая, почему бы не поставить здесь скамейки и что мне делать дальше.

Глава восьмая

Среди многих тысяч непостижимых для меня истин одна выделяется особо. Это вопрос: кто первый, стоя над кучей песка, сказал: «Знаете, ручаюсь, если мы возьмем малость этой штуки, добавим немного поташа и разогреем, получится материал твердый и в то же время прозрачный. Назовем его, скажем, стеклом»? Назовите меня тупицей, но я мог бы торчать на пляже до скончания веков, и все равно мне бы в голову не пришло сделать из песка окна.

При всем моем восхищении его чудесной способностью превращаться в полезные объекты наподобие стекла и бетона, я не большой поклонник песка в его естественном состоянии. Я вижу в нем главным образом преграду между машиной и водой. Он летит вам в лицо, попадает в бутерброды, поглощает жизненно важные предметы вроде ключей от машины и монет. В жарких странах он обжигает ноги и заставляет с воплями, приплясывая, скакать к воде, веселя людей с лучше приспособленными телами. Если ты мокрый, он липнет к телу, как известка, и его не счистить даже из брандспойта. Но — странное дело — едва вы встанете на пляжное полотенце, заберетесь в машину или шагнете на свежечищенный пылесосом ковер, как песок мгновенно осыплется.

И еще много дней вы с изумлением видите немалые кучки песка на полу каждый раз, как снимаете ботинки, а в носках его хватает, чтобы засыпать все ваше жилье. Песок остается с вами дольше многих заразных болезней. И собаки используют его вместо туалета. Нет, что касается меня, чем меньше песка, тем лучше!

Но я готов сделать исключение для Стадлендского пляжа, где оказался сейчас, проведя накануне отменный мозговой штурм во время поездки на автобусе в Солсбери. Я вскрыл банки своей памяти и припомнил данное самому себе много лет назад обещание: однажды пройти по прибрежной тропе в Дорсете — и вот я здесь, солнечным осенним утром. Я только что высадился с сэндбенкского парома, сжимаю в руке узловатую дорожную трость, купленную по вдохновению в Пуле, и шагаю вдоль величественного изгиба этого лучшего из пляжей.

День для прогулки был роскошный. Синее море покрыто барашками пены, небо — бегущими облачками, белыми, как простыни, дома и отели Сэндбенка, оставшиеся за спиной, словно сверкают в ясном воздухе, напоминая средиземноморское побережье. С легким сердцем я зашагал по

плотному влажному песку вдоль края воды к поселку Стадленд и манящим зеленым холмам за ним.

Мыс Стадленд известен как место, где можно увидеть все семь видов рептилий, встречающихся в Британии: ужа, медянку, гадюку, слепозмейку, обыкновенную ящерицу, песчаную ящерицу — и Майкла Портильо^[18]. Большая часть пляжа отведена естествоиспытателям, которые обычно добавляют любопытные черты к пейзажу, но сегодня здесь не было ни души, и на трех милях девственного песка остались только мои следы.

Стадленд — симпатичная деревушка, разбросанная среди деревьев, с норманнской церковью и несколькими прекрасными видами на бухту. Я по тропе обошел поселок и поднялся по холму к мысу Хэндфаст. На полпути я встретил пару, прогуливавшую двух больших черных собак неизвестного происхождения. Собаки весело носились в высокой траве, но, как это всегда бывает, при виде меня их мускулы напряглись, глаза полыхнули красным, клыки вдруг отросли на целый дюйм и они преобразились в опасных хищников. В два счета они настигли меня, свирепо лая и терзая сухожилия моих приплясывающих лодыжек ужасными желтыми зубами.

— Не могли бы вы, если не трудно, забрать ваших охреневших зверюг! — вскричал я голосом, вдруг напомнившим почему-то тембр Мышки Минни.

Подбежавший хозяин принялся пристегивать поводки. На голове у него красовалась нелепая шапчонка, какую бы напялили Эббот и Костелло, изображая игроков в гольф.

— Все из-за вашей палки, — укорил он меня. — Собакам не нравится палка.

— Стало быть, они только на калек бросаются?

— Просто им не нравится палка.

— Тогда не могла бы ваша глупая женушка идти впереди с плакатом: «Осторожно! Приближаются злые до палок собаки!»?

Я, видите ли, был немного раздражен.

— Послушайте, золотко, на надо переходить на личности.

— Ваши собаки без всякого повода набросились на меня. Не надо заводить собак, если не умеете с ними справиться. И не зовите меня «золотком», малютка!

Мы стояли, рыча друг на друга. Минуту можно было подумать, будто мы и впрямь сцепимся и покатаемся по земле самым неприличным образом. Я сдерживал горячий порыв протянуть руку и сбить с его головы эту шапчонку. И тут одна собака снова потянулась к моей лодыжке, и я на несколько шагов отступил вверх по холму. Я стоял на склоне, потрясая

тростью, как буйный сумасшедший.

— И шапчонка у вас тоже глупая! — заорал я вслед удирающей парочке. Покончив с этим, я привел в порядок одежду и выражение лица и продолжил свой путь. Вот уж свиданьице, честное слово!

Мыс Хэндфаст — это поросший травой утес, который заканчивается 200-футовым обрывом к основательно вспененному морю... Требуется особое сочетание нахальства и глупости, чтобы подобраться к самому краю и заглянуть вниз. Сразу за краем стоят две береговые башни, известные под именами «Старый Гарри» и «Жена Старого Гарри» — все, что осталось от дамбы, соединявшей когда-то Дорсет с островом Уайт, еле видимым в тумане за 18 миль на дальней стороне бухты.

За мысом тропа круто пошла вверх к Баллард-Даун: нелегкое испытание для мягкотелого толстяка вроде меня, но вид того стоил. Это потрясающе — будто стоишь на вершине мира. На мили вокруг плавными складками перекатываются дорсетские холмы, словно одеяло встряхнули, прежде чем расстелить на кровати. Проселочные дороги вьются между пухлыми живыми изгородями и склонами холмов, украшенных рошицами, фермами и сливочными овечками. Вдали море, яркое, огромное, серебристо-голубое, простирается к башням кучевых облаков. Далеко внизу, у меня под ногами, Суонедж жметя к скалистому мысу на краю подковообразной бухты, а за спиной лежит Стадленд, болотистые равнины Пул-Харбор и остров Браунси, а за ними — просторы заботливо возделанных земель. Красота, какую не выразишь словами, одна из тех редких минут, когда жизнь представляется совершенной. Пока я стоял так, замороженный и совершенно одинокий, облако наплыло на солнце, и сквозь него ударили лучи мерцающего света, словно лестницы в небо. Один такой луч упал к моим ногам, и в тот миг я мог бы поклясться, что слышу небесную музыку, арпеджио арф и глас, обращающийся ко мне: «Я только что завел тех псов в гадючье гнездо. Желая хорошо провести день».

Я отошел к каменной скамье, предусмотрительно устроенной на этой гордой вершине в заботе об усталых путниках вроде меня — право же, поразительно, как часто в Британии встречаешь подобные любезности, — и достал свой план местности в масштабе 1:25 000, изображающий Парбек. Как правило, я плохо лажу с картами, если на них не нарисована стрелка с подписью «Вы здесь», но эти планы Картографического управления — особая статья. Приехав из страны, где картографы склонны пренебрегать всеми деталями ландшафта меньше, скажем, горы Пайк, я всякий раз поражаюсь, как богаты подробностями планы КУ масштаба 1:25 000. На них видна каждая складка и морщинка земли, каждый сарай, верстовой

камень, курган и колонка, работающая от ветряного двигателя. На них можно отличить песчаный карьер от гравийного и высоковольтную линию электропередач от обычной. На моем плане была отмечена даже скамья, на которой я сидел. Невероятно — взглянуть на карту и с точностью до одного метра определить местоположение своих ягодиц.

От нечего делать разглядывая план, я заметил, что примерно в миле к западу от меня отмечен исторический обелиск. Гадая, кому и зачем понадобилось воздвигать памятник в столь отдаленной и труднодоступной точке, я двинулся вдоль хребта к тому холму, решив на него взглянуть. Никогда еще мне не приходилось пешком одолевать столь длинную милю. Я проходил через травянистый луг, через стадо пугливых овец, через перелазы и в полевые ворота, а цель моя, по всем признакам, была все столь же далека, но я упрямо пер вперед, потому что... ну... если дурак, то что поделаешь. В конце концов я дошел до скромного, совершенно непримечательного гранитного обелиска. Выветрившаяся надпись сообщала, что в 1887 году Дорсетская водопроводная компания провела через это место трубу. Чтоб меня! — подумал я и, снова взглянув на карту, увидел немного дальше нечто, названное Могилей великана. Уж это должно быть интересно.

И потащился дальше, чтоб посмотреть на эту могилу. В том-то и беда, видите ли. Всегда найдется какая-нибудь интригующая достопримечательность сразу за следующей контурной линией. Можно всю жизнь проблуждать от Каменного круга к римскому поселению (остатки), а оттуда — к руинам аббатства и не осмотреть и малой доли даже в небольшой местности, особенно если вы — подобно мне — обычно их не находите. Я так и не нашел Могилы великана. Думаю, что был совсем рядом, но не уверен. Когда на карте столько подробностей, вполне можно убедить себя в том, что находишься именно там, куда хотел попасть. Вы видите рошу и, поглаживая подбородок, произносите:

— Эге, это, должно быть, Лес Висячей Сопли, а значит, вот тот необычный пригорок наверняка Курган Прыгающего Гнома, и тогда вон та постройка на холме — как раз Ферма Отчаяния.

И вы уверенно идете вперед, пока не наткнетесь на явно непредусмотренную картой деталь ландшафта, вроде Портсмута, и тогда догадываетесь, что немножко сбились с пути.

Вот как получилось, что я провел тихий денек, потея и блуждая в этом большом, забытом, но зеленом и милом уголке Дорсета, в поисках прямой тропы к Суонеджу. Чем дальше я заходил, тем чаще терялась тропа. Ближе к вечеру мне то и дело приходилось проползать под колючей проволокой,

вброд, подняв рюкзак на голову, переходить ручьи, выдергивать ноги из медвежьих капканов, падать и мечтать оказаться где-нибудь в другом месте. Временами я останавливался передохнуть и пытался найти хоть какое-то соответствие между своей картой и окрестностями. Затем я поднимался, счищал с седалища коровью лепешку и, стиснув зубы, устремлялся в совершенно новом направлении. Таким способом я, к собственному удивлению, поздно вечером, со стертymi ногами, раскрашенный дорожной грязью и узорами засохших струек крови на конечностях, увидел перед собой Корф-Касл.

В честь удачи, которая привела меня хоть куда-то, я отправился в лучший отель, особняк елизаветинского периода на главной улице, под названием «Мортон-хаус». На вид он казался вполне приемлемым, и я воспрянул духом. Более того, у них нашелся для меня номер.

— Издалека пришли? — спросила служащая, пока я заполнял регистрационную карточку. Первое правило пешего туриста, разумеется — ври, не моргнув глазом.

— Из Брокенхерста, — серьезно кивнул я.

— Господи, это же так далеко! Я весьма мужественно фыркнул.

— Пожалуй, но у меня хорошая карта.

— А завтра куда собираетесь?

— В Кардифф.

— Ничего себе! Пешком?

— Только так. — Я вскинул на плечи рюкзак, взял ключ от номера и подмигнул так светски, что у девушки, надо полагать, закружилась бы голова, будь я только лет на двадцать моложе, заметно красивее и не красуясь у меня на носу большая плюха навоза.

Я потратил несколько минут, перекрашивая большое белое полотенце в черный цвет, и поспешно устремился на улицу, чтобы осмотреть поселок, пока все не закрылось. Корф — популярное и симпатичное местечко, кучка каменных домиков, и над ними — высокие зазубренные стены знаменитого и многократно сфотографированного замка. Из всех руин, не считая принцессы Маргарет, эти больше всего любимы англичанами. Я позволил себе чашечку чая с кексом в шумной и веселой чайной Национального треста и заторопился ко входу в замок, расположенному совсем рядом. За вход брали 2.90 — на мой взгляд, дороговато за груды битого камня — и к тому же через десять минут собирались закрывать, но я все же купил билет, потому что не знал, когда мне снова доведется сюда попасть. Антироялисты в гражданскую войну основательно развалили замок, а горожане потом охотно помогали завершить начатое, растаскивая обломки, так что остались

от него, в сущности, одни проломленные стены, зато сверху открывается удивительно красивый вид на долину: заходящее солнце протянуло длинные тени от склонов холмов, а низины затянуло намеком на вечерний туман.

В отеле я долго лежал в горячей ванне, после чего, в блаженном изнеможении, решил насладиться всеми благами, предоставляемыми «Мортон-хаусом». Когда я допивал вторую в баре, меня пригласили в ресторан. Там уже ужинали восемь человек: седовласые, хорошо одетые и молчаливые. И почему это англичане так тихо ведут себя в гостиничных ресторанах? Тишину нарушал только скрежет столовых ножей да двухсекундные переговоры полупшепотом:

— Думаю, завтра тоже будет ясно.

— О? Хорошо бы.

— М-м.

И снова молчание. Или:

— Суп хорош.

— Да.

И снова тишина.

Учитывая характер отеля, я рассчитывал найти в меню фирменные блюда вроде коричневого виндзорского супа, ростбифа и йоркширского пудинга, но, понятно, отели меняются со временем. Теперь меню пестрело словами, по десять гиней каждое, каких вы не увидели бы десять лет назад: тефтели, тартар, дюксель, тимбале, — и пояснениями, выраженными на удивление суконным языком и с множеством заглавных букв: «Вяленая Дыня Галия и Кембрийская Ветчина Открытого Копчения с Гарниром из Листового Салата». Дальше следовала «Филейная вырезка, приготовленная под Соусом с Добавлением Молотого Черного Перца, Сдобренная Бренди и Сливками». Чтение этого меню доставляло столько же удовольствия, как сами кушанья.

Меня очень увлекла эта новая манера выражаться, и я с большой охотой испытал ее в беседе с официантом. Я попросил у него порцию воды, свеженалитой из водопроводного крана и поданной а-натюрель в стеклянном цилиндре, а когда он обходил зал с хлебной корзинкой, заказал печеное изделие из пшеничной муки в обсыпке из маковых зерен. Я еще только расходился и собирался попросить фланелевое покрытие для коленей, свежевывстиранное и надушенное тонким ароматом мужского одеколона, взамен того, что соскользнуло с моих колен и теперь лежало на горизонтальной поверхности для ходьбы у моих ног, но тут он вручил мне карту с заголовком «Сладкое меню», и я осознал, что мы снова вернулись в

мир незатейливого английского языка.

Вот еще одна странность английских едоков. Они позволяют морочить себе голову всякими там рублеными диксеями и изысканными тефтельками, но не станут валять дурака, когда дело доходит до пудингов, и тут я с ними заодно. Все сладкие десерты были названы простыми английскими словами. Я взял сладкий пудинг с глазурью и не пожалел об этом. Когда я с ним покончил, официант предложил выйти в гостиную, где уже ждал кофе из свежезажаренных зерен с вафлями, собственноручно отобранными поваром. Я выложил на поверхность стола маленькие кружочки из медного сплава, изготовленные на Королевском монетном дворе, и, подавив легкий позыв к извержению желудочных газов через ротовое отверстие, совершил свой выход.

Я уклонился от береговой тропы, и утром мне первым делом пришлось искать обратный путь. Выйдя из Корфа, я, пыхтя, полез на крутой холм, где стояла соседняя деревня — Кингстон. День снова был ясным, и вид от Кингстона на Корф с его замком, ставшим вдруг далеким и миниатюрным, запомнился надолго.

Я вышел на тропу — ровную, на мое счастье — и две мили отшагал через леса и поля, тянувшиеся по хребту высокой долины. На береговую тропу я вышел у высокой и живописной возвышенности, именовавшейся утес Хаунс-Ту. И здесь вид ошеломлял: китовые спины холмов, сверкающие белые скалы, прерывающиеся мелкими бухточками и полосками пляжа, омываемого синим бескрайним морем. Видно было до самого Лалворта, куда я хотел попасть к концу дня, хотя между ним и мною еще лежало десять миль и множество китовых спин.

Я двинулся по тропе, круто взбирающейся на холмы и ныряющей в лощины. Было всего десять часов утра, но жарко стало не по сезону. Дорсетские прибрежные холмы, по большей части, не выше нескольких сотен фунтов, зато они крутые, и их много, так что я скоро вспотел и запыхался и в горле у меня пересохло. Сняв рюкзак, я со стоном обнаружил, что забыл свою отличную новенькую фляжку, купленную в Пуле и заботливо наполненную сегодня утром в отеле. Ничто так не усиливает жажду, как сознание, что пить нечего. Я поплелся дальше, лелея, вопреки всякой вероятности, надежду наткнуться на паб или кафе в Киммеридже, однако, увидев сверху его очаровательную бухту, понял, что в таком крошечном селении надеяться не на что. Достав бинокль, я сверху изучил поселок и обнаружил рядом со стоянкой машин какой-то вагончик. Может быть, маленькая передвижная чайная? Я заспешил по тропе, миновав запущенную до безобразия причудливую постройку — башню

Клавел, — и спустился на берег. Спуск был таким длинным, что занял добрый час. Скрестив на счастье пальцы, я пробрался через пляж и вышел к вагончику. Это оказался пункт Национального треста, и был он закрыт.

Я скорчил измученную гримасу. Горло как наждаком драло. До всего на свете были мили пути, и вокруг — ни души. И в этот миг — о, чудо! — на холм дребезжа въехал фургончик с мороженым, прогудел бодрый мотивчик и остановился на краю стоянки. Я провел в нетерпении десять минут, пока молодой продавец открывал разнообразные ящики и раскладывал свой товар. Едва окошечко открылось, я кинулся к нему с вопросом, что у него есть попить. Он порылся в фургоне и объявил, что имеется шесть бутылочек панда-колы. Я купил все, и удалился в тень под бортом фургона, где лихорадочно сорвал с первой пластиковую крышечку и вылил в себя ее живительное содержимое.

Так вот, не подумайте, будто я считаю, что панда-кола в чем-нибудь уступает коке, пепси, доктору пепперу, севен-апу, спрайту или любому другому сладкому напитку, по необъяснимым причинам пользующемуся большим спросом, или что я не одобряю манеру подавать лимонад теплым, и все же в купленном мною напитке было нечто весьма неудовлетворительное. Я выпивал бутылку за бутылкой, пока не забулькало в раздувшемся животе, но не могу сказать, чтобы это меня освежило. Я со вздохом сунул в рюкзак две оставшиеся бутылочки — на случай нехватки сиропа в будущем — и продолжил свой путь.

В паре миль от Киммериджа, на дальнем склоне монументально крутого холма, стоит маленькая забытая деревушка Тайнихем или то, что от нее осталось. В 1943 году армия велела обитателям Тайнихема на время покинуть свои дома, так как артиллеристы желали испытать в окрестных холмах новые разрывные снаряды. Население торжественно заверили, что как только с Гитлером будет покончено, они смогут вернуться. Пятьдесят один год спустя местные еще ждали. Простите мой непочтительный тон, но мне это кажется позорным не только потому, что доставило существенные неудобства жителям (особенно тем, кто забыл отменить заказ молочнику). Мало того, бедолаги вроде меня, рассчитывающие, что тропа через стрельбище будет открыта, частенько обманываются в своих надеждах. Вообще-то в тот день проход был открыт — я предусмотрительно проверил это перед выходом, — так что мне никто не мешал перевалить через крутой холм над Киммериджем и взглянуть сверху на горстку домов без крыш — все, что осталось от Тайнихема. Когда я видел его в прошлый раз, в начале семидесятых, Тайнихем был заброшен, зарос кустами, и о нем мало кто знал. Теперь он превратился в своего рода туристский аттракцион.

Окружной совет устроил рядом большую автостоянку, а школу и церковь отреставрировали, и в них расположились маленькие музеи с фотографиями, показывающими, как здесь было встарь. И зря. Мне Тайнихем больше нравился раньше, когда он был настоящим селением призраков.

Я понимаю, армии нужно где-то упражняться в стрельбе, но ведь могли бы они найти место поновее и не такое зрелищное — взорвать, скажем, Кейли. Странное дело, на склонах окрестных холмов я не увидел никаких следов разрушений. Вокруг в стратегических точках были расставлены большие красные щиты с цифрами, но и они оставались столь же нетронутыми, как окрестный пейзаж. Может, армия стреляет нервно-паралитическим газом или чем-нибудь таким? Кто знает? Только не я — все мои умственные способности ушли на то, чтобы взобраться на убийственный склон, ведущий к вершине Рингс-Хилл над заливом Уорбарроу. Вид оттуда — настоящая сенсация, был виден даже Пул, но мое внимание отвлекло ужасное открытие: сразу за вершиной тропа ныряла резко вниз, спускаясь до уровня моря, чтобы тут же снова подняться на столь же неприступного вида откос. Я укрепил силы панда-колой и ринулся вперед.

Соседняя возвышенность, именуемая Биндон-Хилл, вымотала меня окончательно. Мало того, что вершина ее уходит в тропосферу, так еще добираться по ней приходится по ныряющему вверх-вниз гребню, протянувшемуся более или менее в бесконечность. Когда показались разбросанные домики деревушки Вест-Лалворт и я, спотыкаясь, начал долгий путь вниз, ноги у меня приобрели способность сгибаться в нескольких доселе невозможных направлениях, а на ступнях под пальцами набухали пузыри мозолей. Я вошел в Лалворт, как странник, скитавшийся по пустыне в приключенческом фильме. Я шатался, невнятно бормотал, и меня покрывали потеки пота, а на губах пенились пузырьки панда-колы.

Зато так или иначе я одолел самую трудную часть маршрута и вновь вернулся к цивилизации в одном из самых очаровательных курортных местечек Англии. Хуже уже не будет.

Глава девятая

Когда-то, много лет назад, в заботе о детях, которые рано или поздно должны были появиться, родственники моей жены подарили ей коробку книг издания «Лэдиберд» пятидесятых и шестидесятых годов. Все они назывались как-нибудь вроде «На солнцепеке, или Солнечные дни на взморье» и скрывали под обложками подробные, ярко раскрашенные иллюстрации процветающей, благополучной, чистенькой Британии, в которой вечно светило солнце, лавочки улыбались покупателям, а детишки в свежесглаженных костюмчиках черпали радости и удовольствия в невинных развлечениях: ездили в магазин на автобусе, запускали игрушечные кораблики в парковом пруду и болтали с добродушными полисменами.

Моя любимая книжка называлась «Приключения на острове». По правде сказать, приключений в книжке было на редкость мало — помнится, кульминацией событий оказалась морская звезда, найденная на камнях, — но я полюбил ее за иллюстрации (одаренного и, увы, покойного Дж. Г. Уингфилда), изображавшие островок со скалистыми бухточками и видами на берега, несомненно британские, однако словно перенесенные в средиземноморский климат и аккуратно вычищенные от автостоянок, бинго-клубов и самых нахальных парков аттракционов. Коммерческая активность на картинках ограничивалась старомодной булочной и чайной

Та книга оказала на меня столь сильное влияние, что я несколько лет соглашался провести отпуск с семьей на британском взморье в надежде отыскать волшебные места, где летом всегда светит солнце, море теплое, как сидячая ванна, а о коммерческой рекламе и слухом не слыхивали.

Когда у нас наконец стали накапливаться дети, выяснилось, что их эти книжки не интересуют, поскольку самыми увлекательными поступками, какие совершали герои, были посещение зоомагазина и наблюдение за рыбаком, красящим лодку. Я пытался объяснить, что это — самая правильная подготовка к жизни в Британии, однако они настояли на своем, и отдали сердца паре отвратительных оболтусов — Топси и Тиму^[19].

Я упоминаю об этом здесь потому, что из всех курортных местечек, которые мы посетили за эти годы, Лалворт оказался ближе всего к идеализированному образу, возникшему у меня в голове. Он маленький, веселый и приятно старомодный. В его магазинчиках торговали товарами для отдыха на море, дошедшими от более невинных времен: деревянными

парусными лодочками, сачками, яркими надувными мячами в длинных сетках, — а немногочисленные ресторанчики всегда были полны веселых туристов, наслаждающихся чаем со сливками. В сказочно красивой, почти круглой бухте у подножия деревни полно скал и валунов, по которым лазали детишки, и мелких лужиц, где жили крошечные крабы. Совершенно восхитительное место.

Каково же было мое изумление, когда я, свежавыскобленный, вышел из отеля в поисках выпивки и доброго, честно заслуженного ужина, и обнаружил Лалворт, изменившийся до неузнаваемости. Главной его особенностью стала большая унылая автостоянка, о которой я совершенно забыл, а лавки, пабы и гостинички на ведущей к бухте улице оказались пыльными и, судя по их виду, находились на грани разорения. Я зашел в большой паб, и тут же пожалел об этом.

В нем стоял липкий застойный запах пролитого пива и полно было сверкающих фруктово-игорных автоматов. Я оказался чуть ли ни единственным посетителем, но все столики были заставлены пивными кружками и пепельницами, переполненными окурками, пакетиками от чипсов и прочим неприглядным мусором. Поданный мне стакан был липким, а лагер — теплым. Я выпил и решил попытаться счастья в соседнем пабе. Там было чуть менее грязно, зато обстановка оказалась ничуть не более подлинной: потрепанные украшения и музыка школы Кайли Миноуг, девиз которой «Кричи погромче и поболтай-ка грудками». Неудивительно (я рассуждаю с точки зрения энтузиаста), что многие пабы теряют клиентуру. Приуныв, я зашел в ресторанчик, где, бывало, мы с женой заказывали салат с крабами и воображали себя аристократами на отдыхе. Здесь тоже все переменялось. Содержание меню опустилось до уровня скампи, чипсов и горошка, а кухня оказалась весьма посредственной. Но что запомнилось более всего — сервис. Никогда еще я не встречал в ресторане столь бестолкового обслуживания. Зал оказался переполнен, и очень скоро мне сделалось очевидно, что ни одна сторона этому не радуется. Чуть ли ни все заказы, появлявшиеся из кухни, включали что-либо сверх заказанного или же были лишены чего-то нужного. Одни посетители умирали с голоду, дожидаясь обеда, тогда как другим на стол плюхали все заказанные блюда сразу. Я заказал ассорти с креветками, прождал его больше получаса, а получив, обнаружил, что некоторые креветки не успели оттаять. Я отослал заказ обратно на кухню и больше его не видел. Сорок минут спустя официантка принесла тарелку камбалы с жареной картошкой и горошком. Никто, кажется, ее не заказывал, так что я взял тарелку себе, хотя вообще-то заказал треску. Закончив есть, я по меню

высчитал, сколько должен, оставил деньги с небольшим вычетом за ледяные креветки и удалился.

Затем я вернулся в свой отель, исполненный глубокое беспросветного уныния, нейлоновых простыней и холодных батарей отопления, улегся в постель, читал при свете 7-ваттной лампочки и от всей души клялся никогда, покуда жив, не возвращаться в Лалворт.

Проснувшись наутро, я увидел холмы, занавешенные густой пеленой косо дождя. Позавтракав и заплатив за номер, я долго натягивал в прихожей непромокаемую одежду. Забавно, право: как правило, я одеваюсь самостоятельно без особых сложностей, но предложите мне надеть пару непромокаемых брюк, и вы подумаете, что я не способен устоять на собственных ногах. Двадцать минут я провел, сокрушая стены и мебель, падая в цветочные горшки и — особо выдающееся достижение — пропрыгав пятнадцать футов на одной ножке, пока не обвился шеей вокруг столбика перил.

Наконец снарядившись, я мельком увидел себя в большом настенном зеркале и осознал, что нехорошо напоминаю большой голубой презерватив. Наряд сопровождал каждый мой шаг отвратительным шелестом нейлона. Я надел рюкзак, вооружился тростью и вышел в путь. Я прошествовал по Хамбери-Ту, мимо Дердл-Дор и вверх по крутому ущелью с завлекательным названием Скретчи-Боттом (Дранный Зад) и дальше вверх по крутой, грязной тропинке, зигзагом поднимавшейся на одинокую, затянутую туманом возвышенность под названием Свайр-Хед. Погода была мерзкая, и дождь сводил с ума.

Прошу вас, снизойдите на минуту к моей просьбе. Побарабаньте себя по макушке пальцами обеих рук и посмотрите, через какое время это начнет действовать вам на нервы, а все окружающие уставятся на вас с изумлением. По обоим причинам вы будете рады прервать это занятие. Теперь мысленно замените барабанящие пальцы струями дождя, бесконечно стучащими по вашему капюшону. Прекратить это не в ваших силах, и, хуже того, ваши очки — два запотевших до бесполезности кружка, а ноги скользят по размокшей от дождя тропе, один неверный шаг по которой приведет к долгому падению кубарем на далекий берег — к падению, после которого от вас останется одна клякса на камнях, вроде джема на куске хлеба. Я составлял в уме заголовки: «Американский писатель разбился насмерть: так или иначе, он собирался покинуть страну» — и брел дальше, мрачно поглядывая из-под капюшона.

От Лалворта до Уэймута — 12 миль. В своем «Королевстве у моря» Пол Теру создает впечатление, что их можно пройти вразвалочку и у вас

еще останется время выпить чаю со сливками и пошататься по окрестностям, но, ручаюсь, ему досталась не такая поганая погода. У меня дорога заняла чуть ли не весь день. За Свайр-Хед путь, на счастье, стал ровнее, хоть и вел по высоким утесам над мертвенно-серым морем. И все же тропа была ненадежной, и продвигался я медленно. У бухты Рингстед холмы резко обрывались на последнем крутом спуске к берегу. Я сполз к морю в лавине жидкой грязи, задерживаясь только для того, чтобы навалиться животом на валун или провести испытание на прочность очередного древесного ствола. Внизу я вытащил карту и, вычисляя на пальцах, убедился, что за все утро покрыл не больше пяти миль. Недовольно нахмурившись, я сунул карту в карман и упрямо побрел дальше.

Остаток дня я провел на мокрой унылой тропе вдоль невысокого карниза над грохочущим прибоем. Дождь ослабел и превратился во всепроникающую морось — это такой особый английский вид мороси, которая висит в воздухе и высасывает из вас остатки бодрости. Примерно в час из тумана материализовался Уэймут, и я испустил тихий крик радости. Но видимая близость города оказалась жестоким обманом. Еще два часа я добирался до окраины, и еще час — по набережной до центра. Уставший, хромающий, я взял номер в маленьком отеле, упал на кровать в сапогах и презервативе и долго валялся так, прежде чем набрался сил переодеться во что-нибудь чуть менее смехотворное, слегка умыться и выйти в город.

Уэймут понравился мне куда больше, чем я ожидал. Два обстоятельства позволяют ему претендовать на известность. В 1348 году через этот порт Черная смерть проникла в Англию, а в 1789 году он стал первым морским курортом, когда унылый сумасшедший Георг Третий завел моду принимать здесь морские ванны. И по сей день городок умудрился сохранить дух георгианского изящества и преуспевания, хотя, как большинство морских курортов, несет на себе налет упадка, по крайней мере в отношении туристского бизнеса. Отель «Глостер», где останавливался Георг со свитой (в то время это был частный дом), недавно закрылся, и теперь в Уэймуте не осталось ни одного большого отеля — печальное упущение для старого приморского города. Но я с удовольствием отмечаю, что в нем имеется множество хороших пабов и один выдающийся ресторан, «Перри» — все в припортовом районе, где у нарядной набережной качаются на воде рыбацкие смэки, а соленый морской ветер наводит на мысль, что вот сейчас из-за угла покажутся Одноглазый и Черный Пес. В «Перри» былолюдно и весело, и после Лалворта я отдохнул там душой. Я заказал местные устрицы из Пула —

после трех дней упорной ходьбы я без всякого удовольствия вспомнил, что Пул еще совсем рядом — и очень достойного морского окуня, а потом забрался в темный паб с низким потолком, где чувствуешь себя не на месте без толстого вязаного свитера и капитанской фуражки на голове. Я отлично провел время и выпил столько, что ноги перестали гудеть.

К западу от Уэймута лежит пятидесятимильный изгиб залива Лайм. Поскольку местность сразу за Уэймутом не особенно или даже совершенно не запоминающаяся, я доехал на такси до Эбботсбери и, начав поход с середины дня, двинулся вдоль пляжа Чезил-бич. Не знаю, на что похож Чезил-бич на уэймутском конце, но на пройденном мною отрезке он состоит из больших куч мелкой круглой гальки, выглаженной эпохами наката волн до полного единообразия. Практически невозможно по ним пройти — на каждом шагу увязаешь по щиколотку. Прибрежная тропа тянется над галечным пляжем, но вид с нее закрывают каменистые дюны. Только слышно, как грохочет невидимое море, с каждой волной шурша прибрежной галькой. Такого скучного перехода у меня еще не выдавалось. Волдыри на ногах вскоре напомнили о себе болезненной пульсацией. Я стойко переношу самые разные мучения, могу даже посмотреть Джереми Бидла^[20], но саднящие мозоли нахожу особенно неприятными.

Добравшись после полудня до Уэст-бэй, я был вполне готов устроить привал и что-нибудь съесть. Уэст-бэй — необычное местечко, беспорядочно разбросанное среди дюн. Чем-то оно напоминает городок времен золотой лихорадки, выстроенный в одночасье, и выглядит серым, бедным и промокшим. Я порыскал в поисках места, где кормят, и случайно набрел на заведение, называвшееся «Кафе у реки». Отворив дверь, я обнаружил за ним самую неожиданную обстановку. Зал был переполнен. В воздухе гудели голоса, произносившие слова с пронзительным лондонским выговором, а все посетители выглядели так, будто сейчас сошли с рекламы Ральфа Лорена. Все до одного были в наброшенных на плечи джемперах и в солнечных очках, задранных на макушки. Казалось, в этот глухой уголок Дорсета по мановению волшебной палочки перенесли кусочек Фулхема или Челси.

Точно скажу, такой темп я наблюдал только в лондонских ресторанах. Официанты и официантки сновали как заведенные, пытаюсь удовлетворить нескончаемый спрос на еду, насытить клиентов и, главное, хорошенько напоить. Чрезвычайно редкое зрелище. Пока я стоял там, соображая, куда попал, мимо проковылял Кейт Флloyd, известный гурман. Я проникся впечатлением.

Все это немного ударило мне в голову. Обычно обедаю я очень

скромно, но кушанья пахли так заманчиво и столь необычна была обстановка, что я, неожиданно для себя, заказал обед как для голодного землекопа. Начал я с гребешков и лобстера, продолжил большой порцией филе морского окуня с зеленым горошком и горой жареной картошки, запил двумя стаканами вина и отполировал чашечкой кофе со здоровенным ломтем творожной запеканки. Хозяин — симпатичный весельчак по имени Артур Уотсон — рассказывал между столиками и даже подошел ко мне. Он рассказал, что еще десять лет назад тут было обычное кафе, где подавали горячие закуски, гамбургеры и картошку, но понемногу они стали вводить блюда из свежей рыбы и более изысканные закуски и обнаружили, что на них большой спрос. Теперь здесь в обед и ужин битком набито, а «Путеводитель хорошей кухни» в этом году назвал их кафе лучшим рестораном Дорсета, но они по-прежнему готовят гамбургеры и ко всем блюдам подают жареную картошку — на мой взгляд, это просто чудесно.

В четвертом часу я выбрался из «У реки» с легкой головой и с тяжестью во всех остальных частях тела. Присев на скамью и достав карту, я с отчаянием увидел, что до Лайм-Реджис еще 10 миль, и на пути у меня 626 футов Голден-кап — самого высокого из холмов южного побережья. Мозоли дергало, ноги гудели, живот гротескно раздулся, а с неба падал легкий дождик.

Пока я так сидел, подкатил автобус. Я поднялся и просунул голову в открытую дверь.

— На запад идет? — спросил я водителя. Тот кивнул. Поддавшись порыву, я влез в автобус, купил билет и устроился на заднем сидении. Главное в пешем походе, думал я, вовремя остановиться.

Глава десятая

Я провел ночь в Лайм-Реджис, а на утро успел погулять по городу, прежде чем сесть в автобус до Эксминстера, а с него — на поезд до Эксетера. Процесс этот занял значительно больше времени, нежели я рассчитывал. К тому времени, как я вышел с эксетерского вокзала Сент-Дэвид под легкий, но неприятный дождик, уже смеркалось.

Я бродил по городу, разглядывая фасады отелей, но все они выглядели для меня слишком роскошными, так что, попав в конце концов в центральное туристское агентство, я ощутил себя потерянным и брошенным далеко от дома. И не слишком представлял, зачем я здесь. Я рылся в пачках буклетов сельских конюшен, частных зоопарков, центров соколиной охоты и разведения миниатюрных пони, маленьких железных дорог и ферм по разведению бабочек, и еще какой-то фермы, называвшейся — я не шучу! — фермой «Улиткины рожки», — и ежиной больницы, и все это нисколько не отвечало моим скромным интересам. К тому же большая часть буклетов были раздражающе безграмотными, особенно в отношении синтаксиса. Порой мне кажется, что если я увижу еще одну туристскую брошюру со словами «британская лучшая» или «наибольшая в Англии», то подожду все заведение. Предложения же, содержащиеся в брошюрах, прискорбно скучны. Чуть ли не каждая возглавляет список перечисленных диковинок бесплатной стоянкой, сувенирной лавкой и чайной, а также неизбежной «увлекательной игровой площадкой», неосторожно сопровождаемой фотографией, из которой видно, что на площадке этой имеется лесенка для лазания и пара пластмассовых зверей на пружинах. Кто посещает эти аттракционы? Только не я.

На прилавке лежало объявление, что агентство сдает комнаты, и я спросил услужливую леди, не сможет ли она устроить мне ночлег. Она подвергла меня беспристрастному допросу с целью выяснить, сколько я готов заплатить — вопрос, который всегда приводит меня в смущение и представляется совершенно неанглийским, — и методом исключения мы с ней пришли к выводу, что меня можно отнести к категории дешевых, но требовательных. Так уж вышло, что в «Ройял Кларенс» предлагали комнаты со скидкой до 25 фунтов за ночь при условии, что вы поклянетесь не воровать гостиничных полотенец, и я ухватился за это предложение, поскольку уже видел отель с улицы и счел его ужасно привлекательным: большое белое георгианское здание на соборной площади. Таким он и

оказался. Комнаты были заново отделаны и по величине достойны отеля для олимпийцев: корзины для мусора — как баскетбольные корзины, мебель — в самый раз для стипль-чеза, на кровать запрыгивают, раскачавшись на двери ванной, и еще множество неиссякаемых источников радости для одинокого путника. Я провел короткую, но интенсивную разминку, принял душ, переделся и с волчьим голодом вырвался на улицу.

Эксетер — не из тех городов, которые легко полюбить. В войну его сильно разбомбили, отчего отцы города получили восхитительный шанс отстроить город в бетоне — и с энтузиазмом ухватились за эту возможность. Было всего лишь начало седьмого, но центр города практически вымер. Я бродил под тусклыми фонарями, заглядывая в витрины и читая те мрачные объявления — афиши, как их называют, — что всегда находишь в провинциальных газетах. Я испытываю к ним странную тягу, потому что они всегда оказываются либо совершенно загадочны для приезжего («Потрошитель почтовых ящиков снова наносит удар!», «Белуа летит домой»), либо так скучны, что вы тщетно гадаете, кому пришло в голову, будто они способны привлечь рекламодателей («Муниципалитет берет штурмом контракт на консервы», «Громила телефонных будок снова в деле»). Мой любимый образчик — не выдуманный, я наткнулся на него много лет назад — это объявление в «Хемел Хемпстед»: «Женщина, 81, скончалась».

Может, я выбирал не те улицы, только, сдается мне, во всем центре Эксетера нет ни единого ресторана. Мне всего-то и надо было что-нибудь скромное и чтобы в названии не значилось: «Острая кухня», «Вегетарианский» или «Медный чайник», но поиски мои продолжались, пока я не вышел к чудовищной разгрузочной дороге с пешеходным переходом такой сложности, что не стоило и пытаться преодолеть его, если у вас нет шести часов в запасе. Наконец я набрел на крутую улочку с несколькими маленькими едальнями и наугад выбрал среди них китайский ресторан. Не могу объяснить, отчего, но в китайских ресторанах, особенно когда я захожу туда один, меня охватывает странное чувство. Мне всегда кажется, что официант передает на кухню: «Один говяжий сатэ с жареным рисом для собаки-империалиста за пятым столиком». И палочки для еды тоже приводят меня в отчаяние. Интересно, одинок ли я в своей мысли, что народ, столь изобретательный, что выдумал порох, бумагу, воздушных змеев и множество других полезных штуковин, мог бы за 3000 лет своей благородной истории догадаться, что вязальные спицы — неподходящий инструмент для захвата пищи? Я добрый час гонялся за рисинками, обрызгивая соусом скатерть и поднося ко рту настигнутые в упорной

погоне кусочки мяса, только чтобы обнаружить, что они таинственным образом исчезли неизвестно куда. К концу моей трапезы стол передо мной выглядел так, словно побывал в эпицентре шумного скандала. Посрамленный, я оплатил счет, выскочил за дверь и вернулся в отель, где уселся смотреть телевизор, закусывая крошками, обнаружившимися в складках моего свитера и в отворотах брюк.

С утра я рано встал и вышел посмотреть город. Эксетер окутывала туманная мгла, ничуть не украшавшая его наружность, хотя соборная площадь оказалась очень хороша, и собор, с уважением отметил я, в восемь утра уже открыт. Я посидел немного на задней скамье, слушая утреннюю репетицию хора, удивительно красивого. Потом прошелся к старому портовому кварталу, чтобы посмотреть, не найдется ли там чего интересного. Квартал был художественно отделан магазинами и музеями, но все они по раннему времени оказались закрыты — и вокруг ни души.

Когда я вернулся на Хай-стрит, там открывались магазины. Я не позавтракал, потому что в комнате со скидкой завтрак не предусматривался, так что мне здорово хотелось чего-нибудь поклевать, и я принялся за поиски кафе, но и в этом отношении Эксетер оказался на удивление скуден. Кончилось тем, что я зашел в «Маркс и Спенсер» купить себе сэндвич.

Хотя магазин только что открылся, в продуктовом отделе было много народу, и к прилавку протянулась очередь. Я встал следом за восьмой покупательницей. Все восемь были женщины, и все проделывали один и тот же дивный трюк: разыгрывали удивление, когда приходило время расплачиваться. Я много лет не устаю удивляться этому явлению. Женщина стоит, разглядывая набранные в корзину покупки, но вот кассирша произносит: «Четыре двадцать, милая», и тут, глядя на покупательницу, можно подумать, что она впервые попала в магазин. С легким возгласом удивления она начинает рыться в своей сумочке в поисках кошелька или чековой книжки, как будто никто не предупредил ее, что это может понадобиться.

У мужчин есть свои недостатки: они промывают покрытые смазкой детали в кухонной мойке, они забывают, что покрашенные двери не просыхают за полминуты, но зато они умеют расплачиваться. Стоя в очереди, они успевают произвести инвентаризацию в своих бумажниках, рассортировать мелочь и прикинуть, сколько стоит покупка. Когда кассирша называет сумму, они немедленно вручают ей деньги и не убирают ладонь, протянутую за сдачей, как бы долго ту ни набирали и какой бы дурацкий вид у них ни становился, если в кассе, скажем, заело рулон, а

потом — заметьте! — кладут деньги в карман и уходят, и им не приходит в голову, что как раз сейчас надо отыскать ключи от машины и разложить по порядку накопившиеся за месяц счета.

И кстати, раз уж мы рискнули вставить эту смелую интерлюдия, не побоявшись обвинения в сексизме: почему женщины никогда не начинают выдавливать зубную пасту с нижнего конца тюбика, и почему вечно норовят позвать кого-нибудь на помощь, чтобы сменить перегоревшую лампочку? И как им удается расслышать и учуять то, что лежит далеко за порогом восприятия мужчины, и из другой комнаты определить, что вам вздумалось макнуть палец в свежую глазурь на пироге? И, главное, почему их выводит из себя, если мы проводим в туалете больше четырех минут в сутки? Эта последняя тайна всегда ставила меня в тупик. Одна хорошо знакомая мне женщина постоянно заводит со мной вот такие сюрреалистические беседы:

— Чем ты там занимаешься? (Говорится довольно резким тоном.)

— Начищаю чайник! Чем, по-твоему, здесь можно заниматься?

— Ты там уже полчаса. Ты читаешь?

— Нет.

— А вот и читаешь. Я слышала, как ты шелестишь страницами.

— Честное слово, не читаю. — Это надо понимать: «Минуту назад читал, но теперь, понятно, я разговариваю с тобой, милая!»

— Чем ты заткнул замочную скважину? Я ничего не вижу!

— Прошу тебя, только не говори мне, что ты стоишь на четвереньках, подглядывая в замочную скважину, как твой муж опорожняет кишечник в собственном туалете! Пожалуйста!

— Выходи сейчас же! Ты три четверти часа просидел там с книжкой!

И она удаляется, а вы сидите и думаете: взаправду это было или я попал на выставку дадаистов? И покачивая головой, возвращаетесь к своему журнальчику.

Все же приходится признать, что женщины как никто управляют с детьми, лужицами рвоты и покрашенными дверями — дверь три месяца как высохла, а они все еще прикасаются к ней так, словно она готова их укусить, — и за это им многое можно простить, так что я снисходительно улыбался суеязящимся передо мной женщинам, пока не настал мой черед продемонстрировать им, как должен действовать покупатель у кассы. Впрочем, не думаю, чтобы мой пример пошел им впрок.

Я съел свой сэндвич на улице, вернулся в отель, собрал вещи, заплатил по счету, вышел на улицу и задумался: «Куда дальше?» Вернувшись на вокзал, я уставился на мерцающий телеэкран. Мне хотелось поймать поезд

в Плимут или Пензанс, но до ближайшего оставалась еще пара часов. Зато скоро должен был отойти поезд до Барнстепла. Мне пришло в голову, что я могу проехать на нем, а потом автобусом вдоль северного побережья добраться в Таунтон или Майнхед. По пути можно сделать остановку в Линтоне и Линмуте, а может, и в Порлоке и в Данстере. Идея представлялась грандиозной.

Я попросил кассира в билетной кассе один билет до Барнстепла. Он сказал, что обычный билет стоит 8.80, но он может продать мне билет туда и обратно за 4.40.

— Не могли бы вы объяснить мне, какая в этом логика? — спросил я.

— Объяснил бы, если бы знал, сэр, — с завораживающей искренностью ответил он.

Я вынес рюкзак и билет на посадочную платформу и сел на скамейку. Коротая время, я наблюдал за вокзальными голубями. Воистину, эти существа отличаются общей вялостью и склонностью к припадкам паники. Вообразить не могу более пустого, бессмысленного существования. Вот вам инструкция, как быть голубем:

1. Бродить по платформе, поклевывая сигаретные окурки и прочие несъедобные предметы.

2. Испуганно взлетать перед каждым, проходящим по платформе, и уstraиваться на балке под навесом.

4. Гадить.

5. Повторить.

Табло на платформе не работало, а на слух я объявлений не разбирал — мне понадобилась целая вечность, чтобы узнать в слове «экзема» — Эксмут, поэтому каждый раз, как подавали поезд, приходилось вставать со скамьи и расспрашивать окружающих. По причинам, не поддающимся разумному объяснению, британская железная дорога неизменно помещает табличку с пунктом назначения на стекле переднего вагона, что было бы очень удобно, если бы пассажиры ждали поезда на путях, но несколько осложняет жизнь садящимся в него сбоку. Как видно, и другие пассажиры не разбирали объявлений, потому что, когда наконец подали поезд на Барнстепл, перед служащим БЖД собралась терпеливая очередь, и каждый спрашивал, идет ли этот поезд на Барнстепл. В заботе об иностранцах поясню, что действие это выполняется согласно определенному ритуалу. Хотя бы вы прекрасно слышали, как кондуктор отвечал впереди стоящему, что это барнстеплский поезд, вы тем не менее должны спросить:

— Простите, это поезд на Барнстепл?

Когда он признает, что большой протяженный объект в трех футах

справа от вас — это действительно поезд на Барнстепл, вам следует указать на него и простодушно уточнить:

— Вот этот?

И потом, при входе в вагон, непременно надо произнести, обращаясь ко всему вагону:

— Простите, это барнстеплский поезд?

На что большинство пассажиров ответят, что, по их мнению, это он, и только один мужчина, сидящий у окна с множеством свертков, засуетится, собирая вещи, и выскочит из вагона.

Садиться следует обязательно на его место, потому что, как правило, обнаруживается, что он забыл на скамье нечитанную газету, неначатую плитку шоколада, а порой и отличные овчинные перчатки.

Вот как вышло, что я отъезжал с эксетерского вокзала Сент-Дэвид, а мужчина, нагруженный свертками, бежал вслед за моим окном, выражая губами некие чувства, которых я не мог понять из-за толстого стекла, и перебирая свое новое имущество — «Дэйли миррор» и батончик «Кит-кэт». Перчаток, увы, не нашлось. Наши колеса простучали через эксетерские предместья и мы выехали на плодородную девонскую равнину. Мне как-то попала в руки история выдры Тарки^[21] — так она, видно, писалась в этих местах.

Яркая и неправдоподобно зеленая местность. Можно подумать, что в промышленности Британии основную долю составляет производство хлорофилла. Рельсы тянулись среди лесистых холмов, редких ферм и церквушек с квадратными башенками, напоминавших забытые на шахматной доске фигуры. Я скоро впал в блаженную лихорадку, какую всегда будит во мне движение поезда, и едва замечал названия остававшихся за окном деревушек: Пинхед, Вест-Статтеринг, Бакелайт, Хэм-Хокс, Шипшенкс...

Чтобы покрыть тридцать восемь миль до Барнстеpla, у нас ушло полтора часа. Со станции я отправился в город через длинный мост над быстрым течением реки Тоу. Полтора часа я кружил по узким торговым улочкам и по большому безрадостному крытому рынку, скудно украшенному прилавками с изделиями ручных промыслов. Я с удовольствием убедился, что задерживаться здесь не стоит. Барнстепл был когда-то большой узловой станцией с тремя вокзалами, однако теперь от них остался только один, поддерживающий ненадежную и редкую связь с Эксетером, да еще автобусная станция над рекой. На автостанции я нашел двух женщин, сидевших в кабинете за открытой дверью и ведущих разговор с выговором, характерным для этой части света.

Я осведомился об автобусах на Майнхед, расположенный милях в тридцати к востоку вдоль побережья. Они уставились на меня так, будто я спрашивал дорогу на Огненную Землю.

— Ой, в Манхд вы щас не пойдете, никак, — сказала одна.

— После первого октября автобусы на Майнхед не ходят, — подхватила другая.

— А на Линтон и Линмут?

Они фыркнули, умиляясь моей наивности. Это же Англия, 1994 год!

— На Порлок?

Фырканье.

— Данстер?

Фырканье.

Все, что они могли мне предложить, так это доехать на автобусе до Байдфорда, а уж оттуда попробовать уехать куда-то еще.

— Может, у них есть ррейс на Скаррлет-Лонн, но наверняка не скажшь.

— И много здесь таких, как вы? — хотелось мне спросить, но я промолчал. Еще у них в запасе имелся автобус на Уэстворд-Хо! но он мне не годился, потому что оттуда никуда уехать нельзя, да и перспектива провести ночь в столь восклицательном селении меня не привлекала. Поблагодарив, я удалился.

Остановившись снаружи в мучительных сомнениях, я думал, как мне быть. Все мои тщательно продуманные планы пошли насмарку. Я удалился в отель с затейливым названием «Ройял энд Фортескью», где заказал безмолвной и безликой официантке кофе и сэндвич с тунцом и раскопал в рюкзаке свое расписание. Оно сообщило мне, что у меня осталось двадцать три минуты, чтобы выпить кофе, съесть сэндвич и домчаться до станции, если я хочу успеть на поезд в Эксетер, откуда можно начать все сначала.

Я почти не жуя проглотил поданный сэндвич, в два глотка выхлебал кофе и бросился к станции, в ужасе от мысли, что мне придется провести ночь в Барнстепле. Я успел в последнюю минуту. Прибыв в Эксетер, я первым делом прошествовал к табло в решимости уехать первым же поездом, куда бы тот ни шел.

Так я оказался в руках судьбы, а она отправила меня в Уэстон-Сьюпер-Мэр.

Глава одиннадцатая

Я вижу три причины никогда не быть несчастным. Первая — вы родились. Это само по себе замечательное достижение. Знаете ли вы, что ваш отец при каждой эякуляции (а у него их было немало) производил этот примерно двадцать пять миллионов сперматозоидов — достаточно, чтобы за пару дней удвоить население Британии? И вам, чтобы родиться, нужно было не только оказаться среди немногочисленных выбросов спермы, у которых вообще был шанс преуспеть — уже неплохо, — но и выиграть гонку у 24 999 999 извивающихся шустрых претендентов, пустившихся вплавь через Английский канал вагины вашей матери в стремлении первыми достичь плодородного яйца Булони. Очень может быть, что рождение — главное достижение в вашей жизни. И не забывайте — вы вполне могли бы уродиться плоским червем.

Вторая — вы живы. На кратчайший миг вечности вам дарована волшебная привилегия — существовать. Бесконечные эпохи вас не было. Скоро вас снова не будет. То, что вы сейчас, в этот неповторимый во веки веков миг сидите, читая эту книгу, закусывая леденцами, мечтая о жаркой ночи с той стильной особой из кредитного отдела, задумчиво обнюхивая свои подмышки или чем вы там сейчас занимаетесь — просто существуете, — уже чудесно до невообразимости.

Третья — у вас вдоволь еды, вы живете в мирное время, и песенка «Завяжи желтую ленточку на старом дубе» уже никогда больше не станет хитом номером один.

Если вы примете все это во внимание, то никогда не будете по-настоящему несчастным — хотя, по чести должен заметить, что, оказавшись в одиночестве в Уэстон-Сьюпер-Мэр в дождливый вечер вторника, вы можете сильно приблизиться к этому состоянию.

Было всего лишь начало седьмого, когда я сошел с эксетерского поезда и отправился в город на поиски приключений, но весь Уэстон, как видно, уже сидел по домам, задернув шторы. Я прошел от станции по бетонной площадке рынка и дальше, к набережной, под которой вздыхало невидимое черное море. Почти все отели на набережной стояли темными и пустыми, а те, что были открыты, выглядели не особенно заманчиво. Я прошел не меньше мили, пока не оказался перед кучкой из трех стоящих бок о бок и ярко освещенных заведений на дальнем конце прогулочной набережной, и наугад выбрал одно под названием «Берч-филд», довольно простенькое, но

чистое и с умеренными ценами. Бывает хуже, и у меня бывало.

Я наспех почистился и снова побрел в город в поисках пищи и развлечений. У меня возникло странное чувство, будто я здесь уже бывал, чего наверняка не могло быть. Мое знакомство с Уэстоном ограничивалось тем, что Джон Клиз как-то рассказал мне (я не хвастаюсь знаменитыми знакомыми: я просто брал у него интервью, и между прочим, он очень даже славный парень), что они с родителями жили в квартирке в Уэстоне и что когда они переехали, на их место вселился с родителями Джеффри Арчер. Мне это показалось весьма примечательным: мальчики в коротких штанишках встретились и разошлись, и один из них отправился напрямик к величию. А если Уэстон казался знакомым, так это, конечно, потому, что он был совершенно на одно лицо со всеми остальными. Были в нем и «Бутс», и «Маркс и Спенсер», и «Диксонс», и «У. Г. Смит», и все прочие. Я с ноющей болью в сердце понял, что не увижу здесь ничего, чего не видел бы миллион раз до того.

Я зашел в паб под названием «Британия-Инн» — его неприветливость не доходила до настоящей враждебности — и в одиночестве выпил свою пинту, потом поел в китайском ресторане — не потому, что мечтал о китайской кухне, а потому что он единственный был открыт и я оказался единственным посетителем. И пока я тихо засыпал скатерть рисом, сладостями и соусом, послышался рокочущий голос грома, а в следующий миг небеса разверзлись — именно разверзлись. В Англии мне редко доводилось видеть ливень такой силы. Дождь хлынул на улицы как душ Шарко, через минуту ресторанное окно залило водой, словно кто-то окатил его из шланга. До моего отеля было далеко, поэтому я как мог растягивал ужин в надежде, что погода разойдется, но так и не дождался, и пришлось в конце концов выйти в дождливую ночь.

Я стоял под навесом соседней витрины и ломал голову; как быть? Ливень бешено барабанил по навесу и потоками хлестал в сточных канавках. Стоило закрыть глаза, и легко было представить себя на каком-то безумном конкурсе чечеточников. Натянув куртку на голову, я шагнул под потоп, метнулся через улицу и инстинктивно нырнул в первое освещенное укрытие — зал игровых автоматов. Протерев очки кончиком банданы, я огляделся. Передо мной была большая комната, полная светящихся и мигающих машин, и некоторые из них наигрывали электронные мелодии или издавали самопроизвольные гортанные звуки, однако кроме зрителя, сидящего за прилавком с сигареткой в зубах и журналом в руках, в зале никого не было, и казалось, автоматы ведут игру сами с собой. Если не считать тех штуковин с кранами, которые дают вам микросекунду,

чтобы попытаться ухватить плюшевую зверушку, и у которых управление никогда толком не работает, я вообще ничего не понимаю в игровых автоматах. Для начала мне обычно не удается даже вычислить, куда вставлять деньги и как запустить игру. Если каким-то чудом я одолею эти два препятствия, мне никогда не удастся уловить момент, когда игра уже началась, и я трачу драгоценные секунды, отыскивая щель возврата монет или кнопку «Старт». Затем я тридцать секунд недоуменно гляжу на сумятицу в окошке, не в силах разобраться, что там происходит, а мои дети вопят: «Глупый ты дуралей, ты же взорвал принцессу Лейлу!» — а потом появляется надпись «Конец игры».

Более или менее то же самое повторилось и теперь. По некой причине, которой я не могу придумать никакого разумного объяснения, я сунул 50 пенсов в автомат, который назывался «Крутой кикбоксер», или «Вышиби ему ногой мозги», или еще как-то в этом роде, и целую минуту жал на красную кнопку и крутил джойстик, пока мой герой — мускулистый блондин — лягал занавески и швырял в пустоту магические диски, а орава не менее мускулистых, но нечистых на руку восточных людей пинала его по почкам и швыряла на ковер.

Я провел странный час, блуждая как в трансе, скармливая автоматам деньги и играя в непонятные для меня игры. Я загонял гоночные машины в стога сена, уничтожал войска союзников лазером и невольно способствовал мутантам-зомби вытворять не поддающиеся описанию вещи с ребенком. Наконец у меня кончились деньги, и я вышел в ночь. У меня была ровно секунда, чтобы отметить: дождь почти перестал — а потом красная «фиеста» пронеслась по луже у самого края тротуара и выплеснула всю эту лужу точно на меня.

Слова «я промок до нитки» слишком слабы, чтобы описать мое состояние. Я вымок так, словно свалился в море. Я стоял, откашливаясь и отплеываясь, а машина притормозила, три стриженные головы, высунувшись в окна, приветственно провопили что-то, звучавшее как «Нья-нья-нья!», и укатили дальше. Я угрюмо зашагал по набережной, хлюпая на каждом шагу и дрожа от холода. Не хотелось бы вводить в эту жизнерадостную хронику трагические ноты, но я только недавно встал на ноги после довольно серьезной пневмонии. Не стану утверждать, будто стоял на краю могилы, но я был достаточно болен, чтобы смотреть «Утро с Ричардом и Джуди», и мне безусловно не хотелось возвращаться к этому состоянию. К моему возрастающему негодование, «фиеста», описав триумфальный круг, пронесла мимо меня своих падких до развлечений пассажиров, торжествующе разразившихся новым «Нья-нья-нья!», и

умчалась в ночь, со скрежетом тормозов вильнув хвостом, увы, не задевшим фонарный столб.

К своему далекому отелю я добрался уже совсем промокший и несчастный. Вообразите же мое изумление, когда обнаружилось, что свет в холле приглушен и дверь заперта. Я взглянул на часы. Всего девять вечера. Бога ради, что же это за городишко такой? На двери имелось два звонка, и я попробовал оба, но безрезультатно. Я решил отпереть дверь ключом от номера, но он, разумеется, не подошел. Я снова попробовал позвонить, по нескольку минут нажимая обе кнопки и с каждой минутой все больше свирепея. Когда мои старания оказались тщетными, я застучал о стекло основанием ладони, потом кулаком и наконец с яростью забарабанил тяжелым ботинком. Помнится, я еще и оглашал воплями тихие улицы.

Наконец хозяин появился из какой-то подвальной двери. Вид у него был удивленный.

— Прошу прощения, сэр, — мягко сказал он, открывая дверь и впуская меня. — Вам долго пришлось ждать?

Ну, теперь я краснею при мысли, как обрушился на беднягу. Я не выбирал выражений. Я не посрамил бы и Грэма Тейлора до того, как его уволили и лишили теплого местечка^[22]. Я обвинял самого хозяина и всех жителей этого города в полном отсутствии ума и обаяния. Я сообщил ему, что провел отвратительнейший вечер в самой безбожной адской дыре, когда-либо называвшейся курортом, промок насквозь по вине молодых кретинов, которым на всех не хватает десяти пунктов IQ до слабоумного, что я целую милю тащился в мокрой одежде, а потом еще полчаса дрожал на холоде, потому что он запер собственный отель в каких-то девять часов долбанного вечера.

— Смею ли напомнить, — продолжал я пронзительно, — что два часа назад вы пожелали мне хорошо провести вечер, и я у вас на глазах вышел за дверь и скрылся на улице. Вы что, решили, что я уже не вернусь? Что я переночую в парке, а за вещами зайду утром? Или вся штука в том, что вы вообще думать не способны? Пожалуйста, дайте ответ, меня это очень интересует.

Хозяин съежился под ливнем моих упреков. Он всплескивал руками и бормотал оправдания. Он готов был подать чай и сэндвичи, высушить и выгладить мою промокшую одежду, проводить меня в номер и лично включить обогреватель. Он только что не пал мне в ноги и не молил не пронзять его саблей. Он просто умолял позволить принести мне в номер что-нибудь горячительное.

— Я хочу одного: пройти в свой номер и считать минуты до светлого

мига, когда я выберусь из этой долбаной помойки, — возопил я, возможно, несколько театрально, но от всей души, и большими шагами взлетел по лестнице на первый этаж и углубился в коридор. Только тогда я сообразил, что понятия не имею, который номер — мой. На ключе номера не было.

Я вернулся в холл, ставший еще более сумрачным, и просунул голову в подвальную дверь.

— Простите, — произнес я очень скромно, — не могли бы вы сказать, в каком номере я живу?

— Номер 27, сэр, — ответил голос из темноты. Я постоял минуту.

— Благодарю вас, — сказал я.

— Все в порядке, сэр, — ответил голос. — Доброй вам ночи.

Я нахмурился и прочистил горло.

— Благодарю вас, — повторил я и удалился в свой номер, где и провел ночь без дальнейших происшествий.

Наутро я показался в залитой солнцем столовой и увидел, что, как я и опасался, хозяин уже ждет. Теперь, когда я высох, согрелся и хорошо выспался, мне было ужасно стыдно за вчерашний взрыв.

— Доброе утро, сэр, — жизнерадостно сказал он как ни в чем не бывало и проводил меня к столику у окна с отличным видом на море. — Хорошо ли спалось, сэр?

Я опешил от такого дружелюбия.

— Да, хорошо, даже очень.

— Вот и хорошо! Превосходно! Соки и каши на тележке. Прошу вас, берите сами. Не подать ли вам полный английский завтрак, сэр?

Это неумеренное добродушие окончательно меня добило. Я уткнул подбородок в кулак и смущенно выдавил:

— Послушайте, я очень извиняюсь за все, что наговорил вчера вечером. Я был немножко не в себе.

— Ничего-ничего, сэр!

— Нет, правда, мне, гм, очень жаль. Даже стыдно, признаться.

— Считайте, что все забыто, сэр. Так что — полный английский завтрак?

— Да, пожалуйста.

— Очень хорошо, сэр!

Никогда еще меня не обслуживали так внимательно и доброжелательно, и никогда я не чувствовал себя таким червяком. Он без промедления подал мне завтрак, болтая о погоде и о том, какой она обещает замечательный денек. Я не мог понять, отчего он так снисходителен. Только со временем до меня дошло, какое я, должно быть, являл собой

странное зрелище: мужчина средних лет с рюкзаком, заехавший в такой городок, как Уэстон, не в сезон, без видимых причин, устроившийся в их отеле и поднявший страшный скандал из-за пустякового неудобства. Должно быть, хозяин принял меня за психа, возможно, сбежавшего из сумасшедшего дома, и посчитал, что спокойнее будет обращаться со мной помягче. Или так, или он просто был необыкновенно приятным человеком. В любом случае, шлю ему свой привет.

В утреннем свете Уэстон выглядел удивительно милым. Островок Флэт-Холм в заливе купался в чистом прозрачном воздухе, а за ним, в двенадцати милях через залив, поднимались зеленые холмы Уэльса. Даже отели, которыми я пренебрег вечером, выглядели вдвое привлекательнее.

Я пошел на вокзал и поездом уехал в Чепстоу, а оттуда автобусом в Монмут. Долина реки Уай осталась столь же прекрасной, какой запомнилась мне много лет назад. Темные леса, извилистая река, одинокие белые домики ферм высоко на крутых склонах — зато деревни между ними были основательно лишены очарования, непривлекательны и, кажется, большей частью состояли из заправочных станций, пабов с большими площадками стоянок и сувенирных лавок. Я искал аббатство Тинтерн, прославленное, конечно, известным стихотворением Вордсворта, и найдя, с разочарованием обнаружил, что стоит оно не в чистом поле, как мне помнилось, а на краю непримечательной дереvушки.

Зато Монмут — приятный, красивый городок с крутой Хай-стрит и впечатляющей ратушей. Перед ней стоит памятник Чарльзу Стюарту Роллсу, сыну лорда и леди Ллангатток, «пионеру воздухоплавания, автомобилизма и авиации, погибшему при крушении в Борнмуте в июле 1910 года», как гласит надпись. Он изображен с моделью одного из первых бипланов в руках и напоминает Кинг-Конга, отмахивающегося от атакующего его самолета. Что связывает Роллса с этими местами, не сказано. В витрине книжного магазина на Черч-стрит была выставлена моя книга, так что магазин этот, бесспорно, заслуживает упоминания.

Я задумал еще походить пешком, пока держится погода, и не стал откладывать. Купил пирог в булочной и съел его на ходу, разыскивая дорогу к реке. На прибрежную тропинку я вышел у красивого каменного моста и двинулся по ней на север по валлийскому берегу. Первые сорок минут меня сопровождал непрерывный рокот машин с автострады А40, но от места с названием Голдсмит-Вуд река резко отвернула от дороги, и я вдруг очутился в другом, более спокойном мире. Надо мной возились в ветвях и чирикали птицы, и маленькие невидимые существа плюхались в реку, вспугнутые моими шагами. Река лениво серебрилась, ее окаймляли холмы

в осенней раскраске, и я был совсем один среди этой красоты. Через пару миль я остановился, чтобы свериться с картой, и увидел отмеченное на соседнем холме место под названием «Пещера короля Артура». Пройти мимо я, конечно, не мог. Я полез на склон, заглядывая во все подходящие впадины. Примерно час проползав между валунами и буреломом, я, к своему легкому удивлению, нашел пещеру. Ничего особенного, просто неглубокая комнатка, выдолбленная природой в известняковой скале, но мне было приятно сознавать, что за много лет я здесь — первый посетитель. Во всяком случае там не было обычных следов туристов: надписей и забытых консервных банок, а потому она может считаться уникальной достопримечательностью Британии, если не всего мира.

Время поджимало, и я решил срезать напрямик через леса на холмах, не учтя при этом того обстоятельства, что находился я на верхней из весьма плотной полосы горизонталей. В результате минуту спустя я двигался вниз по практически отвесному склону, совершенно не владея собой, огромными прыжками перемахивая от дерева к дереву, раскинув руки в стиле, странно напоминающем Джорджа Чакириса в «Вестсайдской истории», с той разницей, что здесь был Уэльс, и Джордж Чакирис не наделал бы в штаны от ужаса, прежде чем, пройдясь колесом и завершив этот трюк эпохальным скольжением на брюхе по 80-ярдовой осыпи, затормозить на самом краю головокружительной пропасти, на дне которой, в 100 футах подо мной, ярко блестел Уай. Я обвел взглядом свое бессильно простертое тело и обнаружил, что носок левой ноги зацепился за молодое деревце. Не будь здесь этого деревца, не было бы и меня.

Пробормотав: «Благодарю тебя, Господи, считай, за мной должок», я кое-как поднялся на ноги, счистил с фасада прутья и палые листья и, вздыхая, полез по обрыву на тропу, которую недавно столь самонадеянно покинул. До берега я добирался еще час. За следующий час я дошел до Саймондс-Ят. С этого просторного, поросшего лесом утеса на вершине крутого холма открывается вид во все стороны. Восхитительное ощущение — увидеть за излучинами реки и идиллическими полями и перелесками вершины далеких Черных гор.

— Недурно, — сказал я, — совсем недурно, — и задумался, где бы найти местечко, чтобы выпить чаю и переменить штаны.

Глава двенадцатая

Есть вещи, чтобы оценить которые надо быть британцем или старше, чем я есть, а может быть, то и другое: Сути, Тони Хэнкок, цветочники Билл и Бен, «Мармайт», музыка скиффл, та часть шоу Моркама и Уайза, где Анжела Риппон пляшет, показывая ножки, песня «Салли» в исполнении Грэйси Филдс, все, что угодно в исполнении Джорджа Формби, «Диксон из Док-Грин»^[23], острый соус, соляные погребца с единственной большой дырой, разъездные аттракционы, изготовление сэндвичей из собственноручно нарезанного хлеба, настоящий чай с молоком, принципы распределения земельных участков, уверенность, что домашняя проводка — интересная тема для беседы, паровозы, тосты, приготовленные на решетке газовой плиты, идея, что поход по магазинам, чтобы выбрать обои — способ хорошо провести выходной с супругом, вино, изготовленное из чего-либо, кроме винограда, неотопливаемые спальни и ванные комнаты, скалистые берега, возведение на пляже ширм от ветра (ради бога, если нужна ширма, что мы здесь делаем?) и интерес к местным выборам. Возможно, я запомнил еще что-нибудь.

Я не утверждаю, будто все это плохо, скучно или никому не нужно. Просто я не способен в полной мере их оценить. К той же категории я не без опаски отношу Оксфорд.

Я питаю величайшее почтение к университету и 800 годам его неустанной просветительской деятельности, однако должен признаться, что не совсем понимаю, зачем он нужен, ведь Британия больше не нуждается в колониальных администраторах, способных играть латинскими изречениями. Я вот что хочу сказать: посмотришь на этих прогуливающихся донов и школяров, погруженных в увлекательные дискуссии о контроверзе Лейбница-Кларка или о посткантианской эстетике, и думаешь: весьма впечатляет, но не слишком ли это большая роскошь для страны, где три миллиона безработных, а последним крупным изобретением был «кошачий глаз» в радиоприемнике? Как раз накануне в вечернем выпуске «Десятичасовых новостей» Тревор Макдональд, сияя от радости, объявил, что корпорация «Самсунг» строит новый завод в Тайнсайде и готова обеспечить работой 800 человек, которые согласятся носить оранжевые комбинезоны и по полчаса каждое утро заниматься тай-цзи. Так вот, назовите меня неисправимым филистером, но сдаётся мне — я замечаю это с самыми дружескими чувствами, — что когда

производственный потенциал нации упал так низко, что она вынуждена искать опору у корейских фирм, то пора, пожалуй, сменить приоритеты в образовании и подумать о том, что будут подавать на стол в 2010 году.

Помнится, несколько лет назад я смотрел специальную Международную встречу «Спора университетов» между командами британских и американских студентов. Британская команда выиграла с легкостью, которая привела в сильнейшее смущение и их самих, и ведущего Бамбера Гаскойна, и зрителей в студии. В самом деле, это была блестящая демонстрация интеллектуального превосходства. Финальный счет был что-то вроде 12 000:2. Но вот в чем штука. Я ни в малейшей степени не сомневаюсь, что если вы проследите судьбу участников того конкурса, то обнаружите, что американцы получают по 350 000 долларов в год, торгуя векселями или управляя корпорациями, между тем как британцы изучают тональности хоралов шестнадцатого века в Нижней Силезии и ходят в дырявых джемперах.

Впрочем, не беспокойтесь. Оксфорд возвышался над всеми, начиная со Средних веков, и останется на высоте, даже превратившись в Оксфордский университет («Сони Великобритания Лтд.»). Надо сказать, университет настроен гораздо более коммерчески. Ко времени моего визита он заканчивал успешную пятилетнюю кампанию по сбору фондов на 340 миллионов фунтов стерлингов и оценил достоинство спонсорской поддержки корпораций. Заглянув в проспекты, вы найдете в них множество таких упоминаний, как «новейшая дробленая пшеница (без добавления сахара и соли)» при кафедре восточной философии или «Харрисовский тысячерулонный магазин дешевых ковров» при школе бизнес-менеджмента.

Такое спонсорство корпораций просочилось в жизнь Британии в последние годы, не слишком привлекая к себе внимание. В наши дни появляются Лига «Кэнон», Кубок «Кока-колы», Дерби продуктов быстрого приготовления «Эвер-реди», мировой чемпионат по снукеру «Эмбасси». Недалек уже день, когда мы увидим королеву-мать от кукурузных хлопьев «Келлогз», корпорацию «Мицубиси», гордо представляющую Риджентс-парк, и Самсунг-сити (бывший Ньюкасл). Но я отвлекаюсь. Моя обида на Оксфорд не имеет ничего общего со сбором средств или методами обучения. Я обиделся на Оксфорд за то, что он такой уродливый. Пройдемся по Мертон-стрит, и я покажу вам, что имею в виду. Обратите внимание, мы проходим позади колледжа Крайстчерч, мимо отточенного покоя Корпус Кристи, в мягком золотистом сиянии Мертона, и вот попадаем в сокровищницу архитектуры, в одно из богатейших собраний

исторических зданий, и Мертон-стрит встречает нас бесспорно прекрасной перспективой остроконечных крыш, кованых решеток и великолепных особняков семнадцатого и восемнадцатого веков. Некоторые дома слегка обезображены наружной электропроводкой (не столь погруженная в интеллектуальную рассеянность нация скрывает бы ее внутри), но это ничего. Этого легко не заметить. Но что там бросается в глаза в конце улицы? Трансформаторная будка? Санаторий для умалишенных, построенный по проекту клиентов? Нет, это общежитие Мертон-колледжа, маленькая клякса, оставленная безумными шестидесятыми на безупречной во всех отношениях улице.

Теперь вернитесь вместе со мной к Кибальд-стрит, к тихой аллее, переплетенной живописными переулками между Мертон- и Хай-стрит. Восточным концом Кибальд-стрит упирается в карманных размеров площадь, которая положительно взывает установить на ней маленький фонтан и, может быть, поставить несколько скамей. Вместо них мы находим здесь припаркованные в два и три ряда машины. Теперь на Ориел-стрит: здесь свалка брошенных машин еще хуже. Теперь к Корнмаркет (не смотрите, это по-настоящему ужасно), по Брод-стрит мимо Сент-Джайлс (такое же автомобильное убожество), и наконец мы, подавленные, изнемогающие, останавливаемся перед оскорбительным для глаз бетонным скопищем университетских офисов на площади с неуместным наименованием Веллингтон-сквер. Нет, не будем останавливаться. Лучше вернемся мимо Корнмаркет, через ужасный, с низкими сводами и тусклым освещением торговый центр «Кларендон» выйдем на Куин-стрит, минуем столь же безобразный торговый центр «Уэстгейт» и центральную библиотеку с ее бездушно вылупленными окнами и остановимся перед гигантским прыщом, скрывающим в себе Муниципальный совет Оксфордшира. Можно было бы пройтись еще через Сент-Эббс, мимо скотских на вид барачных — зданий суда, по широкому изгибу Окспенс-роуд с ее вулканизационными мастерскими и автомобильными выхлопами, с жалким, неблагоустроенным катком и стоянками, в шумную нищету Паркенд-стрит, но, по-моему, вполне можно побережь усталые ноги и остановиться здесь.

Все это не так бы меня волновало, не будь каждый, буквально каждый, с кем я говорил в Оксфорде, убежден, что это один из красивейших городов мира (включая сюда заботливую охрану старины и удобство для жизни). Нет, я признаю, в Оксфорде остались мгновения невыразимой красоты. Лужайка Крайстчерча, Рэдклиф-сквер, кварталы колледжей, Кэтт-стрит и Терл-стрит, Куинс-лейн и большая часть Хай-стрит, Ботанический сад,

Порт-Мидоу, университетский парк, Кларендон-хаус, весь северный Оксфорд — это прекрасно. И лучшее в мире собрание книжных лавок, роскошные пабы и потрясающие для такого небольшого города музеи. И ошеломительный крытый рынок. И Шелдоновский театр. И Бодлеанская библиотека. И россыпь перспектив, от которых сердце тает в груди.

Но все же слишком много там плохого. Как это могло случиться? Серьезный вопрос. Что за припадок безумия охватил городских планировщиков, архитекторов и власти колледжей в 1960-х и 1970-х годах? Известно ли вам, что они всерьез намеревались снести Иерихон — прекрасный ремесленный квартал — и проложить трассу прямо через лужайку Крайстчерча? Подобные идеи не просто неудачны — это преступное безумие. А в меньшем масштабе оно повторялось вновь и вновь по всему городу. Взгляните на общежитие Мертон-колледжа — далеко не самое неудачное здание в городе. Какое невероятное сочетание невозможных обстоятельств привело к его постройке? Прежде всего, какой-то архитектор должен был его спроектировать, должен был, пройдя через город 800-летней архитектурной традиции, измыслить строение, больше всего похожее на тостер с окнами. Затем комиссия просвещенных умов Мертон-колледжа должна была с величайшим равнодушием к своей ответственности перед потомством решить: «Мы, знаете ли, с 1264 года возводим красивые здания; давайте для разнообразия построим уродливое». Затем комиссия по планировке должна была сказать: «Ну, а почему бы и нет? В Бэзилдоне еще хуже строят». Потом весь город — студенты, доны, лавочники, служащие, члены Оксфордского общества охраны памятников — должен был промолчать и не поднимать шума. Умножьте все это, скажем, в 200, 300 или 400 раз — и вы получите современный Оксфорд. И вы меня уверяете, что это — красивейший, лучше всего сохранившийся город в мире? Боюсь, что нет. Это был красивый город, с которым слишком долго обходились с недопустимым равнодушием и плачевной некомпетентностью, и каждому жителю Оксфорда следовало бы стыдиться.

Боже мой! Что за тирада! Давайте развеселимся и посмотрим на что-нибудь хорошее. Например, на музей Эшмоула. Какое удивительное учреждение, старейший публичный музей на планете Земля и наверняка один из лучших. Почему же в нем всегда так пусто? Я провел в музее все утро, вежливо осматривая древности, и весь музей принадлежал мне одному, если не считать школьного класса. Дети порой попадались на глаза, когда перебегали из зала в зал, преследуемые взъерошенным учителем. Затем я перешел в Питт-Риверс и в Университетский музей, где тоже царит

очень приятная атмосфера 1870-х годов. Я прошелся по «Блэквеллу» и «Диллону», поглазел на Балиол и Крайстчерч, поболтался по Университетскому парку и лужайке Крайстчерча, побродил по Иерихону и вдоль солидных красивых особняков северного Оксфорда.

Возможно, я слишком суров к бедному Оксфорду. Я хочу сказать, что в общем это удивительный город, с его дымными пабами и книжными лавками и духом учености — только не сводите глаз с хороших мест и ни в коем случае не приближайтесь к Корнмаркет и Джорджиа-стрит. Особенно он мне понравился ночью, когда уличное движение замирает и можно жить без кислородной маски, а Хай-стрит наполняется фургонами, торгующими необъяснимо популярными донкер-кебабами, которые меня совершенно не привлекают (как можно брать в рот нечто, столь неприятно напоминающее вырезку из ляжки мертвеца?). Зато их окружает соблазнительное хопперовское сияние^[24].

И мне нравится темнота черных переулков, изгибающихся между высокими стенами, где так и ждешь, что тебя вскрыет и расчленит то ли Джек Потрошитель, то ли торговец донкер-кебабами. Мне нравится пройтись по Сент-Джайлс, чтобы окунуться в жизнерадостную деловитость ресторана «Браун» — дивного гостеприимного местечка, едва ли ни единственного в Британии, где можно получить отличный салат «Цезарь» и чизбургер с беконом, причем вам не приходится сидеть под ударами оглушительной музыки среди поддельных указателей «Шоссе 66». А больше всего мне нравится выпивать в пабах, где можно посидеть с книгой и не выглядеть нарушителем общественных приличий, затеряться среди смеющейся шумной молодежи и вспомнить времена, когда у вас тоже было много энергии, и не было брюшка, и секс не казался всего лишь оправданием для долгожданной возможности лечь в постель.

Вселяясь в отель, я самонадеянно заявил, что проведу в нем три ночи, а на утро третьего дня уже не находил себе места и потому решил пройтись до Саттон-Куртений, единственно по той причине, что там был похоронен Джордж Оруэлл и расстояние казалось как раз подходящим для прогулки. Я вышел из города через Уотер-Мидоу к Нортон-Хински и дальше двинулся к Боар-Хилл через забавную местность, которая никак не может решить, называться ей долиной Чилзвелл или Хэппи Вэлли (Счастливой). Ночью прошел дождь, и тяжелая глинистая почва липла к моим ботинкам, превращая очередной шаг в подвиг. Вскоре на каждой ноге собрался ком грязи с ботинок величиной. Чуть дальше тропинка была посыпана стружками. Задумано это было, чтобы облегчить ходьбу, но на деле стружки так липли к глине, что скоро стало казаться, будто я напялил на

ноги две большущие булочки с изюмом. На вершине Боар-Хилл я остановился, чтобы насладиться видом — тем самым, который заставил Мэтью Арнольда изречь вычурную бессмыслицу в стихах о «шпилях мечты» и который безжалостно изуродован строем электрических опор, каковыми Оксфорд изобилует более всех других известных мне городов — и чтобы палочкой отскрести глину с подошв. На Боар-Хилл стоят несколько недурных больших домов, но не уверен, что мне бы хотелось здесь жить. Я заметил три подъездные дорожки с табличками «Разворота нет». Вот скажите мне, каким же надо быть милашкой, какими собственническими чувствами проникнуться к своей травке, чтобы вывесить такую табличку? Кому повредит, если заблудившийся или проехавший нужное место бедолага развернет машину на краю вашего участка? Я всегда стараюсь разворачиваться именно на таких дорожках, даже если поворачивать мне ни к чему, и настоятельно советую всем последовать моему примеру. Неплохо еще погудеть разок-другой, чтобы владелец обязательно обратил на вас внимание. И еще, пока не забыл, советую разрывать в клочки доставленную по почте рекламу, особенно если она призывает вас еще глубже залезть в долги, и возвращать ее отправителю в конверте с оплатой на получателя. Этот жест произведет большой эффект, если его сделают тысячи человек.

До Эбингдона я добрался по аллее, ведущей от Саннингвелла. Лучшего муниципального участка, чем в Эбингдоне, я еще не видел — ухоженные просторные газоны, и чистенькие домики, и красивая ратуша, построенная на сваях, словно кто-то ожидает сорокадневного потопа, но больше мне в пользу Эбингдона сказать, в общем-то, нечего. Торговый квартал там весьма жалкий, а чтобы возвести его, как я потом узнал, снесли ряд средневековых домов. И окраины тоже с большой претензией на уродство.

Саттон-Куртений лежал заметно дальше, чем мне показалось по карте, но прогулка была приятной, и по дороге то и дело открывались виды на Темзу. Городок очаровательный, с тремя вполне приличными на вид пабами и большим военным мемориалом на зеленом лугу, за которым расположено кладбище, где покоится не только Джордж Оруэлл, но и Г. Г. Асквит. Назовите меня вечным айовским провинциалом, но я никогда не устану удивляться, как плотно набит знаменитостями этот маленький остров. Как поразительно найти на маленьком сельском кладбище могилы двух личностей глобального масштаба. Мы, айовцы, возгордились бы, залучив к себе хотя бы одного из них — да что там, мы бы гордились даже каким-нибудь Триггером Чудесным Конем или изобретателем дорожных знаков.

Нам бы хоть кого!

Я прошел на кладбище и отыскал могилу Оруэлла. На ней росли три растрепанных розовых куста и стояли искусственные цветы в стеклянном кувшине, а на простой плите была на удивление лаконичная надпись:

Здесь лежит Эрик Артур Блэр

Родился 25 июня 1903 года

Умер 21 января 1950 года

Не особенно чувствительно, да? Неподалеку нашлась могила Герберта Генри Асквита. На ней было этакое затейливое надгробие, угрожающе глубоко вросшее в землю. И здесь надпись была отчасти загадочной. Она гласила:

Граф Оксфорд и Асквит

Премьер-министр Англии апрель 1908 — декабрь 1916 г.

Родился 12 сентября 1852 года

Умер 15 февраля 1928 года

Ничего странного не заметили? Бьюсь об заклад, что заметили, если вы — шотландец или валлиец. Все это место представлялось мне странноватым. Я хочу сказать: вот могила знаменитого писателя, неприметная, как могила какого-нибудь нищего, и рядом другая — человека, чьи потомки, как видно, забыли, в какой именно стране он был премьер-министром, и к тому же ей грозит нешуточная опасность быть поглощенной землей. Рядом с Асквитом лежит некий Рубен Лаверидж, «заснувший 29 апреля 1950 года», а дальше — могила на двоих: «Сэмюел Льюис, 1881–1930» и «Алан Слэйтер, 1924–1993».

Что за удивительное селение — здесь мужчин кладут в одну могилу, а кое-кого погребают, стоит только ему вздремнуть!..

Если подумать, пожалуй мы, айовцы, готовы оставить Британию и Оруэлла, и Асквита — лучше отдайте нам этого похороненного заживо парня.

Глава тринадцатая

Я поступился принципами, на три дня наняв машину, — не было выхода. Мне хотелось посмотреть Котсуолд, а попасть туда, как не замедлило выясниться, можно только в собственном экипаже. Еще в 1933 году Дж. Б. Пристли в «Путешествии по Англии» отмечал, что даже в те золотые до-пляжные дни через Котсуолд шла всего одна железнодорожная линия. Теперь не осталось ни одной, если не считать ту, что неизвестно зачем проложена по краю местности.

Так что я взял напрокат машину в Оксфорде и пустился в путь с тем кружащим голову ощущением безграничных возможностей, которое всегда приносит мне владение двумя тоннами незнакомого металла. Мой опыт общения с арендованными автомобилями подсказывает, что они не позволят вам покинуть город, не попрощавшись сперва с каждой улицей. Мой устроил мне долгий объезд через Ботли и Хинкли, ностальгический тур мимо завода «Ровер» в Коули и через Блэкберд-Лэйс, потом дважды покругил по объездной дороге и наконец выбросил, как космонавта на орбиту, обратно в город. Я был бессилён что-либо изменить, потому что все мое внимание поглотили попытки отключить дворники на заднем стекле, которые сами решали, когда им работать, и еще приходилось вычислять, как удалить непрозрачное облако моющей жидкости, упрямо обрызгивавшей ветровое стекло, какие бы кнопки я ни нажимал.

Зато этот объезд предоставил мне случай осмотреть малоизвестное, но интригующее здание управления картофельного рынка в Коули. На его стоянке я разворачивался, когда понял, что безнадежно заблудился. Это здание — типичная постройка 1960-х годов: четыре высоких этажа, достаточно просторное, чтобы вместить, скажу навскидку, 400 или 500 служащих. Я вышел протереть стекло страничками инструкции, обнаружившейся в бардачке, и застыл, потрясенный величиим штаб-квартиры картофельного рынка. Масштаб воистину поражал. Ради бога, сколько надо народу, чтобы управиться с картофельным рынком? Здесь к месту были бы таблички на дверях «Лаборатория сорта Кинг-Эдвардс» и «Отдел нестандартных клубней», и люди в белых рубашках, сидящие за длинным столом и внимающие речи главного распорядителя, повествующего о плане осенней уборочной кампании. В какой странной замкнутой вселенной мы живем! Вообразите — посвятить всю жизнь съедобным клубням, страдать бессонницей от того, что кто-то другой

пробился на второе место в приготовлении хрустящего картофеля и разведении семенных сортов, или из-за того, что график продаж «Марис Пайпер» вошел в штопор. Вообразите, о чем они болтают на вечеринках с коктейлями! Подумать страшно.

Я вернулся в машину и потратил некоторое время на эксперименты с управлением. Ненавижу такие ситуации. Просто одни люди созданы для машин, а другие — нет. Я терпеть не могу водить автомобиль, терпеть не могу думать о машинах и разговоров о машинах. Особенно ненавижу я заходить в паб, купив новый автомобиль, ведь обязательно найдется кто-нибудь, кто станет допытываться, и я жду этого мига с ужасом, потому что сами вопросы мне непонятны.

— Так у вас новая машина? — начинает собеседник. — И как?

Вот, видите, я уже в растерянности.

— Да как все машины. Вы что, никогда не ездили на автомобиле?

И тут вас принимают донимать.

— Какой пробег? Какой литраж? А какой клиренс? Коробка — автомат или ручная? Карбюратор двухкамерный, с параллельным открытием заслонок?

Хоть убей, не пойму, кому нужно знать всю эту чушь? Ни в чем другом вы с таким интересом не столкнетесь. Мне всегда хочется спросить в ответ:

— Эй, а у вас ведь новый холодильник? И сколько галлонов фреона вмещает ваша крошка? Какой у него КПД? И как холодит?

На этом автомобиле имелся обычный набор кнопок и переключателей, снабженных значками, специально придуманными, чтобы морочить голову. В самом деле, что может обозначать перечеркнутый нолик в прямых скобках? Кто бы мог подумать, что прямоугольник, напоминающий телеэкран с неисправным изображением, обозначает обогрев заднего стекла? Посреди панели управления красовались два круглых циферблата одинакового размера. Один явно показывал скорость, а вот второй совершенно поставил меня в тупик. На нем имелись две стрелки: одна двигалась очень медленно, а вторая, кажется, совсем не шевелилась. Я целую вечность пялился на нее, пока меня не осенило — совершенно верно, это были часы.

Ко времени, когда я отыскал дорогу в Вудсток в 10 милях от Оксфорда, я был как выжатый лимон и с огромным удовольствием на несколько часов расстался с машиной. Должен сказать, Вудсток мне очень нравится. Говорят, летом там просто кошмар, но я всегда попадал в него после окончания сезона и отменно проводил время. Его георгианские здания солидны и по-монаршьи величественны, пабы многочисленны и уютны,

магазины интересны и разнообразны, и ни один не портит фасадов. Все до одной медяшки в этом городке так и сверкают. На почтамте висит старинная, черная с серебром табличка, куда более элегантная и стильная, чем нынешний желто-красный логотип, и даже банк «Барклай» устоял перед искушением облицевать фасад своего здания аквамариновым пластиком.

Хай-стрит полна была шныряющими «вольво» и твидовыми покупательницами с плетенками из пальмового волокна. Я пошлялся мимо магазинов, останавливаясь там и тут, чтобы заглянуть в окно, прошел мимо гордых георгианских домов и вдруг оказался у входа во дворец Бленхейм и парк. Под внушительной декоративной аркой стояла билетная будка, вывеска предупреждала, что вход для взрослых стоит 6.90, хотя при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что в цену билета включены экскурсия по дворцу, дом бабочек, миниатюрный поезд, игровая площадка приключений и все изобилие культурной программы. Еще ниже была приписка, что просто вход на территорию стоит 90 пенсов. Может, меня и легко одурачить, но никто не вытянет у меня 90 пенсов без веских оснований. Со мной был мой верный план картографического управления, и на нем значилось, что все открыто для публики, а потому я с наглой усмешкой вступил под арку, придерживая рукой бумажник, и сидевший в билетной будке мужчина благоразумно решил со мной не связываться.

Проходя за ворота, вы мгновенно оказываетесь в другом мире. Перемена ошеломляет. По ту сторону остался шумный город, а по эту вы вдруг погружаетесь в сельскую идиллию того сорта, что кажется незаконченной без фигур Гейнсборо в пейзаже. Передо мной простиралась 2000 акров заботливо продуманного ландшафта — коренастые каштаны и элегантные тополя, бильярдное сукно газонов, пейзажные озера, пересеченные внушительными мостами, и посреди всего — монументальное барокко дворца Бленхейм. Поистине замечательно,

Я двинулся через парк по изгибающейся дорожке, обегавшей дворец и набитую автостоянку для посетителей и тянущуюся по краю парка развлечений. Однажды я вернусь и загляну туда, но сейчас моей целью было пройти через парк к выходу на Бладон-роуд. Бладон — неприметное местечко, дрожащее под колесами проезжающих грузовиков, но в его центре церковное кладбище, где похоронен Уинстон Черчилль, Начинался дождь, а пройти пешком по шумной трассе надо было довольно далеко, так что я усомнился, стоит ли поход таких усилий, но, когда добрался туда, обрадовался, что дошел. Кладбище было красивым и уединенным, а могила Черчилля — такой скромной, что ее не сразу удалось отыскать среди

покосившихся надгробий. Я оказался единственным посетителем. Черчилль и Клемми^[25] делили простой и заброшенный на вид участок, и мне это показалось удивительно трогательным.

Для такого, как я, пришельца из страны, где даже самого незначительного и негодящего президента увековечивают, когда он откинет коньки, мемориальной библиотекой — даже Герберту Гуверу где-то в Айове досталось здание, напоминающее Всемирный торговый центр, — удивительно видеть, что величайший государственный деятель Британии двадцатого века отмечен лишь скромной статуей на Парламентской площади да этой простой могилой. Меня впечатляет столь демонстративная сдержанность.

Я той же дорогой вернулся к Бленхейму и покрутился по парку развлечений и другим открытым аттракционам. Парк развлечений — это, надо думать, сокращение от «развлечем и с удовольствием возьмем ваши денежки»; его основная цель, как видно, — помочь посетителям расстаться с крупными суммами в сувенирных лавках и чайных, а также при покупке садовых ворот, скамеек и прочих изделий местной столярной мастерской. Десятки гостей с довольным видом расхаживали вокруг, очевидно не смущаясь мыслью, что они заплатили 6 фунтов 90 пенсов за право увидеть то, на что можно полюбоваться в любом приличном городском парке. Покинув сад и направляясь к дворцу, я воспользовался возможностью изучить миниатюрный паровоз с вагонами. Он бегал по коротенькой рельсовой ветке в одном уголке парка. Пятьдесят англичан, скорчившихся в крошечных тележках под серым морозящим небом, чтобы проехать 200 ярдов, и уверенных, что они весело проводят время... это зрелище я забуду нескоро.

По мощеной дорожке я вышел к дворцу, перешел через великолепный мост работы Ванбру и оказался перед мощной, абсурдно амбициозной колонной первого герцога Мальборо, возведенной на холме над дворцом и озером. Воистину, это весьма достопримечательное сооружение, и не только потому, что колонна надменна и внушительна, но и потому, что на нее открывается вид по крайней мере из сотни дворцовых окон. Кем надо быть, задумался я, чтобы воздвигнуть памятник самому себе на собственной земле? Какой разительный контраст с простой могилой доброго старого Уинни!

Возможно, я несколько простодушен, но мне всегда казались до странного несоразмерными масштаб свершений Мальборо и размеры Бленхеймского дворца. Я могу вообразить, как в минуту буйного торжества благодарная нация вознаграждает герцога, скажем, двухнедельной

оплаченной путевкой на Канары и, возможно, набором столового серебра или чайным сервизом, но, хоть убей, не пойму, каким образом несколько мелких побед при таком захолустье, как Уденар и Мальплаке, преподнесли старому хрычу один из лучших дворцов Европы и герцогский титул. Еще более непостижимо для моего ума, что 300 лет спустя наследникам герцога позволяют замусоривать парк игрушечными поездами и качающимися замками, брать плату за вход и наслаждаться незаслуженными привилегиями только потому, что у их далекого предка имелся талант выигрывать сражения. Мне это представляется весьма эксцентричным.

Помнится, я где-то читал, как десятый герцог Мальборо, гостивший в доме своей дочери, озабоченно возвестил с верхней площадки лестницы, что зубная щетка у него не пенится как положено. Оказалось, что его лакей всегда выдавливал пасту на щетку, и потому герцог пребывал в неведении, что сие устройство не пенится само по себе. На этом я и закончу свою речь.

Пока я стоял, любуясь видом и размышляя над странностями наследственной аристократии, весьма ухоженная молодая женщина на гнедой кобыле проскакала мимо, чуть не сбив меня с ног. Понятия не имею, как ее звали, но выглядела она богато и аристократично. Я небрежно улыбнулся ей, как улыбаются обычно, столкнувшись на улице с незнакомцем, однако она смотрела сквозь меня и не снизошла до улыбки. Тогда я пристрелил ее. Потом вернулся к машине и уехал.

Я два дня провел на дорогах Котсуолда, и они мне совершенно не понравились — не то, чтобы был Котсуолд плох, а вот автомобиль — был. Вы заперты в самодвижущемся экипаже, и скорость у него совершенно неподходящая. Я успел привыкнуть к движению со скоростью пешехода, или во всяком случае поездов Британской железной дороги, которые движутся примерно с той же резвостью. Поэтому, пролетев мимо разнообразных Чиппингов, Слафтеров и Твинсов-на-Уотере, я с большим облегчением покинул машину на стоянке в Бродвее и перешел на пешее хождение.

Последний раз я видел Бродвей августовским вечером несколько лет назад, и тогда он выглядел кошмаром дорожных пробок и суматошной толкотни отдыхающих, но теперь, вне сезона, показался тихим и забытым, с просторной главной улицей. Городок этот — хорошенький почти до смешного. Крутые остроконечные крыши, окна с частыми переплетами, выступающие дымоходы и чистенькие маленькие садики. Что-то есть в золотистом котсуолдском камне, впитывающем солнечный свет и испускающем его обратно, так что даже в самые пасмурные дни деревеньки вроде Бродвея купаются в вечном сиянии. А день как раз

выдался солнечный и яркий, с привкусом осенней свежести в воздухе, и мир выглядел чистым, словно только что из прачечной. На полпути по Хай-стрит я наткнулся на указатель к Котсуолдскому шоссе и свернул на дорожку между старыми зданиями. Тропа привела меня через солнечные луга и пологие склоны к Бродвей-Тауэр — непомерно разросшемуся парковому украшению над деревней. Вид от нее на долину Ившема открывался невероятный — как всегда с подобных точек. Плавные волны полей сливались вдаль с дымкой лесистых холмов. В Британии по сей день больше пейзажей словно с иллюстраций из книги сказок, чем в любой другой известной мне стране — замечательное достижение для столь густонаселенного и индустриально развитого островка. И все же я не мог отделаться от мысли, что лет десять или, может быть, двадцать назад вид мог быть гораздо более буколическим.

Живя в окружении этой вечной красоты, словно вросшей корнями в землю, легко забыть, как просто ее потерять. Панорама, простиравшаяся передо мной, включала линию электропередач, разбросанные дома с участками и блеск стекол отдаленных оптовых складов. И, много хуже того, в заботливо вывязанной сетке живых изгородей виднелись разрывы и проломы, как на узорах праздничного пирога, попорченного жадными пальцами. Тут и там остатки разросшихся изгородей одиноко торчали посреди гладких безликих полей.

Известно ли вам, что с 1945 по 1985 год Англия лишилась 96 000 миль изгородей — можно было бы четыре раза опоясать Землю? В управлении сельским хозяйством царил такая бестолковщина, что в течение двадцати четырех лет фермер мог получать пособия на посадку изгороди и одновременно на выкорчевывание. С 1984 по 1990 год правительство уже не выделяло средств на снос изгородей, и все же было утрачено еще 53 000 миль. Вы часто слышите (и я тоже, участвуя в конференции по живым изгородям, — такими способами я зарабатываю своим детям на кроссовки «Рибок»), что изгороди в сущности — преходящая черта ландшафта, пережиток периода огораживаний и что попытки сохранить их препятствуют естественному развитию сельского хозяйства. Да что там, все чаще можно услышать, что сохранять что бы то ни было — бессмысленная суэта ретроградов и врагов прогресса. Сейчас передо мной лежит цитата из лорда Палумбо, доказывающего, что все наследие нации «несет груз ностальгии по несуществовавшему золотому веку, каковой, если бы он существовал, оказался бы гибелью прогресса». Душа болит от подобной тупости!

Даже не говоря о том, что логическим выводом из такого рода

рассуждений будет снос Стоунхенджа и лондонского Тауэра, не стоит забывать, что живые изгороди прожили уже долгие-долгие века. Я знаю одну, в Кембриджшире. Исключительная красивая изгородь, названная изгородью Юдифи, старше Солсберийского собора, старше Йоркского аббатства; во всей Британии найдется лишь горсточка зданий, превосходящих ее возрастом — но никакой закон или постановление не мешают ее снести. Если потребуется расширить дорогу или землевладелец решит, что предпочитает ограждения из колючей проволоки, то всего пара часов понадобится, чтобы сокрушить бульдозером 900 лет живой истории. Это безумие! По крайней мере половина изгородей в Британии появилась раньше периода огораживаний, а добрая пятая часть уходит еще в англосаксонские времена. Но главная причина их спасти — не та, что они целую вечность простояли на своем месте, а та, что они явно и недвусмысленно украшают ландшафт. Они — основа того, что делает Англию Англией. Без них она превратится в Индиану с колокольнями.

Иногда меня это просто бесит. У вас в стране самые красивые, радующие глаз, безупречные сельские пейзажи, какие знает мир, и полвека вы непоправимо их уродуете. Мы говорим не о «ностальгии по несуществовавшему золотому веку». Мы говорим о живом, зеленом и несравненно прекрасном. Так что если мне еще кто-нибудь скажет: «Живые изгороди, знаете ли, не древняя черта ландшафта», я, скорее всего, врежу ему по морде. Я большой поклонник знаменитой максимы Вольтера: «Сэр, я могу не соглашаться с вашим мнением, но буду насмерть сражаться за ваше право доказывать, что вы полный засранец», — однако всему должен быть предел!

Обратно я направился по лесистому проселку к Сноу-хиллу, в трех милях отсюда. Шуршали золотые листья, и небо было огромным, синим и пустым, не считая редких медлительных косяков перелетных птиц. Дивный день для загородной прогулки — в такие дни дышишь полной грудью и распевашь «Зиппити-ду-да!» голосом Поля Робсона. Сноухилл дремал в солнечном сиянии, на его зеленых боках кучками собирались каменные домики. Я купил входной билет в Сноухилл-манор, перешедший теперь в руки Национального треста, а с 1919 по 1956 год принадлежавший оригиналу по имени Чарльз Уэйд. Он посвятил жизнь собиранию огромной коллекции всего на свете; часть очень хороша, часть — просто старье: клавикорды, микроскопы, фламандские гобелены, табакерки и коробочки для нюхательного табака, карты и секстанты, оружие самураев, дешевые велосипеды — все, что в голову придет. Он набил свой дом так, что для него самого уже не осталось места. Последние годы он благополучно и

счастливого прожил во флигеле, который вместе с домом сохранили в том виде, в каком застала их смерть хозяина. Мне все это доставило огромное удовольствие, и когда солнце склонилось к западу, наполнив мир длинными тенями и запахом дымка, я вернулся к своей машине счастливым человеком.

Я провел ночь в Сиренчестере, а на следующий день, после приятной экскурсии по музею, где хранится выдающаяся, но незаслуженно неизвестная коллекция римских мозаик, монет и других изделий, поехал в Уинчком, чтобы осмотреть древности на месте. Видите ли, на холме над Уинчком ведутся малоизвестные раскопки, настолько исключительные и удивительные, что я даже колебался, упоминать ли о них. Большая часть относительно редких посетителей, вторгающихся в этот тихий уголок Котсуолда, обыкновенно удовлетворяется осмотром замка Садли и прогулкой к далекому пригорку — знаменитому кургану Белас-Нэп. Но я свернул прямо вверх по склону, на тропинку «Соляной путь», названную так потому, что в Средние века по ней доставляли соль. Это была очаровательная прогулка по открытой местности, а сверху открывался вид на резко прочерченные далекие долины, казалось, никогда не видевшие автомобиля и не слышавшие звука бензопилы.

От места под названием Коулс-Хилл тропа резко ныряла в основательно загустевший лес, темный и первобытный, почти непроходимый из-за бурелома. Я знал, что где-то здесь скрывается моя цель — участок, помеченный на карте как «римская вилла (развалины)». Наверное, около получаса я прорубался сквозь заросли, пользуясь тростью вместо мачете, и наконец наткнулся на фундамент древней стены. С виду ничего особенного — вроде остатков старого свиного загона, но несколькими шагами далее, полускрытые плющом, стояли остатки других стен, ряд за рядом по обе стороны тропы. На самой тропе под ковром влажных листьев лежали плитки мостовой, и я понял, что передо мной вилла. В одной из бывших комнат пол был заботливо укрыт черными пластиковыми мешками от удобрений, прижатыми по углам камнями. Сюда-то я и шел. Мне рассказал об этом месте один приятель, но я ему не особенно поверил. Ведь под этими черными мешками скрывалась практически целая римская мозаика — около пяти квадратных футов, тонкой работы и прекрасной сохранности, только чуть-чуть выщербленная по краям.

Не могу передать, сколь странное это чувство — стоять посреди глухого леса в доме, принадлежавшем в незапамятные времена римскому семейству, и смотреть на мозаику, выложенную по меньшей мере 1600 лет

назад, когда здесь был открытый солнцу луг, а древней чащи и в помине не было. Одно дело — видеть такое в музеях, и совсем другое — прийти туда, где они возникали. Понятия не имею, почему мозаику не разобрали и не перенесли в какой-нибудь музей. Думаю, это чей-то крупный недосмотр, но я так благодарен случаю, позволившему мне ее увидеть! Я долго просидел на камне, дивясь и восторгаясь. Не знаю, что больше захватило меня: мысль, что люди в тогах когда-то стояли на этом полу, болтая на местной латыни, или что пол остался невредимым и не потревоженным в этих диких зарослях.

Может, прозвучит ужасно глупо, но именно тут меня впервые осенила мысль, что все эти римские древности, на которые я из года в год глазел в музее, были созданы не для того, чтобы служить экспонатами. Узрев мозаику в первоначальном положении, не огороженную канатиком и не уложенную в современном зале, я отчетливо и явственно увидел в ней пол, а не просто декоративное изделие. Она была сделана, чтобы по ней ходили, она наверняка чувствовала на себе шаркающие подошвы римских сандалий. Мозаика заморозила меня надолго.

Очень нескоро я поднялся, аккуратно разложил мешки и снова прижал их камнями. Я поднял трость, оглядел свои труды, проверяя, все ли в порядке, и начал прорубаться обратно к тому странному и беспечному миру, что зовется двадцатым веком.

Глава четырнадцатая

Я отправился в Милтон Кейнс, решив, что должен повидать хоть один новый город. Добраться в Милтон Кейнс из Оксфорда — задача не из легких, что удивляет, потому что по карте эти города совсем рядом. Я выбрал Милтон Кейнс пунктом назначения, бегло ознакомившись с дорожной картой, и решил, что в худшем случае доеду на поезде до Бичестера или еще куда, а там сделаю пересадку. На деле мне пришлось возвращаться в Лондон, на метро ехать до вокзала Юстон и уже оттуда садиться в поезд на Милтон Кейнс — в общем, проделать в общей сложности 120 миль ради того, чтобы попасть в город в тридцати милях от Оксфорда.

Жалко было и денег, и времени, и я пришел в некоторое раздражение, в частности потому, что поезд с Юстона был набит битком и я оказался сидящим нос к носу с визгливой женщиной и ее десятилетним сынком, который постоянно болтал ногами, задевая мои колени, и выводил меня из себя тем, что, уставившись мне в лицо поросычьими глазками, ковырял в носу и поедал козьявки. Как видно, он считал собственный нос подручным хранилищем закуски. Я пытался отвлечься чтением, но помимо воли взгляд мой то и дело поднимался к его самодовольной рожице и деловитому пальцу. Было это совершенно отвратительно, и, когда поезд прибыл в Милтон Кейнс, я с удовольствием угодил ему по голове своим рюкзаком, стягивая тот с переполненной полки.

Я не возненавидел Милтон Кейнс с первого взгляда: большего, пожалуй, и пожелать нельзя, когда речь идет о подобных местах. Выходя с вокзала, вы попадаете на широкую открытую площадь, огороженную тремя рядами домов из зеркального стекла, и испытываете чувство простора, какого почти никогда не бывает в английских городах. Сам город стоит на склоне холма, и к нему тянется добрых полмили запутанных пешеходных переходов и стоянок, обсаженных той странной городской породой деревьев, которые, кажется, никогда не вырастают. У меня сложилось отчетливое ощущение, что при следующем визите я найду это травянистое пространство застроенным кирпичными конторскими зданиями с отливающими бронзой окнами.

Я немало побродил по новым городам, пытаюсь угадать, что творилось в головах у их создателей, однако в Милтон Кейнс еще не бывал. Во многих отношениях он превосходит виденные мной прежде новые города.

Подземные переходы отделаны полированным гранитом и почти лишены граффити и тех непрсыхающих мутных луж, которые, кажется, входят в проектный план Бэзингстока и Брэкнелла.

Сам городок являет странную амальгаму стилей. Лишенные травы тенистые полоски, проложенные посередине вдоль главных бульваров, придают ему легкий налет французского сада. Вписанные в ландшафт промышленные районы по окраинам напоминают о Германии. Сетчатая планировка и нумерованные улицы приводят на ум Америку. Здания же того безликого сорта, какие можно увидеть вокруг любого международного аэропорта. Короче, Милтон Кейнс выглядит каким угодно, только не английским. Самое удивительное, что здесь не было магазинов и людей. Я довольно далеко прошел по центральной части города: по одной улице туда, по другой — перейдя к ней по тенистому переулку — обратно. Все стоянки были полны машин, за вычурными окнами контор виднелись признаки жизни, а вот на улицах совсем не было движения, и на бесконечных просторах улиц я увидел не более одного или двух пешеходов. Я знал, что где-то в городе находится огромный торговый пассаж — я читал о нем в «Борьбе за место» Марка Лоуренса, — но хоть убей, не мог его найти, и спросить было не у кого. Самое обидное, что почти все здания на вид могли оказаться пассажами. Я высматривал в них обитателей подходящего вида и даже зашел в одно, только чтобы выяснить, что это страховая компания или еще что-то в том же роде.

В конечном счете я добрался до жилого района — нечто вроде бесконечного Бовисвилля из аккуратных домов желтого кирпича с вьющимися улочками и пешеходными дорожками, обсаженными нерастущей травой, — но и здесь было пусто. С вершины холма я высмотрел квадрат голубой крыши примерно в миле от себя и, решив, что это может оказаться пассаж, направился в ту сторону. Пешеходные дорожки, поначалу мне понравившиеся, теперь показали себя с худшей стороны. Они лениво виляли между подстриженными кустами и были весьма живописны, но явно не спешили довести куда бы то ни было. Их, очевидно, прокладывали люди, считавшие пешую ходьбу полезным упражнением. Они совершали изгибы, возможно, представлявшие осмысленными на бумаге, но явно не предусматривали того обстоятельства, что человек, решивший добраться от дома до магазина, предпочитает наиболее прямой путь. Дело ухудшалось тем, что я как будто заблудился в полуподземном мире, отрезанном от всех видимых ориентиров. Скоро я начал то и дело карабкаться на откосы, чтобы выяснить, где нахожусь, и каждый раз выяснял, что попал совсем не туда,

куда хотел.

Наконец, выглянув из очередного лабиринта, я увидел перед собой двухполосную проезжую часть, и за ней — низкое здание с голубой крышей, на поиски которого отправился час назад. Я уже различал вывески «Техас хоумкэр», «Макдональдса» и тому подобных заведений. Но, вернувшись на свою дорожку, я не сумел найти поворота в нужную сторону. Дорожка разветвлялась, пряталась за пригорками, и ни одна из развилок меня не манила. В конце концов я выбрал ту, которая поднималась на уровень улицы, чтобы увидеть хотя бы, где я, и по этой тропе прошел до железнодорожной станции, оказавшейся столь далекой от жилого района, что только полный идиот мог счесть Милтон Кейнс раем для пешеходов. Неудивительно, что за все утро я не встретил ни одного человека.

Я вернулся на станцию вымотанным сильнее, чем оправдывало пройденное расстояние, и с мечтами о чашечке кофе. Перед вокзалом висела карта города, которой я поначалу не заметил, и теперь я решил все-таки найти на ней пассаж. Оказалось, гуляя по центру города, я не дошел до него какой-нибудь сотни шагов. Я вздохнул. По непостижимым причинам я твердо решил увидеть пассаж. Спускаясь снова в пешеходный переход и возвращаясь к безжизненному острову конторских зданий, я размышлял, какую изумительную работу совершили планировщики, когда, стоя перед листом чистой бумаги, предполагавшим бесконечные возможности размещения образцового населенного пункта, решили расположить торговый центр в миле от станции.

Вы не поверите, но торговый центр спроектирован еще хуже, чем сам город. Не сомневаюсь, что он дает повод для веселья на каждом собрании дизайнеров торговых центров. Он абсолютно громаден — более миллиона квадратных футов, — и в нем имелись все лавочки, какие были и будут на свете. Зато освещен он тускло, решительно некрасив и тянулся на полмили вдоль двух безликих параллельных улиц. И если со злости я не проглядел — а я думаю, что нет, — там не было ни закусочных, ни центра, где можно собраться, ни мест для сидения, ни украшений, которые заставили бы вас хоть немного потеплеть душой к этому заведению. Мне почудилось, будто я попал на самую большую в мире автобусную остановку. Туалеты были редки и хорошо спрятаны и, как следствие, полны, словно на стадионе в перерыве футбольного матча. Я всегда считал центр «Метро» в Гэйтсхеде самым страшным кошмаром наяву, однако в сравнении с пассажем в Милтон Кейнс он полон бесконечного обаяния и радости.

Я взял чашку кофе в самом грязном «Макдональдсе», в какой когда-либо попадал, и, расчистив место среди скопившегося от предыдущих

едоков мусора, уселся со своим расписанием и маршрутным планом. В отчаянии я обнаружил, что должен выбирать между возвращением в Лондон или движением вперед через Регби, Ковентри и Бирмингем. Ни того, ни другого делать не хотелось. Мне уже казалось, будто с тех пор, как я оставил свою прокатную машину в Оксфорде и отправился на станцию с простодушным намерением прокатиться из Оксфорда в Кембридж, остановившись на обеденный перерыв в Милтон Кейнс, прошли не часы, а дни.

Время утекало сквозь пальцы. В какой-то далекой, полузабытой жизни я сидел за обеденным столиком в Йоркшире и прикидывал, как с удобствами объеду всю страну недель за шесть, ну, может, за семь. Причем я размечтался побывать практически всюду: на островах Канала, на Ланди, Шетландах, Фэйр-айленде и практически во всех городах. Я прочел «Путешествие по Британии» Джона Хиллаби — он прошел от Лэндз-энда до мыса Джон-о-Гроут за восемь недель. Разумеется, при современной транспортной системе я смогу осмотреть всю Великобританию недель за шесть или семь! И вот я здесь, потратил почти половину отведенного времени, а не добрался даже до центральных графств.

В таком мрачном настроении я собрал свои пожитки, прошел до станции и сел в лондонский поезд. Из Лондона, в сущности, приходилось начинать все заново. Я не мог решить, куда ехать, и потому прибег к своему излюбленному способу: пока поезд катил через голые поля Бэкингемшира, я развернул карту и с головой ушел в названия. Для меня это самая глубокая и увлекательная радость жизни в Британии.

Не знаю, замечают ли другие, насколько приятнее выпить пива в пабе, названном, скажем, «Орел и дитя» или «Ягненок и флаг», чем, к примеру, в баре «У Джо». Лично для меня это — неиссякаемый источник удовольствий. Я в восторге слушаю результаты футбольных матчей и звонкие названия команд: «Шеффилд уэнсдей», «Вест-Бромвич Альбион», «Патрик тистл», «Куин оф саут»... — и нахожу странное утешение в экзотической и мистической литании биржевых прогнозов. Я понятия не имею, что значит: «Викинг поднялся на пять, обеспечен на четыре; Доггер стоит крепко; за Минчес дают двенадцать, боже правый!» — но на меня все это оказывает мягкое снотворное действие. Я действительно думаю, что жизнь в Британии спокойна и безмятежна из-за успокаивающих сводок о футболе и биржевых новостей.

В Британии почти не найти области, не затронутой гением названий. Посадите меня с карандашом перед толстой пачкой чистой бумаги и предложите придумать самое очаровательно забавное имя для тюрьмы — я

и за всю жизнь не выдумаю ничего подобного Уормвуд Скрабс или Стрэнджуэйз. Даже в названиях обычных полевых цветов — звездчатка, подмаренник, голубая блошница, зверобой — кроется неотъемлемое очарование. Однако ни в чем, конечно, гений британцев не проявляется более, чем в названиях мест. В Британии около 30 000 названий, и добрая половина, на мой взгляд, заслуживает внимания. Бесчисленные деревушки с названиями, вызывающими в памяти праздные летние вечера и порхающих над лугом бабочек: Уинтерберн Аббас, Уэстон Лаллингфилд, Теддлторп Олл Сэйнтс, Литтл Миссенден. В иных названиях мерещатся древние и, возможно, мрачные тайны: Хазбендз Босуорт, Райм Интринсека, Уайтледиз Астон. Есть деревни, названия которых звучат как чистящее средство для туалетов (Потто, Санахол, Дарно) или как названия кожных заболеваний (Скэбклойч, Уитерэшез, Скерледж, Сокберн). В любом кратком указателе названий вы найдете удобрения: Хастигроу, деодорант для ног «Поуфут», освежитель дыхания «Минто», корм для собак «Уэлпо» и даже шотландский пятновыводитель «Сутиуэллс». Вам попадутся селения сомнительной репутации: Ситинг («забияка»), Мокбеггар («побирушка»), Рангл («свара») и другие, хвастающие странными феноменами: Митхоп («мясной прыжок»), Вигтвизл («вертлявый парик»), Блаб-берхаузес («болтливые дома»). Нет числа деревням с умилительно дурацкими названиями: Приттлевел, Литтл-Ролрайт, Чью-Магна, Титси, Вудсток-Слоп, Лики Энд, Страглторп, Яндер Богни, Незер Уоллоп и неподражаемый Торнтон-ле-Бинс — Торнтон-на-бобах (похороните меня там!). Стоит только бросить взгляд на карту или погрузиться в список названий, чтобы убедиться, что вы в стране бесконечных возможностей.

Отдельные части страны, кажется, специализируются на особых темах. Кент питает особое пристрастие к продуктам питания: Хэм (ветчина), Сэндвич. Дорсет увлекается персонажами из романов Барбары Картленд: Брэдфорд Певерелл, Комтон Валенс, Лэнгтон Херринг, Вуттон Фитцпейн. Линкольншир хочет вас уверить, будто малость не в себе: Тимблби Лэнгтон (Шумный Лэнгтон), Тамби Вудсайд (Неуклюжий Вудсайд), Снарфорд (Брод-ловушка), Фиштофт Грув (Рыбья роща), Сотс Холл (Пьяный двор) и воистину изумительный Спитолл-ин-зе-стрит (Плюйте-все-на-улице). Замечено, что часто такие названия собираются кучно. В одном небольшом районе к югу от Кембриджа, например, вы найдете Бло Нортон (Выпивоха Нортон), Рикингхолл Инфериор, Хеллионс Бампстед (Хеллион простак), Агли (Уродец) и (мой фаворит) Шеллоу Боулс (Мелкие кишки). Я уже решил было съездить туда, понюхать, чем пахнет в Шеллоу Боулс, и выяснить, отчего Нортон стал Выпивохой и над кем

возвысился Рикингем, но вдруг взгляд мой на карте зацепила черточка под названием Девилс Дайк (Чертов вал). Я никогда о нем не слышал, но звучало многообещающе. Я мгновенно принял решение: еду туда.

Вот как вышло, что на следующее утро я бродил на задворках кембриджской деревушки Рич, разыскивая начало вала. День выдался гнусный. Туман стоял, как в парилке, и видимости, считай, никакой. Вал вырос передо мной внезапно, угрожающе выдвинулся из серой мглы, и я взобрался к нему на гребень. Это странная и угрюмая возвышенность, особенно в густом тумане и в неподходящее время года. Построенный в темнейший из темных веков, около 1300 лет назад, Чертов вал — земляная насыпь, поднимающаяся на 60 футов над окружающей местностью. Он тянется на семь с половиной миль от Рича до Диттон-Грин. Почему его назвали Чертовым, увы, никто не знает. Название это впервые появляется в шестнадцатом столетии. Вал поднимается над болотистой равниной, выглядит неприступным и осязаемо древним и в то же время монументально бессмысленным. Чтобы его возвести, пришлось приложить уйму трудов, но не нужно быть военным гением, чтобы догадаться, что любая наступающая армия его попросту обойдет — все так и делали, и очень скоро единственным назначением Чертова вала стало показывать жителям этих плоских равнин, что такое высота 60 футов. А все же прогулка по травянистому гребню приятна и легка, и в то пасмурное утро вал принадлежал мне одному. Только пройдя полдороги, я увидел других людей. Они выгуливали собак на широком лугу Ньюмаркетской пустоши и выглядели призраками сквозь неземной туман. Вал проходит прямо посреди ньюмаркетского бегового круга, и я был очень доволен, хотя ни зги не видел в этом процветающем лошадином царстве. Понемногу туман стал редеть, и между островами деревьев я разглядел торжественный ряд племенных ферм с паддоками, огороженными белыми заборами, большими жилыми домами в окружении нарядных конюшен, с куполами и флюгерами, превращавшими их в забавное подобие современных «Асда» или «Теско». Как ни приятно было шагать вразвалочку по ровной протоптанной тропинке, я заскучал. За два часа прогулки я еще никого не встретил, и тут вдруг вал резко оборвался, и я очутился посреди поля за Диттон-Грин с беспокойным чувством незавершенности. Было только начало третьего, я нисколько не чувствовал себя усталым. Я знал, что железнодорожной станции в Диттоне нет, но понадеялся, что доеду на автобусе до Кембриджа, и в самом деле на автобусной остановке выяснилось, что такое возможно — нужно только подождать два дня. Поэтому я по шумной проезжей дороге протащился четыре мили до

Ньюмаркета, осмотрел его от нечего делать и сел в поезд на Кембридж.

Одно из существенных удовольствий долгих походов по стране, особенно не в сезон — это мысль, что в конце концов непременно найдешь номер в удобной гостинице, выпьешь перед пылающим камином и сытно пообедаешь с аппетитом, разгоревшимся от целого дня ходьбы на свежем воздухе. Но в Кембридж я вернулся свежим и отдохнувшим и не заслуживал ни отдыха, ни пищи. Хуже того, рассчитывая на серьезный поход и позднее возвращение, я заказал номер в университетском гербовом отеле, рассчитывая, что там найдется и горящий камин, и сытный ужин, и нечто в духе офицерской кают-компания. Однако, к моему безмолвному отчаянию, отель оказался современным заведением с непомерно высокими ценами, а номер мой прискорбно не соответствовал описанию путеводителя.

Я угрюмо бродил по городу. Вообще-то, я знаю, что Кембридж — прекрасный городок и названия в нем любопытные — что может сравниться, например, с Крайстиз Писез (Христовыми дольками?), — но в тот день я не мог заставить себя взглянуть на него по-доброму. Центральный рынок был невзрачным и грязным, вокруг торчали унылые бетонные коробки, а к вечеру все затянуло гадкой моросью. Кончилось тем, что я отправился шарить в букинистических магазинах. Ничего особенного я не искал, но в одном мне попала иллюстрированная история универмага «Селфридж», и я жадно схватил ее с полки, надеясь узнать, как случилось, что замок Хайклиф пришел в упадок, или, еще лучше, отыскать в ней местные анекдоты о самом Селфридже и любвеобильных сестричках.

Увы, эта версия истории оказалась вычищенной до блеска. Сестрички в ней бегло упоминались всего один раз и в таком тоне, будто Селфридж отечески покровительствовал этим невинным барышням. Об уклонении Селфриджа с пути добродетели на стезю порока практически не рассказывалось, а о замке Хайклиф не было ни слова. Так что я поставил книжку на место и, усвоив, что все, за что бы я ни взялся в этот день, приведет лишь к разочарованию, пошел и выпил пинту пива в пустом пабе, посредственно пообедал в индийском ресторане, прогулялся в одиночестве под дождем, потом вернулся в номер, убедился, что по телевизору смотреть нечего, и спохватился, что забыл в Ньюмаркете свою трость.

Я забрался в постель с книгой — обнаружил, что лампочка над кроватью отсутствует (не перегорела, а отсутствует как таковая) — и провел остаток вечера в протрации на кровати, тупо пялясь на очередную серию «Кэгни и Лэйси», отчасти в надежде понять, что же в этом древнем сериале так привлекает цензоров Би-би-си 1 (единственный возможный

ответ — грудь Шарон Глесс), а отчасти ради гарантированного снотворного эффекта. Я заснул в очках, а проснулся среди ночи, когда на экране телевизора металась шумная вьюга. Я встал, чтобы выключить аппарат, споткнулся о какой-то неподатливый предмет и исполнил интересный номер: вырубил телевизор головой. Исследуя, каким образом мне это удалось, на случай, если как-нибудь вздумаю развлечь этим фокусом гостей, я обнаружил, что подвернувшийся мне под ноги предмет — моя трость, вовсе не забытая в Ньюмаркете, а закатившаяся между кроватью и ножкой стула.

— Ну, хоть что-то хорошее, — решил я и, почтив свои ноздри парой марлевых моржовых клыков, чтобы остановить хлынувшую из них кровь, устало улегся в постель.

Глава пятнадцатая

Я отправился в Ретфорд. Объяснить этого я не сумею. Совершая утреннее омовение, бережно удаляя марлю из распухших ноздрей, завтракая и выписываясь из отеля, и даже на долгом пути к вокзалу я питал серьезное и торжественное намерение отправиться в Норидж, а оттуда — в Линкольн. Но по неизвестной причине, едва я вошел на вокзал и увидел на стене схему железных дорог, меня охватило неудержимое, необъяснимое желание чего-нибудь новенького, и Ретфорд подвернулся сам собой.

В последние семь лет я проезжал Ретфорд каждый раз, как ездил поездом от Лидса до Лондона. Это одна из больших станций на линии восточного побережья, но я ни разу не замечал, чтобы кто-то на ней входил или выходил. На моей дорожной карте Ретфорд обозначен крупным шрифтом, наравне с Ливерпулем, Лестером, Ноттингемом, Глазго и прочими крупными населенными пунктами Британии, однако я о нем ровно ничего не знал. Честно говоря, кажется, я и не слышал этого названия, пока не увидел его из поезда на пустынной станционной платформе. Более того, я не знаком ни с кем, кто бывал в Ретфорде или что-то о нем знает. В моей «Книге британских городов и селений» найдется очаровательное и доброжелательное описание любого населенного пункта, какой придет в голову — Кирримуира, Нэтсфорда, Престонапанса, Суодлингкота, Бридж-оф-Аллана, Данса, Форфара, Уигтона, — только о Ретфорде справочник хранит суровое и таинственное молчание. Несомненно, пришло время узнать, что это за место.

Итак, я сел в поезд на Питерборо, а там пересел в другой, на север по главной линии. Я не слишком хорошо выспался — меня преследовал сон, в котором фигурировали Кэгни и Лэйси, а также открытие, что я с 1975 года не заполнял налоговой декларации США (меня грозились отдать в руки тому парню, который снимает с себя рубашку, чтобы открыть кредит, так что сами понимаете, в каком состоянии была к утру моя постель), — и я надеялся на тихую сонную поездку, какую всегда обещают Британские железные дороги, из тех, где туфли превращаются в домашние шлепанцы, а песенки Леона Редбона нагоняют на вас сон.

Вот почему я пришел в отчаяние, обнаружив, что место позади меня занимает Человек с Телефоном. Не правда ли, эти субъекты кого угодно выведут из терпения? Этот был особенно несносен, потому что говорил громко и самодовольно, сыпал дурацкими шуточками, и непонятно было,

зачем он вообще звонит.

— Привет, это Клайв. Я еду на 10:07 и буду в штабе к 13:00, как собирался. Приготовьтесь сразу ввести меня в курс насчет сценария «Пентланд Сквайр». Что-что? Нет, из «Марис Пепперс» меня вышибли. Слушай, ты не знаешь, зачем кому-то нанимать полную жопу вроде меня? Что почему? Потому что я счастлив, как свинья в луже грязи, оттого, что обзавелся мобильником. Да? Интересная концепция. — Затем несколько секунд тишины, и снова: — Привет, милая. Я на 10:07. Буду дома к пяти. Да, как всегда. Да, предупреждать-то незачем, просто у меня есть мобильник и я полный козел. Я еще из Донкастера позвоню, Просто так. — И снова: — Это Клайв. Да, я все еще на 10:07, но мы немножко опаздываем, так что я, может быть, прибуду не к 13:00, как обещал, а в 13:02. Если позвонит Фил, передай ему, пожалуйста, что я все тот же козел. Будь... — И так все утро.

Я с некоторым облегчением выскочил из поезда в Ретфорде — единственный из множества пассажиров, и это знаменательное событие заставило всех станционных служащих высунуться в окна. Под липким дождливым туманом я вышел в город. С радостью сообщаю, что Ретфорд — превосходный и очаровательный городок, даже под тяжелыми серыми тучами, под которыми многие более знаменитые города показались бы скучными и усталыми. Центром его служит большая и красивая рыночная площадь, окруженная живописной толпой георгианских зданий. Перед главной церковью стоит черная пушка с табличкой: «Захвачена в Севастополе в 1865 году». Мне это показалось примечательным местным начинанием — как-никак, не каждый день видишь ноттингемширский рыночный городишко, штурмующий крымские редуты и доставляющий домой трофеи. Магазины выглядели процветающими и чистыми. Не сказал бы, что мне захотелось провести здесь отпуск, но я был рад, что наконец увидел Ретфорд и нашел его чистым и приятным.

Я выпил чашку чая в маленькой лавочке и сел на автобус до Уорксоба — местечка столь же маленького и тихого (и, кстати сказать, отмеченного в «Книге городов»). По-видимому, Ретфорд и Уорксоб соперничали за право разместить у себя муниципальное правление Бассетло, и уорксобцы явно проиграли, потому что контора оказалась у них. Как и следовало ожидать, здание неприглядно и не вписывается в обстановку, но в остальном городок по-своему хорош.

Я приехал в Уорксоб не потому, что так уж мечтал его повидать, а потому, что рядом с ним расположено место, куда я давно рвался: Уэлбек-Эбби, один из великолепнейших домов в любопытной местности,

известной как Герцогства. Пять исторических герцогств — Ньюкасл, Портленд, Кингстон, Лидс и Норфолк — собраны в пределах 20 миль друг от друга в этом глухом уголке Северного Мидланда. Правда, Лидсы и Портленды ныне вымерли, а остальные, как я понял, едва теплятся. (Нынешний герцог Ньюкасл, согласно книге «Их светлости» Саймона Уинчестера, живет в скромном домике в Хэмпшире; надеюсь, это будет ему уроком, как глупо устраивать в своих владениях качающиеся замки и игрушечные паровозики!)

Уэлбек — древнее жилище рода Портлендов, хотя с 1954 года они здесь не проживают по причине столь же неразумной расточительности в отношении игровых площадок и домашних зверинцев. Пятый герцог Портленд, некий У. Дж. Ч. Скотт-Бентинк (1800–1879), долго был моим героем. Старик У. Дж. Ч., как я предпочитаю его называть, стал одним из величайших в истории отшельников и предпринял множество усилий, чтобы избежать любых контактов с людьми. Он поселился в уголке своего просторного жилища и общался со слугами посредством записок, которые передавались через специальный почтовый ящик на двери его комнаты. Пищу подавали в столовую на миниатюрном вагончике по проложенным из кухни рельсам. В случае нечаянных столкновений он замирал как вкопанный, и слугам предписывалось обходить его, как мебель. Нарушителей этого предписания принуждали до изнеможения кататься на коньках на частном катке герцога. В замок и на участок допускались туристы. «При условии, — заявлял герцог, — что вы будете так любезны не осматривать меня».

Можно только гадать о причинах, по которым герцог потратил свое значительное наследство на постройку второго, подземного дворца. В разгар строительства там трудились более 15 000 человек, а законченный дворец включал, среди многого другого, библиотеку длиной почти 250 футов и самый большой в Англии бальный зал, способный вместить до 2000 гостей, — довольно странно для нелюдима, никогда гостей не принимавшего. Сеть туннелей и тайных ходов связывала комнаты и тянулась на значительное расстояние от замка. У. Дж. Ч., по словам одного из историков, «будто предвидел атомную войну». Когда необходимость вынуждала герцога выехать в Лондон, он запирался в конной карете, проезжал в ней полторы мили по тоннелю, выходящему к станции Уорксоп, и грузился на особую платформу для поездки в столицу. С платформы его, все в той же запечатанной карете, доставляли в лондонскую резиденцию Харкур-хаус.

После смерти герцога наследники обнаружили, что все надземные

помещения лишены обстановки, и только в одной комнатке посередине здания красовался комод. В главном зале почему-то был снят пол. Большая часть комнат была выкрашена розовой краской. Та комнатка наверху, где проживал герцог, была до потолка забита сотнями зеленых коробок, и в каждой лежал один темно-каштановый парик. Одним словом, с этим человеком стоило познакомиться.

А потому я в довольно приподнятом настроении высадился в Уорксопе на краю парка Кламбер, рядом со зданием Национального треста, и отыскал тропу, которая, как я надеялся, вела в Уэлбек-Эбби, расположенный в трех или четырех милях оттуда. Дорога по грязной тропинке через лес показалась мне долгой. Если верить указателям, я шагал по «Пути Робин Гуда», но окрестности мало походили на Шервудский лес. По сторонам тянулись бесконечные посадки хвойных деревьев, явно искусственного происхождения, и казались они противоестественно тихими и безжизненными. В подобной обстановке так и ждешь, что споткнешься о небрежно присыпанный листьями труп, а это страшно пугает, ведь полиция стала бы меня допрашивать и немедленно записала бы в главные подозреваемые по моей жалкой неспособности отвечать на вопросы вроде: «Где вы были в 4 часа дня в среду третьего октября?» Я так и вижу себя сидящим в комнате для допросов и бормочущим: «Постойте, кажется, в Оксфорде, а может, на Дорсетской прибрежной тропе? Господи, откуда мне-то знать?» И не успеешь оглянуться, как меня засунут в местечко вроде Паркхерста и, на мое несчастье, снимут Майкла Говарда с поста министра внутренних дел, так что я лишусь возможности попросту откинуть крючок и выпустить себя на свободу.

Дело принимало странный оборот. В вершинах деревьев поднялся необыкновенный ветер, он склонял и раскачивал ветви, но у земли было тихо и оттого жутковато, а потом я вошел в каменную расщелину, по стенам которой, как лозы, вились древесные корни. Между корнями стены были сплошь покрыты старательно выведенными надписями: именами, датами и порой — переплетенными сердечками. Даты шли с удивительно широким разбросом: 1861, 1962, 1947, 1990. Воистину странное место. То ли излюбленное укрытие местных и заезжих любовников, то ли одна пара долгие годы приходила сюда с редчайшим постоянством.

Чуть дальше я вышел к одинокому надвратному строению с заросшей мхом крышей. Дальше лежало сжатое поле, а за ним виднелась сквозь завесу деревьев большая угловатая крыша из позеленевшей меди — Уэлбек-Эбби, если надежда меня не обманывала. Я прошел по тропинке вдоль края поля, очень широкого и грязного. Не меньше сорока пяти минут

ушло на то, чтобы выбраться на мощеную дорожку, зато теперь я был уверен, что иду верным путем. Дорожка миновала узкое, заросшее камышом озерцо — единственный водоем на несколько миль в округе, если верить моей карте. Примерно через милю дорожка уперлась в довольно величественный вход с табличкой «Входа нет — Частная собственность» — без дальнейших указаний, что расположено за ней.

Я постоял минуту в судорогах колебаний (кстати, это имя я приму, если меня когда-нибудь возведут в рыцарское достоинство: Лорд Судорог Колебаний) и решил пройти немножко дальше — только чтобы одним глазком взглянуть на дом, к которому я тащился в такую даль. Участок был тщательно и безукоризненно вычищен, но деревья росли густо, так что я прошел еще немножко. Через несколько сотен ярдов деревья чуть поредели и открылась лужайка с чем-то вроде полосы препятствий: сети для лазания и бревна на козлах. Что же это такое? Еще чуть дальше, у озера, — странная бетонная площадка вроде стоянки для машин посреди бездорожья; я издал тихое радостное восклицание, догадавшись, что вижу знаменитый герцогский каток. Теперь я уже зашел так далеко, что можно было забыть о скромности. Я зашагал вперед и вышел на площадку перед домом. Огромный, но на удивление безликий, он был окружен множеством нелепых новых пристроек. Поодаль виднелась площадка для крикета с причудливым павильоном. Кругом никого, но на стоянке несколько машин. Явно какое-то учреждение — например, учебный центр IBM. Но к чему такая анонимность? Я уже готов был подобраться к окну и заглянуть внутрь, когда дверь отворилась и ко мне с суровым видом направился мужчина в форменной одежде. Вблизи я разглядел на его куртке надпись «Министерство обороны». Ого!

— Здравствуйте, — изрек я с широкой дурацкой улыбкой.

— Известно ли вам, сэр, что вы вторглись на участок, принадлежащий министерству обороны?

Я помешкал, разрываясь между желанием разыграть сценку «Парень из Айовы» — «Как, разве это не дворец Хэмптон-Корт? А я-то заплатил таксисту 175 фунтов!» — и откровенностью. Я выбрал чистосердечное признание. Тихо и почтительно я поведал, как давно очарован пятым герцогом Портлендским и как годами мечтал повидать его дом и не устоял перед искушением, забравшись в такую даль. Решение оказалось самым правильным, потому что охранник, очевидно, тоже был неравнодушен к старику У. Дж. Ч. Он выпроводил меня на край участка и поворчал немного, но явно был доволен, что кто-то еще разделяет его увлечение. Он

подтвердил, что бетонная площадка — действительно каток, и показал, где проходят туннели — как видно, повсюду. По его словам, они еще крепко держались, хотя ими давно не пользовались, разве что занимали под склады. Зато подземные помещения и бальный зал используются по назначению или как спортзал. Военное ведомство недавно потратило миллион фунтов на новую отделку балльного зала,

— А что здесь вообще такое? — спросил я.

— Учебный центр, сэр, — только и ответил он.

Так или иначе, мы вышли к границе участка. Он смотрел мне вслед, чтобы убедиться, что я ухожу. С дальней стороны широкого поля я обернулся на поднимающуюся над деревьями крышу Уэлбек-Эбби. Мне приятно было услышать, что министерство обороны следит за туннелями и подземельями, а все же ужасно жаль, что поместье закрыто для публики. Не каждый день британская аристократия порождает личностей такого масштаба придурковатости, как У. Дж. Ч. Скотт-Бентинк, хотя, по чести, надо признать, что и другие не без успеха тянутся за ним.

Мусоля эту мысль, я развернулся и пустился в долгий обратный путь.

Глава шестнадцатая

Я провел в Линкольне приятный вечер, странствуя по древним крутым улочкам до и после ужина, восхищаясь приземистой темной мощью собора и двумя готическими башенками и с нетерпением ожидая утра, чтобы полюбоваться на него при свете. Я люблю Линкольн — отчасти за то, что он хорош и неплохо сохранился, но больше — за его удаленность. Г. В. Мортон в «Поисках Англии» сравнивает его с горой Сен-Мишель на суше, возвышающейся над огромным морем линкольнширских равнин, и он совершенно прав. Если взглянуть на карту, Линкольн совсем рядом с Ноттингемом и Шеффилдом, но кажется далеким от всего и совершенно забытым. Мне это очень по душе.

Как раз во время моей поездки в «Индепендент» появилось сообщение о затяжном диспуте между деканом Линкольнского собора и его казначеем. Как видно, шесть лет назад казначей вместе с женой, дочерью и другом семьи вывез хранившуюся в соборе копию Великой хартии вольностей в Австралию для шестимесячной выставки с целью сбора средств. Если верить «Индепендент», австралийские посетители выставки за полгода пожертвовали всего 938 фунтов: либо австралийцы — большие скупердяи, либо милый добрый «Индепендент» не слишком строго придерживается фактов. Так или иначе, выставка бесспорно оказалась разорительной. Она обошлась в 500 000 фунтов — довольно солидная сумма, надо сказать, на четырех человек — и кусок пергамента. Большую часть расходов великодушно покрыло правительство Австралии, и все же собор потерял 56 000 фунтов. Скандал начался, когда декан изложил эту историю в прессе, вызвав возмущение капитула собора: епископ Линкольнский провел следствие и приказал капитулу смириться, капитул смириться отказался, и все основательно перессорились. Ссора затянулась на шесть лет.

Так что на следующее утро, вступая под прекрасные гулкие своды собора, я лелеял надежду, что увижу летающие в воздухе сборники гимнов и неприличное, но захватывающее зрелище дерущихся в трансепте клириков, но был разочарован царившим там покоем. С другой стороны, замечательно, что толпы туристов так мало беспокоят столь грандиозное церковное учреждение. Если вспомнить орды, стекающиеся в Солсбери, Йорк, Кентерберри, Бат и другие прославленные соборные города Англии, относительная безвестность Линкольна представляется чудом. Едва ли есть другое строение равного архитектурного величия, менее известное

посторонним — разве что Дарем.

Весь неф был заставлен рядами металлических стульев с мягкими сиденьями. Этого я никогда не мог понять. Почему бы не поставить в этих соборах деревянные скамьи для молящихся? Сколько я повидал в Англии соборов, и во всех — те же шаткие ряды складных стульев. Зачем? Или стулья убирают на время местных танцулек? Как бы то ни было, стулья выглядят дешевой и не сочетаются с окружающим великолепием устремленных ввысь сводов, витражей и готического кружева отделки. Иной раз просто сердце разрывается оттого, что уродился в век, когда все переводят на деньги. Впрочем, должен сказать, что вторжение современности помогает оценить искусство средневековых каменщиков, стекольщиков и резчиков по дереву и их безупречное владение материалом.

Я охотно остался бы там подольше, но меня ожидало неотложное свидание. К полудню я должен был попасть в Брэдфорд, чтобы увидеть самое волнующее, на мой взгляд, зрелище в мире. Видите ли, в первую субботу каждого месяца «Пикчервилл Синема», филиал большого и популярного музея фотографии, фильмов и чего-то еще, показывает оригинальную, неурезанную версию «Это Синерама»! Нигде в мире теперь не увидишь больше этого дивного шедевра зари кинематографа, а нынче была как раз первая суббота месяца.

Рассказать не могу, как я ждал этого дня. Я всю дорогу трепетал в страхе не попасть на донкастерский поезд, потом боялся опоздать на пересадку в Лидсе, но в конечном счете попал в Брэдфорд с большим запасом времени — почти за три часа до начала. За всю поездку я впервые увидел такой заброшенный городок. Нигде мне не попадались такие пустые магазины, с мутными или залепленными рваными афишами поп-концертов витринами — причем концерты должны были состояться в более оживленных местах, вроде Хаддерсфилда или Падсли, — и нигде задания не были так увешаны ленточками с надписью «Сдается». По меньшей мере каждый третий магазин в центре города не работал, а остальные, очевидно, тоже дышали на ладан. Вскоре после моего приезда объявил о своем закрытии главный городской универмаг «Рэкхем». Если здесь и теплилась жизнь, она шла за закрытыми дверями в безликом современном бараке под названием «Центр Арндейл» (и с чего бы, между прочим, все торговые центры шестидесятых годов называются «Арндейл»?). Но большая часть Брэдфорда явственно и непоправимо клонилась к упадку.

Когда-то здесь было одно из величайших собраний викторианской архитектуры, но теперь вы едва ли об этом догадаетесь. Замечательные здания сносили десятками, чтобы расширить улицы или построить

прямоугольное конторское здание с крашеными фанерными вставками под каждым окном. Благонамеренные, но неразумные планировщики мало что оставили от города. На улицах с плотным движением появились пешеходные переходы, которые приходится преодолевать в два приема: первый — чтобы попасть на островок посередине и там дожидаться, пока вам и другим прохожим дадут четыре секунды для спринта на другую сторону. Самое простое дело становится утомительным, особенно если вам нужно перейти перекресток наискосок. Тогда смены сигнала светофора приходится дожидаться четыре раза, после чего вы оказываетесь в тридцати ярдах от исходного пункта. Хуже того, на всяких трассах с гордыми названиями Холлинг (Дворцовая) или Принсез (Княжеская) несчастных пешеходов загоняют в угрюмые и бесцветные подземелья с круговыми туннелями, открытыми небу, но вечно сумрачными, да притом с такой неудачной сточной системой, что один человек, как мне рассказывали, утонул там во время сильного ливня.

Вам уже привычно мое брюзжание по поводу безумств градостроителей, однако же как-то раз в руки мне попала книга из библиотеки Скиптона, озаглавленная «Брэдфорд — очертания завтрашнего дня» или что-то в этом роде. Издана книга в конце пятидесятых или в начале шестидесятых, и в ней полно черно-белых архитектурных набросков сияющих пешеходных зон, изобилующих довольными жизнью и уверенными в себе фигурками из палочек, и конторских зданий, точь-в-точь как те, что сейчас нависали надо мной; и я вдруг с поразительной ясностью понял, чего здесь пытались достичь. Я хочу сказать, люди искренне верили, что строят новый мир — Британию, в которой мрачные закопченные здания и узкие улочки прошлого исчезнут, сменившись солнечными площадями, светлыми офисами, библиотеками, школами и больницами, связанными между собой яркими и светлыми подземными переходами, где пешеходам не будет угрожать уличное движение. Все выглядело чистенько, ярко и весело. Были даже нарисованы женщины с тележками для покупок, остановившиеся поболтать в кругу открытого перехода. А вместо того мы получили город пустых и облезлых конторских зданий, ужасающие дороги, сточные канавы вместо тротуаров и экономический упадок. Возможно, упадка все равно было не избежать, но нам хотя бы остались разрушающиеся старые дома вместо разрушающихся новостроек.

Теперь городские власти в порыве столь же смешном, сколь и трогательном стремятся выжать все возможное из скудных остатков старины. В небольшом квартале узких улочек на склоне, достаточно удаленном от городского центра, чтобы туда не добрались бульдозеры, еще

стоят три дюжины больших и солидных складских зданий, построенных в основном между 1860 и 1874 годами в неоклассическом стиле; они больше походят на банки, чем на хранилища шерсти. Весь этот район называется Маленькой Германией. Когда-то в городе было множество подобных районов — весь центр Брэдфорда до пятидесятых годов состоял в основном из складов, ткацких фабрик, банков и контор, порожденных исключительно торговлей шерстью. Но потом — бог весть, почему — весь этот бизнес лопнул. Думаю, обычная история: излишняя уверенность в себе, недостаток инвестиций, затем паника и спад. Так или иначе, ткацкие фабрики закрылись, окна контор погасли, шумный некогда шерстяной рынок канул в лету, и никто теперь не догадается, что Брэдфорд знал времена величия.

Из всех процветавших прежде шерстодельных районов города — Бермондси, Чипсайд, Манор-роу, Санбридж-роуд — выжили лишь несколько темных зданий Маленькой Германии, и вся эта многообещающая округа, как видно, лишилась будущего. Когда я был в городе, две трети зданий были закрыты лесами, а на остальных висели объявления «Сдается». Отремонтированные дома выглядели нарядными и хорошо отделанными, но им предстояло разделить блестящую пустоту других реставрируемых зданий.

Как было бы хорошо, раздумывал я, реши правительство эвакуировать Милтон Кейнс и перевести все его страховые компании вкупе с прочими фирмами в какой-нибудь Брэдфорд, чтобы вернуть жизнь настоящим городам. Тогда Милтон Кейнс мог бы стать тем, чем является сейчас Маленькая Германия — пустым районом, по которому можно гулять и которым хочется любоваться. Но конечно же, этому не бывать. Очевидно, правительство никогда не издаст подобного распоряжения, и даже сила свободного рынка его не сподвигнет, потому что компаниям нужны большие современные здания с просторными стоянками, а жить в Брэдфорде никто не захочет, и кого можно в том винить? И даже если каким-то чудом найдут съемщиков для этого удивительного пережитка старины, он останется всего лишь крошечным анклавом в сердце умирающего города.

Однако и Брэдфорд не лишен очарования. Театр «Альгамбра», построенный в 1914 году в пышном мавританском стиле с минаретами и башенками, недавно искусно и щедро отреставрирован и остается самым удивительным местом (за исключением, может быть, «Хэгни Эмпайр»), где можно посмотреть пантомиму. (Кстати, я положительно без ума от пантомимы. Через несколько недель я вернусь, чтобы посмотреть

«Аладдина». Было ли смешно? Я намочил свое кресло.) Музей фильмов, фотографии, стереокино и чего-то еще (не упомяну точного названия) внес желанную искорку жизни в уголок города, которому прежде по части развлечений приходилось довольствоваться самым жалким в мире крытым катком. Есть там и несколько хороших пабов. В один из них — «Герб Мэнвилла» — я зашел, чтобы выпить пинту пива и съесть порцию рагу под соусом чили. «Мэнвилл» славен в Брэдфорде как место, где сиживал когда-то Йоркширский Потрошитель, а должен бы славиться своим чили, поистине выдающимся.

Потом, чтобы убить оставшийся час, я прошелся к музею телевидения, фотографии и т. д. Он привел меня в восхищение, отчасти потому, что вход бесплатный, а главное — потому, что весьма благоразумно размещать подобные заведения в провинции. Я посмотрел несколько галерей и подивился на толпы народа, готового расстаться с крупной суммой, чтобы посмотреть двухчасовое панорамное шоу. Я видывал эти панорамные фильмы и не нахожу в них ничего привлекательного. Признаю, экран велик и качество воспроизведения поразительно, зато фильмы всегда так неправдоподобно скучны своими торжественными тяжеловесными комментариями о достижениях человечества в одном и судьбоносной необходимости совершить другое — как раз шоу, на которое ломилась толпа, называлась «Судьба космоса», — а ведь каждому дураку ясно, что всем на самом деле хочется покататься на «русских горках» и испытать маленькое, выворачивающее желудок наизнанку бомбометание с пикирующего бомбардировщика.

Заправила корпорации «Синерама» сорок лет назад понимали это как нельзя лучше и сделали центром рекламной кампании головокружительное катание на «русских горках». В первый и последний раз я видел «Это Синерама» в 1956 году, когда мы всей семьей ездили в Чикаго. Фильм шел в открытом прокате с 1952 года, но его крутили снова и снова, потому что в больших городах он пользовался популярностью, а в провинции вроде Айовы посмотреть его было невозможно. Правда, уже когда я его смотрел, зрительский зал заполняли в основном селяне с соломинками в зубах. Воспоминания у меня остались самые смутные — летом 1956 года мне исполнилось четыре, — но восторженные, и теперь я с нетерпением ждал новой встречи.

В нетерпении я поспешил покинуть музей всего на свете, связанного с целлулоидом, и стоял перед дверью «Пикчервилл Синема», расположенного напротив, за полчаса до начала. Пятнадцать минут я

торчал под ледяными каплями, дожидаясь, пока начнут пускать внутрь. Я купил билет, потребовав место посреди зала (с широким проходом впереди, чтобы было куда блевать), и занял свое место. Зал был изумительный, с плюшевыми сиденьями и большими изогнутым экраном, затянутым бархатным занавесом. Несколько минут казалось, что мне предстоит смотреть фильм в одиночестве, но понемногу народ стал прибывать, и к началу сеанса свободных мест почти не осталось.

Ровно в два в зале погас свет, занавес приоткрылся футов на пятнадцать — на малую долю полной ширины, — и приоткрывшийся кусочек экрана наполнился титрами и вводным текстом Лоуэлла Томаса (этого Дэвида Аттенборо пятидесятых годов, внешне больше напоминавшего Джорджа Оруэлла), сидящего в явно поддельном кабинете, наполненном сувенирами путешественника, которые должны подготовить нас к тому, что нам предстояло увидеть. Теперь прошу вас представить исторический контекст. «Синерама» была отчаянной попыткой кинематографа противостоять наступлению телевидения, которое в 1950-х годах грозило полностью вытеснить Голливуд. Так что эта вступительная часть, снятая в черно-белом изображении и показанная на квадратике в форме телеэкрана, явно намекала, какого сорта картины показывают нынче людям. После краткого, но не лишённого интереса обзора истории киноискусства Томас попросил нас усесться поудобнее и насладиться величайшим зрелищем, какое доселе видел мир. Затем он исчез, из всех колонок полилась оркестровая музыка, занавес пошел в стороны, открывая необъятный изгиб экрана, и мир вдруг стал цветным, и мы помчались по «русским горкам» на Лонг-Айленде. Как же это было здорово!

Я парил в небесах. Эффект присутствия оказался много лучше, чем можно было ожидать при такой простой и древней проекционной аппаратуре. Словно в самом деле катаешься на «русских горках», только с одной несравнимой разницей — это были «русские горки» 1951 года, взлетающие высоко над парком, полным старых «студебеккеров» и «де сото», над толпой в брюках клеш и мешковатых рубашках. Не кино, а путешествие во времени.

Я вправду так думаю. Волшебство трех измерений, стереофонический звук и искрящаяся четкость изображения словно по волшебству перенесли нас на сорок лет назад. Для меня это было особенным чудом, ведь в 1951 году, когда снимался фильм, я еще лежал, свернувшись в животе матери и набирал вес со скоростью, которой после рождения достиг только на тридцать шестом году жизни, да и то пришлось для этого бросить курить. Я видел мир, в котором собирался родиться, — и каким же он был радостным

и полным надежд!

Думаю, это были самые счастливые три часа в моей жизни. Мы прошли по всему миру, ведь «Это Синерама» — не кинокартина в обычном смысле слова, а фильм-путешествие с замыслом показать все чудеса мира. Мы скользили в гондолах по Венеции, любовались набережной, полной людей в цветных широких рубашках и брюках клеш, слушали венский хор мальчиков перед дворцом Шенбрунн, видели смену караула в Эдинбургском замке, послушали длинный отрывок из «Аиды» в «Ла Скала» (это было скучновато) и закончили долгим авиаперелетом через всю Америку. Мы промчались над Ниагарским водопадом — я побывал там прошлым летом, но как же не похожа картинка на забитый туристами кошмар с лесами обзорных вышек и международными отелями! Этот Ниагарский водопад предстал на фоне деревьев, низких зданий и свободных автостоянок. Мы побывали в Сайпресс-Гарденс и Калифорнии, пролетели низко над колыхающимися нивами центральных штатов и с волнением приземлились в аэропорту города Канзас. Мы летели, чуть не задевая вершины Скалистых гор, нырнули в бездну Большого каньона, пролетели грозными изломанными ущельями национального парка Зион, и наш самолет круто ложился на крыло, огибая опасные выступы утесов, а Лоуэлл Томас объявлял, что подобного кинотрюка никто еще не выполнял, — и все под хлынувшее из стереофонических колонок «Боже, храни Америку» в исполнении мормонского хора, начавшееся с приглушенной мелодии и взвившееся до крещендо, во все горло призывавшее «здать трепку фрицам». Слезы восторга и гордости стояли у меня в глазах, и я с трудом сдерживался, чтобы не вскочить ногами на сиденье и не крикнуть: «Леди и джентльмены, это моя страна!»

А потом все закончилось, и мы, шаркая, выходили в бесцветные мокрые сумерки Брэдфорда — можете мне поверить, это было потрясение для организма. Я встал перед бронзовым памятником Дж. Б. Пристли (развевающиеся фалды придавали ему странный вид, будто он усиленно пускал газы), глазел на безликий запустелый город и думал: «Да, я готов отправиться домой».

— Но сперва, — продолжил я свою мысль вслух, — попробую еще разок карри.

Глава семнадцатая

В списке славных достоинств Брэдфорда я забыл упомянуть заведения, где подают карри, и это — ужасное упущение. Возможно, Брэдфорд лишился шерстодельных предприятий, зато обзавелся сотнями отличных индийских ресторанов — обмен, на мой взгляд, выгодный, потому что мои потребности в кипах шерсти весьма ограничены, зато индийских блюд я способен проглотить, сколько дадут.

Старейший из брэдфордских ресторанов карри — как мне сказали, лучший и самый дешевый из них — наверняка «Кашмир», на той же улице, что «Альгамбра», только чуть дальше. Наверху настоящий ресторан с белыми скатертями, сверкающим столовым серебром и картинными услужливыми официантами, но aficionados^[26] спускаются в подвальчик, где вы сидите бок о бок с незнакомцами за длинным столом, покрытым пластиком.

Здесь так ценят аромат подлинности, что не утруждают себя подачей ложек. Вы просто подхватываете еду куском лепешки и жирными пальцами. За три фунта я купил себе целый пир, сытный, вкусный и такой горячий, что внутри все зашипало.

После, раздувшийся и довольный, с животом, бурлящим, как колба в фильме о сумасшедшем ученом, я вышел в брэдфордский вечер и задумался, куда себя девать. Было всего шесть часов субботы, но город словно вымер.

Я с острым беспокойством ощутил, что мой дом и милая семья ждут за ближней грядой холмов. Не знаю, почему я вбил себе в голову, что было бы жульничеством заехать домой, не закончив путешествия, но тут подумал: «Провались оно все. Я замерз и одинок и не собираюсь ночевать в отеле всего за 20 миль от собственного дома». И я отправился на вокзал Фостерсквер, сел в пустой лязгающий поезд до Скиптона, потом взял такси до маленькой деревушки в долине, где я живу, и попросил водителя высадить меня на дороге, чтобы пешком подойти к дому.

Как хорошо подходить в темноте к уютному дому с гостеприимно светящимися окошками и знать, что он твой, и в нем — твоя семья. Я прошел по дорожке, заглянул в кухонное окно и увидел всех за кухонным столом. Они играли в «монополию», благослови, Боже, их маленькие радости! Я целую вечность глядел на них, купаясь в сиянии любви и восхищения и чувствуя себя Джимми Стюартом из «Этой удивительной

жизни», которому приходится шпионить за самим собой. А потом я вошел. Ну, писать о таких вещах, не впадая в лирические излияния Айзека Уолтона, я не способен, так что предпочту отвлечь ваше внимание от согревающей сердце сцены воссоединения на йоркширской кухне и расскажу истинную, но не имеющую отношения к делу историю.

В начале 1980-х годов я, чтобы подзаработать, в свободное время много писал для разных изданий, особенно для журналов авиакомпаний. Мне пришло в голову написать очерк о достопримечательных совпадениях, и я послал проект в одно из тех изданий, где моей идеей всерьез заинтересовались и обещали в случае публикации заплатить 550 фунтов — сумма, которая мне бы очень пригодилась. Но когда пришло время сочинять статью, я понял, что, прочитав множество научных исследований о вероятности совпадений, не могу припомнить достаточно примеров, чтобы оживить статью и набрать 1500 слов. Поэтому я написал в журнал письмо с предупреждением, что не смогу выполнить заказ, и оставил его на пишущей машинке, чтобы отправить на следующий день. Потом я оделся поприличнее и поехал на службу в «Таймс».

В те дни Филип Говард, добрейший литературный редактор (я бы, конечно, в любом случае должен был так о нем отозваться ввиду занимаемой им должности, но он и вправду стоящий парень), завел обычай пару раз в год проводить для сотрудников распродажу книг: сигнальные экземпляры настолько заполняли его кабинет, что он не мог разыскать собственный стол. Эти распродажи всегда вызывали ажиотаж, потому что порой удавалось получить целую пачку книг практически даром. Он запрашивал что-то около 25 центов за книгу в твердом переплете и 19 пенсов за бумажные обложки, а прибыль передавал в «Фонд циррозозов» или еще в какую-то благотворительную организацию, близкую сердцу журналиста. В тот самый день, прибыв на службу, я увидел объявление о распродаже, начинавшейся ровно в четыре. Было без пяти четыре, и я, сбросив пальто на свой стол, рванул к кабинету Филипа. Там уже полно было разного люда. Я замешался в толпу; и что же за книгу первой выхватил мой взгляд? Это был томик в бумажной обложке под названием «Замечательные совпадения»! Ну не замечательное ли это совпадение? И вот что подозрительно: открыв книжку, я обнаружил, что она не только приводит весь нужный мне материал, так еще и первое описанное совпадение случилось с человеком по имени Брайсон!

Я много лет рассказывал эту историю в пабах, и каждый раз мои собеседники, дослушав до конца, некоторое время задумчиво кивали, а потом, обернувшись к соседу, начинали:

— Знаете, мне вспомнился еще один способ попасть в Барнсли, минуя М62. Вам знаком поворот к «Счастливому едоку» в Гвизли? Так вот, на втором повороте оттуда...

Одним словом, я провел дома три дня, окунулся в хаос семейной жизни и был счастлив, как щенок, — буянил с малышами, предавался несдержанным изъяснениям любви, слонялся за женой из комнаты в комнату, свил гнездышко на куче газет в углу кухни. Я вычистил свой рюкзак, разобрал почту, по-хозяйски обошел садик и блаженствовал, просыпаясь каждое утро в собственной постели.

Однако я не мог смириться с перспективой скорого отъезда и, чтобы оттянуть время, решил совершить пару однодневных походов. Вот почему на третье утро я прихватил своего доброго друга и соседа, добродушного талантливое художника Дэвида Кука и отправился с ним бродить по его родным местам, Солтеру и Бингли. Ужасно приятно было для разнообразия обзавестись спутником и очень интересно посмотреть на эти глухие уголки Йоркшира глазами человека, который здесь вырос.

Я никогда до тех пор толком не бывал в Солтере, и какой же роскошный сюрприз меня ждал! Солтер, на случай, если вы не знаете, — образцовый фабричный городок, построенный Титусом Солтом между 1851 и 1876 годами. Не так легко решить, что сказать о старом Титусе. С одной стороны, он принадлежал к малопривлекательной породе трезвых, расчетливых, самоуверенных, богобоязненных промышленников, на которых, кажется, специализировался девятнадцатый век; он хотел не просто нанимать рабочих, но владеть ими. Рабочие его фабрики должны были Жить в его домах, молиться в его церкви и до последней буквы разделять его взгляды. Он не допускал в своем поселке пабов, а местный парк задушил суровыми предписаниями, воспрепятствующими шум, курение, игры и другие непристойные действия. Рабочим дозволялось кататься на лодках по реке — но только почему-то требовали, чтобы на воде одновременно было не больше четырех лодок. Короче, волей-неволей приходилось быть трезвыми, трудолюбивыми и смирными.

С другой стороны, Солт проявлял на редкость передовые взгляды в области социального обеспечения, и его работники, несомненно, вели более опрятную, здоровую и удобную жизнь, чем промышленные рабочие того времени в любой другой точке мира.

Солтер, пускай его ныне поглотили распространившиеся пригороды Лидса и Брэдфорда, построен был в чистой, открытой сельской местности — большое отличие от нездоровых трущоб центрального Брэдфорда, где в пятидесятых годах девятнадцатого века борделей было больше, чем

церквей, а закрытой канализации — ни единого ярда. Из бесцветных грязных домишек, стоявших стена к стене, рабочие Солта переезжали в просторные светлые домики, каждый со своим двориком, газоснабжением и по меньшей мере двумя спальнями. Должно быть, им чудилось, будто они попали в Эдем.

На отлогом участке над рекой Эйр с видом на Лидско-Ливерпульский канал Солт возвел тяжеловесное фабричное здание, известное как Дворец индустрии, — в его время это была самая большая из европейских фабрик, она занимала 9 акров и щеголяла башенками в итальянском стиле, скопированными с церкви Сайта Мария Глориозо в Венеции. Кроме того, он разбил парк, выстроил церковь, «институт отдыха, бесед и просвещения», больницу, школу и 850 аккуратных нарядных каменных коттеджей вдоль мощеных улиц, носивших имена жены Солта и одиннадцати его детей. Возможно, наиболее примечательным из этих учреждений был институт. Созданный в надежде отвратить рабочих от опасностей алкоголя, институт имел гимнастический зал, лабораторию, бильярдную, библиотеку, читальню, лекционный и концертный залы. Никогда еще работники ручного труда не получали более щедрой возможности для самоусовершенствования, и многие из них с энтузиазмом за нее ухватились. Некий Джеймс Уоддингтон из невежественного чесальщика шерсти стал мировым авторитетом в лингвистике и светочем «Фонетического общества Великобритании и Ирландии».

По сей день Солтер выглядит на удивление цельным, хотя фабрика давно уже ничего не производит, а дома перешли в частную собственность. Один этаж фабрики отдан удивительной — и бесплатной — постоянной выставке работ Дэвида Хокни, а остальное пространство занято торговыми павильонами, выставляющими на продажу поразительное разнообразие оригинальных тканей, стильной и роскошной домашней утвари, книг и художественных открыток. Просто чудо — обнаружить такое место, рай молодого профессионала, в забытом углу Брэдфорда. Тем не менее он по всем признакам процветает.

Мы с Дэвидом неспешно осмотрели галерею (я никогда не уделял много внимания Хокни, но вот что я вам скажу: этот парень умеет рисовать!), потом побродили по улицам между прежними рабочими коттеджами, чистенькими и любовно ухоженными, а потом через парк Робертс направились к Шипли-Глен, глубокой лесистой долине, выводящей на широкий простор общинных земель, где обычно можно встретить людей, выгуливающих своих собак. На вид долина совсем дикая и нетронутая человеком, а на самом деле сто лет назад здесь располагался

чрезвычайно успешный парк аттракционов — первый в мире.

Среди множества аттракционов было катание на летучей гондоле, «большая медведица» и нечто, названное в афишах «Величайшей, широчайшей, наикрутейшей катальной горкой для тобогганов из всех, возведенных на Земле». Я видел картинки: дамы с зонтиками, усатые мужчины в жестких воротничках; и выглядит все действительно довольно волнующе, особенно тобогганы, скатывающиеся, пожалуй, на четверть мили с крутого и опасного склона. В 1900 году, когда сани, полные катающихся, на канате втягивали наверх для нового спуска, канат оборвался, и пассажиры грудой кончили свое волнительное путешествие под склоном, а с ними пришел конец и парку аттракционов Шипли-Глен. Сегодня от этих оригинальных забав остался только потрепанный трамвай, катающийся вверх-вниз по склону, очень скромно и неторопливо, как катался в 1895 году, зато в высокой траве мы отыскивали старый след прежней катальной горки и слегка разволновались от этой находки.

Вся эта местность хранит археологические свидетельства не столь уж далекого прошлого. Примерно милей дальше по заросшей дорожке стоял Милнер-Филд, разукрашенный каменный дворец, выстроенный Титусом Солтом Младшим в 1870 году, когда фамильное состояние представлялось неисчерпаемым и вечным. В 1893 году текстильное производство поразил внезапный крах, Солты не смогли оплатить издержек и потеряли контроль над фирмой. Потрясенные и униженные, они распродали дом, фабрику и все, с ними связанное. Затем последовала цепь странных и зловещих событий. Все без исключения владельцы Милнер-Филда, сменявшие друг друга, попадали в необъяснимые и грозные катастрофы. Один, играя в гольф, ударил себя клюшкой по ноге и погиб от гангрены. Другой, придя домой, застал юную невесту в непристойных объятиях своего подчиненного. Он застрелил подчиненного — а может быть, и обоих, отчеты расходятся, — но, так или иначе, устроил в спальне страшный беспорядок и был отправлен на растяжение шеи.

Очень скоро дом приобрел нехорошую репутацию. Люди ненадолго вселялись в него и внезапно выезжали — с пепельными от страха лицами и страшными ранами. В 1930 году, когда дом в последний раз выставлялся на продажу, покупателя не нашлось. Двадцать лет он простоял пустым, и наконец, в 1950 году его снесли. Теперь участок зарос бурьяном и можно пройти мимо, даже не догадавшись, что здесь некогда стоял один из красивейших дворцов севера страны. Но, пошарив в высокой траве, как это сделали мы, вы найдете пол старой музыкальной комнаты, выложенный узором из черной и белой плитки. Он странно напоминает римскую

мозаику, виденную мною в Уинчкоме и производит не меньшее впечатление.

Странно подумать, что сто лет назад Титус Солт Младший мог стоять на этом самом месте в роскошном доме, глядя на величественную ткацкую фабрику в долине Эйра, громяющую и наполняющую воздух серыми дымами, и на раскинувшийся за ней город — богатейший центр торговли; а теперь ничего не осталось. Что, хотел бы я знать, подумал бы старик Титус Старший, если бы его воскресили и показали растраченное фамильное состояние и шумную фабрику, наполнившуюся модной хромированной посудой и ковриками с рисунком голых пловцов с блестящими ягодицами?

Мы долго стояли на одинокой вершине. Отсюда, сверху, долина Эйра видна на целые мили, вместе с многолюдными городками и домиками, прилепившимися к крутым склонам на блеклых высотах, и я, как частенько бывает со мной, когда я поднимаюсь на такой холм, задумался, чем занимаются люди из всех этих домов. Когда-то по течению Эйра десятками стояли ткацкие и прядильные фабрики — Только в Бингли их было больше дюжины, — а теперь они исчезли, все до единой, уступили место супермаркетам, превратились в музейные центры, многоквартирные дома или торговые комплексы. Фабрика Френча, последнее уцелевшее в Бингли текстильное предприятие, закрылось год или два назад и стоит теперь с выбитыми стеклами.

Когда я поселился на севере, для меня оказалось сюрпризом, насколько это похоже на переезд в другую страну.

Отчасти такое чувство возникает от пейзажа и атмосферы — высокие открытые пустоши, огромное небо, изгибы стен из дикого камня, закопченные фабричные городки, каменные деревушки в лощинах Озерного края, — а отчасти, конечно, дело в выговоре, в других словах, в освежающей, хотя и ошеломляющей порой прямоте речи. И еще в том, что южане и северяне поразительно, просто отчаянно невежественны в географии другой части страны. Я, помнится, удивлялся, работая в Лондоне, как часто в ответ на вопрос: «А в котором Йоркшире Галифакс?», люди недоуменно хмурятся. Зато, переехав на север, я часто видел точно такое же недоумение, когда рассказывал, что жил раньше в Суррее под Виндзором. Собеседники беспокойно хмурились, словно опасались, как бы я не велел: «А ну-ка, покажите на карте, где это!»

Но основное отличие севера от юга — конечно, исключительная атмосфера экономического упадка, минувшего величия, когда вы проезжаете Престон или Блэкберн или стоите вот на таком холме. Если провести ломаную линию от Бристоля к Уошу, она разделит страну на две

половины, и на каждой стороне окажется около двадцати семи миллионов населения. В 1980–1985 годах южная половина потеряла 103 600 рабочих мест. На севере за то же время без работы остались 1 032 000 человек, почти в десять раз больше. А фабрики продолжают закрываться. Посмотрите в любой вечер по телевизору местные новости, и едва ли не половина будет посвящена закрытию производств (а вторая половина расскажет о кошке, застрявшей на дереве, — воистину нет ничего ужаснее местных теленовостей). И я повторяю вопрос: чем занимаются жители всех этих домов — и главное, что будут делать их дети?

Мы вышли напрямик к другой дорожке, ведущей в Эдвик мимо большого вычурного дома с аркой, и Дэвид горестно вздохнул.

— Здесь когда-то жил мой друг, — пояснил он.

Теперь дом разваливался, двери и окна замуровали кирпичом — грустные останки красивого здания. Старый сад за стеной запустел и заглох.

Дэвид показал мне дом через дорогу, в котором вырос Фред Хойл. В своей автобиографии («С минуты на минуту начнется похолодание, вот увидите») Хойл вспоминает, как смотрел на лакеев в белых перчатках, входивших и выходящих из ворот Милнер-Филда, но хранит таинственное молчание относительно скандалов и трагедий, совершавшихся за высокими стенами дворца. Я заплатил за его биографию 3 фунта букинисту в надежде, что каждая глава окажется наполнена рассказами о выстрелах и криках в ночи. Представьте себе мое разочарование.

Чуть дальше мы миновали три больших многоквартирных дома, принадлежащих муниципалитету, — не только уродливых и стоящих на отшибе, но еще и поставленных так неудачно, что, хотя их построили на склоне холма, жильцы лишились возможности наслаждаться видами. По словам Дэвида, эти строения получили много наград за архитектурное решение.

Мы неторопливо приближались к Бингли, огибая пологий склон, а Дэвид рассказывал мне о своем детстве. Он жил здесь в сороковых и пятидесятых годах. Его рассказ рисовал заманчивую картину счастливого времени, проведенного за походами в кино (по средам в «Ипподром», по пятницам в «Миртл»), с поеданием чипсов с рыбой из газетных кулчков под Дика Бартона и «Топ форм» по радио, — волшебный потерянный мир, где полдня свободны, почту разносят утром и вечером, люди ездят на велосипедах и стоит вечное лето. Бингли в его описании представал надежным блестящим стержнем в центре гордой и могущественной

империи с многолюдными фабриками, оживленными городками, полными кинотеатров, чайных, интересных магазинов, — разительно непохожим на запустелый, заброшенный и разоренный населенный пункт, в который мы вошли. «Миртл» и «Ипподром» много лет как закрылись. Здание «Ипподрома» перешло к «Вулворту», но и тот давно пропал. Сегодня в Бингли нет ни кинотеатра, ни других мест, куда можно было бы пойти. В центре возвышается и подавляет окрестности здание Строительного общества Брэдфорда и Бингли — не такое уж ужасное по нынешним временам, но совершенно не по росту окружающему городку. На пару с поистине жалким кирпичным торговым центром шестидесятых годов эти строения безвозвратно лишили центр Бингли собственного лица. Поэтому для меня оказалось приятным сюрпризом, что окраины остались восхитительными.

Мы прошли мимо школы и поля для гольфа и оказались у Бекфут-Фарм, симпатичной каменной постройки в лощине над бурливым ручьем. Главная улица Брэдфорда проходила всего в нескольких сотнях ярдов отсюда, но здесь царил другой, до-машинный век. Вдоль речки тянулась тенистая тропинка, особенно манящая под нежарким солнцем. В фабричные времена здесь перетапливали жир, сказал Дэвид, и вода тогда ужасно воняла, была мерзкого ржавого цвета с пенистой пленкой. Теперь речушка искрилась здоровой зеленью и все казалось нетронутым ни временем, ни промышленностью. Старую фабрику выскребли и выпотрошили и устроили в ней стильные квартиры. Мы дошли до места под названием Шлюз Пяти Ступеней, где канал Лидс-Ливерпуль поднимается на сто футов, и поглазели на разбитые стекла за колючей проволокой, ограждающей фабрику Френча. Потом, решив, что повидали все, чем может похвастать Бингли, зашли в веселенький паб «Белая кляча» и вволю напились пива, о котором оба мечтали с самого начала.

На следующий день я поехал с женой в Харроугейт по магазинам. Вернее, она ходила по магазинам, а я осматривал Харроугейт. На мой взгляд, мужчинам и женщинам не следует вместе заниматься покупками, потому что мужчинам хочется обзавестись чем-нибудь пошумнее, вроде дрели, и немедленно отправляться с ней домой, чтобы вволю наиграться, между тем как женщина не успокоится, пока не обойдет все или почти все магазины города и не перещупает по меньшей мере полторы тысячи разных предметов. Интересно, это я один не понимаю, зачем женщинам непременно надо щупать товар в магазине? Сколько раз я видел, как жена на 20–30 ярдов отклонялась от курса, чтобы что-то пощупать: мохеровый джемпер, или бархатистую накидку на кровать, или что еще.

— Тебе нравится? — удивлялся я, поскольку видел, что вещь не в ее вкусе, а она смотрела на меня как на сумасшедшего.

— Да ты что? — отвечала она. — Мерзость.

— Тогда зачем, ради всего святого, — всегда хотелось спросить мне, — ты проделала такой долгий путь, чтобы ее пощупать?

Но, разумеется, как всякий опытный муж, я давно научился помалкивать во время похода за покупками. Что бы вы ни сказали: «Я проголодался», «Скучно», «У меня ноги устали», «Да, и это тебе тоже к лицу», «Ну, давай тогда возьмем обе», «Ох, бога ради!», «Не пойти ли нам домой?», «Опять в «Муссон»? О, боже!», «Где я был? Это ты где была?», «И зачем было так далеко ходить, чтоб ее пощупать?», — ничего хорошего из этого не выйдет, так что лучше уж помолчать.

В тот день миссис Б. была в настроении купить туфли — а значит, какому-то бедолаге в дешевом костюме предстояло часами таскать ей коробку за коробкой с более или менее одинаковой обувью, пока она не решит, что ничего покупать не станет; я же благоразумно решил слинять и посмотреть город. Я выразил свою любовь к жене, угостив ее кофе с пирожным у «Бетти» (выдержать цены «Бетти» способен только тот, кто без ума от любви!), и она, как обычно, снабдила меня точнейшими инструкциями по организации нашей встречи.

— В три часа у «Вулворта». Только послушай — перестань вертеть пальцами и слушай! — если в «Рассел и Домли» я туфли не найду, мне придется идти в «Рэвел», и тогда мы встречаемся в 3:15 в отделе полуфабрикатов «Маркс». А если нет, я буду в «Хэммикс», в отделе кулинарной литературы, или, может, в детских книгах — или пойду в «Бутс» щупать тостеры. Но на самом деле, скорее всего, я буду в «Рассел и Бромли», перемерять заново все те же туфли, и тогда жди меня перед «Некстом» не позднее 3:27. Ты все запомнил?

— Да. (Нет.)

— Смотри, не заставляй меня ждать.

— Что ты, конечно не заставлю! (Мечтай-мечтай!)

Один поцелуй — и она скрылась. Я допивал кофе и упивался элегантной старомодной обстановкой этого дивного заведения, где официантки до сих пор в кружевных колпачках и белых фартучках поверх черных платьев. Таких мест должно быть побольше — вот что я вам скажу. Может, с вас и сдерут три шкуры за кофе с липкой булочкой, но это стоит каждого пенни, к тому же разрешают сидеть хоть весь день; я всерьез обдумывал, не остаться ли мне здесь, где так хорошо. Однако, подумал я, надо все-таки осмотреть город, а потому расплатился и повлек себя через

торговые кварталы, чтобы взглянуть на новейшее чудо Харроугейта, торговый центр «Сады Виктории». Название не совсем точное — магазин построен на месте садов, так что ему бы следовало называться «Милый Садик, Раздавленный Сим Торговым Центром».

Я бы не так уж возражал, если бы заодно не уничтожили последний в Британии великолепный общественный туалет — маленькую подземную сокровищницу с блестящими изразцами и начищенной медью под вышеупомянутыми садами. «М.» был выше всяких похвал, и о «Ж.» я тоже получал одобрительные отзывы. И даже с этим я мог бы смириться, не будь новый торговый центр столь душераздирающе ужасен — худший образец пластиковой архитектуры: помесь батского полумесяца с Хрустальным дворцом под крышей «B&Q»^[27].

Ума не приложу, с какой целью балюстраду вдоль карниза крыши уставили статуями обычных мужчин, женщин и детей в натуральную величину. Бог весть, что сие должно означать — видимо, что это, так сказать, народный дворец, но выглядят они так, будто две дюжины граждан различного возраста собрались совершить коллективное самоубийство.

С парадной стороны здания, где прежде находились «Сады Виктории» с их милым общественным туалетом, теперь устроено нечто вроде амфитеатра под открытым небом; на его ступенях, думается мне, люди с удовольствием сидят два или три дня в году, когда в Йоркшире тепло и солнечно, а высоко над улицей возведен крытый пешеходный мостик в том же георгианско-итальянско-хрен-знает-каком стиле, соединяющий торговый центр с многоэтажной автостоянкой на той стороне.

Основываясь на моих прежних рассуждениях об отношении британцев к своему историческому наследию, вы можете вообразить, что я горячий поклонник подобных конструкций. Увы, нет. Если под стилизацией понимать строение, которое оказывает внимание своим соседям и старается по возможности не нарушать общего силуэта и соблюдать стиль дверей и оконных проемов на своей улице, тогда — да, я за нее. Но если понимать под стилизацией диснейлендовскую версию Доброй Старой Англии вроде этой смехотворной громадины — спасибо, не надо!

Наверно, можно возразить — думаю, архитектор «Садов Виктории» и возразил бы, — что они, по крайней мере, стремятся ввести ценности традиционной архитектуры в городской ландшафт и что это меньше режет глаз, чем соседняя коробка из стекла и бетона, в которой счастливо обосновался какой-то кооператив (здание, позвольте заметить, неподражаемого уродства), но, на мой взгляд, и это ничем не лучше, а в некотором роде еще более бездушно и невыразительно, чем убогое здание

кооператива (все же ни одно из них и вполнину не так дурно, как здание «Маплс», махина постройки шестидесятых, возвышающаяся, как неостроумная шутка полоумного, на добрую дюжину этажей посреди длинной улицы с подлинно викторианскими зданиями. И как такое могло случиться?).

Чего бы я хотел от бедных растоптанных британских городов, если меня не устраивают ни Ричард Сейферт, ни Уолт Дисней? Сам не знаю. Мало того, беда в том, что не знают и архитекторы. Наверняка ведь есть способ создавать здания модные и современные, но не разрушающие городской среды. Большинство европейских стран справляется с этой задачей (за вопиющим и странным исключением Франции). Так почему нельзя здесь?

Но довольно нудных жалоб! В целом Харроугейт — отличный городок и изуродован бездумными перестройками гораздо меньше своих соседей. И в нем есть Стрэй — 215-акровая площадь-парк, окруженная солидными ухоженными зданиями, одна из самых больших и приятных площадей в стране. И есть славные старые отели, приятный торговый район и, мало того, благородный дух порядка. Короче говоря, такого славного городка не сыскать. Мне Харроугейт в приятной английской манере напоминает Баден-Баден, что неудивительно, ведь он тоже был в свое время курортным городом — и притом весьма успешным. Если верить листовке, полученной в Королевском музее водяных скважин, еще в 1926 году тут выпускали 26 000 бутылок сернистой воды в день. Эту воду желающие могут пить и теперь. Судя по табличке над краном, она хороша для вспучивания, и я, заинтригованный обещанием, чуть не выпил, но вовремя сообразил, что «хороша» значит «предотвращает». Какая странная идея!

Я со всех сторон осмотрел музей и прошелся мимо старого отеля «Лебедь», где скрывалась Агата Кристи после того, как обнаружила, что муж ее — распутник, хам и мерзавец, потом прогулялся по бульвару Монпелье, прекрасной улице с ужасно дорогими антикварными магазинами. Я осмотрел военный мемориал высотой 75 футов и отправился бесцельно слоняться по Стрэю, мечтая, как славно было бы поселиться в одном из этих домов с видом на парк и ходить за покупками пешком.

Вам бы в голову не пришло, что столь преуспевающий и нарядный городок, как Харроугейт, расположен в той же части страны, что и Брэдфорд или Болтон, но, само собой, это еще одна черта севера: здесь имеются чрезвычайно богатые «карманы» вроде Харроугейта и Илкли, превосходящие шиком и богатством даже своих южных соперников. Тем интереснее здесь жить, если вы меня спросите.

Наконец стало смеркаться, и я снова углубился в сердце торгового района. Там я принялся скрести в затылке и в панике вспоминать, где и когда договорился встретиться с любимой женушкой. Я стоял столбом с таким выражением на лице, как у Стэна Лорела^[28], когда он, обернувшись, видит, как пианино, которое он стерег, катится с крутого холма, и тут — чудо! — подошла моя жена.

— Привет, дорогой, — жизнерадостно прощепетала она. — Признаться, вот уж не ожидала, что ты уже тут!

— О, бога ради, ты могла бы мне больше доверять! Я дожидаюсь тебя целую вечность.

И рука об руку мы ушли в зимний закат.

Глава восемнадцатая

Я доехал поездом до Лидса, потом другим — до Манчестера; медленная, долгая, но довольно приятная поездка сквозь лощины с крутыми склонами, на удивление похожими на ту, в которой жил я, с той лишь разницей, что эти были густо застроены старым фабриками и тесными, черными от копоти поселками. Старые фабрики делились, по моему, на три типа: 1 — заброшенные, с разбитыми окнами и вывесками «Сдается»; 2 — исчезнувшие — остались только заросшие травой площадки; 3 — превратившиеся в нечто непроизводственное, например базу службы доставки или магазин «V&Q» и тому подобное. Я проехал, наверно, сотню этих старых фабрик, но до самых окраин Манчестера не увидел ни одной занятой производством чего бы то ни было.

Из дома я выехал поздно, поэтому шел пятый час и начинало темнеть, когда я вышел с вокзала Пикадилли. Блестящие от дождя улицы были полны машин и спешащих прохожих, и я с удовольствием почувствовал себя в большом городе. Из каких-то абсолютно безумных соображений я заказал номер в дорогом отеле «Пикадилли». Мой номер оказался на одиннадцатом этаже, а вид с него открывался, как с восемьдесят пятого. Осени мою женушку мысль забраться на крышу нашего дома, я вполне мог бы увидеть ее из своего окна. Манчестер казался громадным — раскинувшиеся до горизонта тусклые желтые огоньки и улицы с медленным движением.

Я поиграл с телевизором, конфисковал гостиничные канцелярские принадлежности и кусок мыла, сунул пару брюк в гладилку — за такую цену я твердо решил извлечь все возможные выгоды из своего положения, — хоть и знал, что брюки выйдут из нее с вечными складками в самых неожиданных местах. (Я тому виной, или эти штуки вообще не желают работать как следует?) Покончив с этим, я вышел прогуляться и поискать места, где можно поесть. Между мной и заведениями общественного питания, кажется, существует универсальное отношение: а именно — чем их больше, тем труднее мне высмотреть такое, чтобы выглядело подходящим для моих скромных запросов. Мне всего-то и нужно, что итальянский ресторанчик на тихой улице — знаете, такой, с клетчатými скатертями, свечами в бутылках из-под кьянти и милым сердцу духом пятидесятых годов. Как правило, британские города изобилуют такими заведениями, но в тот день мои поиски оказались чрезвычайно

трудными. Я прошел довольно далеко, но единственное, что мне попалось на пути, — типовые заведения с большим пластиковым меню и отвратительной кормежкой или рестораны отелей, где приходится платить 17 фунтов 95 пенсов за три блюда с помпезными названиями и разочаровывающим вкусом.

Кончилось тем, что я завернул в Чайна-таун, оповещавший о себе мир большой красочной аркой, и почти сразу пожалел об этом. Здесь было множество ресторанов между большими конторскими зданиями, однако не могу сказать, чтобы они напоминали кусочек Востока. Большие и лучшие на вид рестораны были набиты под завязку, и пришлось мне обедать в какой-то забегаловке, на втором этаже, с невзрачной отделкой, с едой, которая едва тянула на звание сносной, и с равнодушной прислужгой. Когда подали счет, я заметил в нем графу, обозначенную буквами «ПС».

— Это еще что? — спросил я официантку, с самого начала сохранявшую необыкновенно кислый вид.

— П'ата за се'вис.

Я в изумлении уставился на нее.

— Скажите ради бога, зачем в таком случае здесь оставлено место для чаевых?

Она скучающе пожала плечами: мол, меня это не касается.

— Грандиозно, — возмутился я. — Вы попросту выжимаете двойные чаевые.

Она испустила тяжелый вздох. Эти жалобы ей были явно не внове.

— У вас жалобы? Позвать администратора?

Тон, которым это было сказано, предполагал, что если я и встречу с администратором, так где-нибудь в темном переулке, и с ним будут его мальчишки. Я решил не настаивать и просто вышел на улицу, чтобы долго бродить по мокрым и до странности плохо освещенным манчестерским улицам — не припомню другого такого темного города. Не могу сказать, где я побывал, потому что различить улицы Манчестера выше моих сил. Казалось, я иду ниоткуда в никуда, блуждаю в каком-то урбанистическом отделе чистилища.

Наконец я очутился перед большой темной громадой центра «Арндейл» (опять это название!). Какое монументальное заблуждение! Я-то полагал, что приятно в столь дождливом месте, как Манчестер, запасаться покупками под крышей и что если уж вообще строить такие торговые ряды, то лучше в городе, чем за городом. Однако вечером это были 25 акров мертвого пространства, непреодолимое препятствие для всякого, решившего прогуляться в сердце города. Сквозь витрины я видел,

что с прошлого раза, когда я здесь был, центр заново отделали — и очень удачно, зато снаружи он был по-прежнему покрыт все той же кошмарной плиткой, придававшей ему вид самого большого в мире мужского туалета, да и в самом деле, проходя по Кэннон-стрит, я наткнулся на троицу коротко стриженных и обильно татуированных молодых людей, использовавших наружную стену центра для вполне конкретной цели. Они на меня и не оглянулись, тем не менее мне почему-то пришло в голову, что час поздний, и на улицах почти не осталось почтенных граждан, так что я решил вернуться в отель, пока какие-нибудь запоздалые пьянчужки и меня не использовали по тому же назначению.

Я проснулся рано и устремился на мокрые улицы с твердым намерением составить твердое мнение о городе. Видите ли, моя беда в том, что для меня не существует образа Манчестера — вообще никакого. В любом другом британском городе что-то есть: некий основной мотив, запечатлевшийся в моем сознании. В Ньюкасле — мост, в Ливерпуле — небоскреб «Лайвер» и доки, в Эдинбурге — замок, в Глазго — необъятный парк Келвингрув и здания Чарльза Ренни Макинтоша; даже в Бирмингеме есть арена для быков — и это очень даже хорошо. А вот Манчестер для меня — вечное черное пятно, аэропорт с пристроенным к нему городом. Стоит кому-то заговорить о Манчестере, и в памяти моей всплывают смутные образы Ины Шарпиз, Л. С. Лоури^[29], футбольного клуба «Манчестер юнайтед», некий план обзавестись трамваями, потому что в Цюрихе трамваи есть и, кажется, неплохо служат, оркестр Алле, старая «Манчестер Гардиан» и трогательные попытки каждые четыре года заманить к себе очередную летнюю олимпиаду, проиллюстрированные амбициозными планами выстроить велодром за 400 миллионов фунтов, или 250-миллионный комплекс для настольного тенниса, или еще какое-то сооружение, жизненно необходимое для приходящего в упадок промышленного города.

Если не считать Ины Шарпиз и Л. С. Лоури, я не сумею назвать ни единого великого манчестерца. По изобилию расставленных в городе памятников ясно, что Манчестер в свое время породил немало великих, но все они изваяны в смокингах и с завитыми бачками, из чего столь же ясно следует, что город прекратил выпуск либо знаменитостей, либо статуй. Разглядывая статуи теперь, я не нашел ни одного знакомого имени.

Если у меня не сложился отчетливый образ города, в том не только моя вина. Манчестер, очевидно, сам не очень-то ясно представляет, что он такое. «Сегодня мы строим город завтрашнего дня» — гласит официальный девиз города, на деле же Манчестер явно не может решить, каково его

место в мире. В Каслфилде сегодня деловито создают город вчерашнего дня, расчищают кирпичные виадуки и склады, приводят в порядок причалы, покрывают свеженьким блестящим слоем краски старые горбатые пешеходные мостики и щедро расставляют повсюду старинные скамьи, афишные тумбы и фонари. Когда окончат сей труд, вы сможете ясно увидеть, каким Манчестер был в девятнадцатом веке — или хотя бы каким бы он был, будь в нем винные бары, чугунные урны для мусора и указатели к историческим местам и центру «Джи-Мекс». С другой стороны, на Сэлфордской пристани, ударившись в другую крайность, делают все возможное, чтобы стереть прошлое, создавая своего рода мини-Даллас на важнейшей в свое время пристани Манчестерского судоходного канала. Это весьма необычное место — толпа стеклянных современных зданий и элитных многоквартирных домов посреди огромного города, и все на вид совершенно пустое.

Пожалуй, труднее всего отыскать в Манчестере то, что с наибольшим основанием ожидаешь увидеть: множество подобий дома из «Коронейшн-стрит». Мне говорили, что когда-то их было полно, но теперь можно пройти целые мили, не увидев ни единой кирпичной террасы. Это, конечно, не важно, потому что всякий может сходить посмотреть настоящую «Коронейшн-стрит» на экскурсии по студии «Гранада», что я и сделал, присоединившись, кажется, ко всему населению Северной Англии. Большой участок улицы на пути к студии был выделен под парковку и стоянки автобусов, и все в 9:45 утра уже заполнялись. Автобусы прибывали отовсюду: из Уоркингтона, Дарлингтона, Миддлсборо, Донкастера, Уэйкфилда — вспомните любой северный городок, — и из них изливались потоки седовласых туристов, между тем как со стоянок машин выбегали целые семьи, и все выглядели веселыми и добродушными.

Я встал в очередь в 150 ярдов длиной и в три-четыре человека в ряд и подумал, не зря ли это затеял, но, когда открыли турникеты, очередь двинулась довольно живо, и через считанные минуты я попал внутрь. К моему глубокому и непреходящему изумлению, это было в самом деле здорово. Я ожидал увидеть серию павильонов с декорациями к «Коронейшн-стрит» и скучную экскурсию по этим павильонам, но съемочную площадку превратили в нечто вроде парка аттракционов, причем проделали это на удивление удачно. Там был один из тех «подвижных кинозалов», где сиденья подпрыгивают и опрокидываются, так что вам представляется, будто вас и впрямь запустили в космос или возносят на вершину горы, а в другом павильоне вас запихивают в пластмассовый стакан и дают полюбоваться из него на комедию-фарс в

трех измерениях. Еще там была увлекательная демонстрация шумовых эффектов, восхитительно скорбное шоу, посвященное тайнам гримировки, и оживленные, потрясающе забавные дебаты в поддельной палате общин, разыгрываемые труппой молодых актеров. Причем штука в том, что все это проделывалось не просто с блеском, но и с большим чувством юмора.

Прожив в Британии двадцать лет, я все еще удивляюсь и восторгаюсь, обнаруживая юмор в самых неожиданных местах — там, где в других странах его просто не бывает. Вы находите его в болтовне лоточников Петтикоут-лейн и в представлениях уличных артистов (из тех, кто жонглирует горящими факелами и исполняет трюки на одноколесном велосипеде и при этом без передышки сыплет шутками на свой счет и в адрес избранных зрителей), на рождественской пантомиме, и в разговорах в пабе, и в паре фраз, которыми перекидываешься с незнакомцем.

Помнится, несколько лет назад я приехал на вокзал Ватерлоо и застал на нем полный хаос. Пожар на станции Клэпем прервал сообщение. Около часа сотни людей неправдоподобно терпеливо и невозмутимо смотрели на погасшее табло объявлений. Временами в толпе пробегал слухок, что с платформы 7 отправляется поезд, и все начинали дрейфовать туда, чтобы у входа столкнуться с новым слухом: будто бы поезд на самом деле отправляют с платформы 16 или, может быть, с платформы 2. Наконец, перебывав практически на всех платформах и посидев в нескольких поездах, не собиравшихся никуда идти, я очутился в головном вагоне экспресса, якобы вскоре отправлявшегося в Ричмонд. В вагоне был еще один пассажир: мужчина в костюме, сидевший на кипе почтовых мешков. У него была огромная рыжая борода — хватило бы, чтобы набить матрас, — и усталый вид человека, расставшегося с надеждой попасть домой.

— Вы здесь давно? — спросил я. Он задумчиво вздохнул и ответил:

— Скажем так: перед тем как сюда забраться, я чисто побрился.

Я был в восторге.

Несколько месяцев назад я возил семью в европейский Диснейленд. С точки зрения технологий он потрясает. По сравнению с деньгами, потраченными Диснеем на один аттракцион, любая часть студии «Гранада» покажется танцулькой в деревенском клубе. Но сейчас, слушая веселую пародию «Гранады» на парламентские дебаты, я вспомнил, что во всем Диснейленде не было ничего смешного. Юмор, и тем более суховатая насмешливая ирония, совершенно недоступны другим народам. (Знаете ли вы, что в американском английском даже не существует выражения, эквивалентного английскому «высмеивать»?) А здесь, в Британии, это

столь обыкновенно, что почти не замечаешь. Как раз накануне, в Скиптоне, я попросил один билет до Манчестера с чеком. Кассир в окошке, подавая мне заказ, шепнул:

— Билет бесплатный... а вот за чек 18.50.

Попробуй он проделать такое в Америке, клиент возмутился бы:

— Как? Вы что это мне говорите? Билет бесплатный, а за чек дерут 18.50?! Что за бред?!

Если бы у Диснея разыгрывали парламентские дебаты, они проходили бы с ужасающей серьезностью и продлились бы три минуты. Противоборствующие стороны глубоко переживали бы все эти три минуты, кто возьмет верх. Здесь же тон был таков, что невозможно было даже вообразить кого-то победителем. Главное — хорошо провести время, и исполнялось все так славно, весело и умно, что я и описать не могу. И я с упавшим сердцем понял, что вот этого мне будет очень не хватать.

Единственное место на студии «Гранада», где вы не найдете ни малейшего юмора, — сама экскурсия по Коронейшн-стрит, да и то потому, что для большинства из нас, миллионов телезрителей, это почти религиозное паломничество. Я очень привязан к «Коронейшн-стрит», потому что это один из первых сериалов, какие я смотрел по британскому телевидению. Я, конечно, тогда представления не имел, что происходит. Половину из сказанного героями я не мог разобрать и не понимал, почему всех мужчин зовут Чак. Но я поймал себя на том, что происходящее удивительно затягивает. Там, откуда я прибыл, «мыльные оперы» вечно рассказывают о богачах, бесшабашных и беспредельно успешных людях в полуторатысячедолларовых костюмах, с офисами на верхних этажах остроугольных небоскребов, причем главные роли отдают артистам того сорта, которые, предложи им выбор между умением играть и роскошной шевелюрой, без колебаний выберут шевелюру. И вот потрясающий сериал об обычных людях, живущих на непримечательной городской улице, говорящих на почти незнакомом мне языке и, в общем, ничего особенного не делающих. Ко времени первой рекламной паузы я стал рабом и поклонником сериала.

Потом жестокая судьба заставила меня работать вечерами на Флит-стрит, и я отучился от этой привычки. Теперь, если по телевизору идет «Коронейшн-стрит», меня и в комнату не допускают, чтобы я не мешал смотреть вопросами:

— А где Эрни Бишоп? А это тогда кто такой? Разве Дейдра не с Рэем Лэнгтоном? И где Лен? Что, Стэн Огден умер?!

Через минуту меня просто выставляют за дверь. Но, как я теперь

обнаружил, можно годами не смотреть «Коронейшн-стрит» и все равно с восторгом воспринимать декорации, узнавая в них ту же улицу. Между прочим, декорации реальные — на понедельник они, как правило, закрываются для посетителей и в них снимают новую серию — и выглядят как настоящая улица. Дома солидные, из кирпича, хотя я, как и другие, разочаровался, заглянув в щелочку между занавесками и увидев пустую скорлупу, заплетенную электрическими кабелями и заставленную плотницкими козлами. Немножко смутил меня вид парикмахерского салона и пары современных домов, да и Хижина, к моему отчаянию, была много наряднее и лучше прибрана, чем в былые времена, и все же у меня возникло странное чувство, будто я ступил на родную и священную почву.

Толпы людей, благоговейно притихнув, расхаживали по улице, узнавая входные двери и заглядывая за кружевные занавески. Я прицепился к дружелюбной маленькой леди с подсиненными волосами под прозрачной шляпой от дождя, сооруженной, кажется, из хлебного пакетика, и она не только сообщала мне, кто проживает в каждом доме, но и кто где жил в те времена, когда я следил за событиями. Очень скоро я оказался в окружении целой стайки маленьких леди с голубыми волосами, которые дружно отвечали на мои изумленные вопросы (Дейдра с этим игрушечным мальчиком? Никогда!) и торжественно кивали, заверяя, что так и есть. Неимоверно волнующее ощущение — расхаживать по знаменитой улице; можете хихикать, но сами знаете, вы бы почувствовали то же самое! И просто столбенеешь, когда, свернув за угол, вдруг снова оказываешься в парке аттракционов.

Я собирался просто провести час-другой в парке и думать не думал слушать экскурсию или заходить в сувенирную лавку, и вот, взглянув на часы, оторопел, обнаружив, что уже почти час. В тихой панике я выбрался из парка и поспешил в свой далекий отель в страхе, что с меня сдерут деньги за лишний день или в лучшем случае брюки в гладилке пересохнут.

В результате я с опозданием на три четверти часа оказался па краю Пикадилли-Гарденс с тяжелым рюкзаком и в полном недоумении, что делать дальше. У меня имелось смутное намерение побывать в центральных графствах, поскольку в прежних странствиях я уделял этому благородному и непростому региону лишь беглое внимание, но пока я так стоял, подкатил красный двухэтажный автобус с надписью «Уиган» в окошке для места назначения, и дальше от меня уже ничего не зависело. Так уж вышло, что в это самое время у меня из заднего кармана торчал оруэлловский «Путь к пирсу Уигана», и я немедля — и мудро — принял знак судьбы.

Я купил билет в одну сторону и занял место посередине верхней палубы. Уиган наверняка не дальше 15–16 миль от Манчестера, но добрались мы туда только к вечеру. Мы виляли и крутили по бесконечным улицам с совершенно одинаковым лицом или вовсе без лица. Вдоль каждой выстроились слившиеся в единый ряд домики, и каждый четвертый из них был парикмахерской, и всюду торчали гаражи и кирпичные торговые комплексы с неизменным набором супермаркетов, банков, видеопроката, закусочных и букмекерских контор. Мы проехали Экклз и Врорсли, потом на удивление шикарный район, потом Бутстаун и Тайлдсли, Атертон и Хиндли и тому подобные места, о которых я никогда не слыхал. Автобус то и дело останавливался — кое-где через каждые двадцать шагов, — и почти на каждой остановке многие входили и выходили. Почти все выглядели бедными и потрепанными и на двадцать лет старше своего, как я догадываюсь, настоящего возраста. Если не считать вкраплений стариков в кепках и туго застегнутых на молнию куртках от «Маркс и Спенсер», все это были женщины средних лет с невероятными прическами и вольным хриплым смехом заядлых курильщиц, но все они были неизменно веселы и дружелюбны и казались довольными своим жребием. Все они звали друг друга «милочка» и «дорогуша».

Самое поразительное — или наименее поразительное (как посмотреть) — это насколько чистенькими и ухоженными выглядели те бесконечные, склеенные вместе домики, мимо которых мы проезжали. Все в них говорило о скромности и стесненных обстоятельствах, но каждое крылечко сверкало, каждое окошко блестело, каждый подоконник был покрыт свежей яркой краской. Я достал Оруэлла и на время затерялся в ином мире, расположенном на том же пространстве, что и маленькие поселки за окном автобуса, но не имевшем ничего общего с тем, что я видел, отрывая взгляд от страницы.

Оруэлл — не будем забывать, он был выпускником Итона и принадлежал к привилегированному слою — смотрел на рабочий класс, как мы смотрим на диких островитян. Он видел в них странный, но любопытный этнографический феномен. В «Пути к пирсу Уигана» он описывает минуту паники, пережитую, когда мальчишкой он оказался в компании работяг и решил, что ему предстоит пить прямо из горлышка бутылки, передававшейся по кругу. Честно говоря, с первого раза, как я это прочитал, у меня появились сомнения относительно старины Джорджа. Несомненно, он изображает рабочий класс 1930-х годов отвратительно грязным, на деле же все, что я знаю, доказывает, что эти люди были почти фанатично привержены опрятности. Мой собственный зять вырос в

разительно бедной среде и, случалось, рассказывал об устрашающих лишениях — знаете, как бывает: отец погиб в аварии на производстве, тридцать семь братьев и сестер, к чаю нечего погрызть, кроме плесневелого хлеба и кусочка черепицы, разве что по воскресеньям, когда удавалось променять кого-то из ребятишек на пучок гнилого пастернака ценой в пенни, и все такое, — а его зять, йоркширец, рассказывал еще более ужасную историю о том, как приходилось 47 миль до школы прыгать на одной ножке, потому что у него был всего один башмак, и о диете, состоявшей из сухих бобов и козявок.

— Однако, — в один голос добавляли оба, — жили мы всегда чисто, и в доме не было ни пылинки.

И следует добавить, что они, как и их бесчисленные братья, сестры, друзья и родственники, всегда были выскоблены так чисто, как только можно представить.

К тому же не так давно мне довелось встретиться с Уиллисом Холлом, писателем и сценаристом (и вдобавок очень милым человеком), и мы с ним как-то разговорились на эту тему. Холл вырос в бедном районе Лидса и уверенно подтвердил, что, хотя в домах было голо и жилось трудно, о грязи и речи не было.

— Когда моей матери после войны пришлось переехать в другой дом, — поведал он, — она в последний день выскребла наш прежний дом сверху донизу до блеска, хоть и знала, что на следующий день его снесут. Она просто не могла оставить после себя грязь — и, уверяю вас, никто из соседей не видел бы в том ничего особенного.

При всей профессиональной симпатии Оруэлла к массам, читая его, никогда не заподозришь, что те способны на серьезную умственную деятельность, а между тем один только район Лидса дал, кроме Уиллиса Холла, еще Кейта Уотерхауса и Питера О'Тула; столь же нищий район Солтфорда, насколько мне известно, породил продюсера Алистера Кука и художника Гарольда Райли, и я уверен, то же самое повторяется по всей стране.

Оруэлл нарисовал картину столь жалкой нищеты, что я не поверил своим глазам, увидев чистенький и аккуратный городок, когда мы въехали в Уиган, перевалив длинный холм. Я вышел вниз, радуясь свежему воздуху, и первым делом отправился искать знаменитый причал. Все верно, пирс Уигана — интересная достопримечательность, но он же — еще один повод относиться с некоторой осторожностью к сообщениям Оруэлла: проведя в городе несколько дней, тот решил, что причал снесен (между прочим, как и Польш Теру в «Королевстве у моря»). Так вот, поправьте меня, если я не

прав, но не кажется ли вам несколько странным написать книгу под названием «Путь к пирсу», провести в городе несколько дней и не спросить, на месте ли еще этот самый пирс?

Так или иначе, его трудно не заметить, поскольку на каждом углу на него указывают чугунные стрелки-указатели. Причал — вообще-то это старая угольная пристань на берегу канала Лидс-Ливерпуль — отстроили в качестве туристского аттракциона и уместили на нем музей, сувенирный магазин, бар-закусочную и паб, с откровенной иронией названный «Оруэлл». Увы, в пятницу был выходной, и мне ничего не оставалось, как побродить кругом и полюбоваться в окно на музейную экспозицию, на вид достаточно увлекательную. На другой стороне улицы располагалось нечто не менее любопытное, чем причал, — действующая ткацкая фабрика, гора красного кирпича с названием «Тренчерфилд», крупно выведенным по верхнему этажу. Теперь эта фабрика слилась с «Кортолд» и, будучи редкостью по нынешним временам, тоже служит туристским аттракционом. Там висело объявление, объяснявшее, куда обратиться, чтобы попасть на экскурсию в фабричный магазин и закусную. Мне показалось странноватой идея отстоять очередь, чтобы посмотреть, как люди делают стеганки или что они там шьют, да и все равно в пятницу публику не принимали и здесь. И дверь закусной была заперта.

Так что я пошел в центр — расстояние немалое, но того стоило. Такая уж у Уигана сложилась репутация, что я был просто потрясен отлично сохранившимся и ухоженным городским центром. Магазины явно процветали, и повсюду хватало скамеек для отдыха людей, неспособных принимать активное участие в окружающей их экономической активности. Какой-то талантливый архитектор умудрился вписать современный торговый пассаж в прежнюю ткань города столь просто и искусно, что стеклянный навес над входом повторял линию соседних фронтонов. В результате вход выглядел ярко и современно, и притом не нарушал гармонии — то самое, о чем я столько мечтал на предыдущих страницах; и я порадовался, что если уж такая архитектурная находка оказалась единственной в Британии, то досталась она бедному оболганному Уигану.

Чтобы отметить это событие, я выпил чашку чая со сладкой булочкой в заведении под названием «Кафе-гостиная «Коринф»», похвалявшемся, среди многих других усовершенствований, «джорджийской печью для картофеля». Я спросил у девушки за прилавком, что бы это могло быть, и она ответила мне странным взглядом:

— Ну, в ней готовят картофель и все такое.

Конечно! Я отнес свой чай с булочкой к столику, посидел, обмениваясь

возгласами «О, чудесно!» и бессмысленными улыбками с милой леди за соседним столом и, чувствуя, что приятно провел день, отправился на вокзал.

Глава девятнадцатая

Я сел на поезд до Ливерпуля. Прибыв туда, я застал праздник мусора. Горожане проводили свободное от важных занятий время, украшая хрустящими пакетиками, пустыми сигаретными пачками и мешками для покупок блеклый, запущенный ландшафт. Мусор весело шелестел в кустах, добавляя цвета и разнообразия мостовой и канавам. Подумать только, что мы, в других местах, прячем такую красоту в мусорные мешки.

В очередном припадке экстравагантного безумия я заказал номер в отеле «Аделфи». Бывая здесь раньше, я видел его с улицы, и мне чудилось в нем старомодное величие, которого ужасно хотелось попробовать. С другой стороны, он выглядел дорогим, а я сомневался, что мои брюки выдержат еще одну встречу с гладилкой. Поэтому особая каникулярная скидка оказалась для меня приятным сюрпризом. У меня еще остались деньги, чтобы со вкусом пообедать и произвести торжественный обход множества великолепных пабов, на которых специализируется Ливерпуль.

И вскоре я, как все приезжие в Ливерпуле, очутился в великолепной и роскошной обстановке «Филармонии», сжимая в руках большую кружку и растирая плечи в блаженной давке пятничного вечера. «Фил» (каждый, кто побывал там хоть дважды, вправе так его называть) на самом деле был слишком набит на мой вкус. Сесть было негде, да и встать, в общем, тоже. Поэтому я выпил две кружки — в моем возрасте вполне достаточно, чтобы понадобилось выйти, ибо в мире нет лучшего места, чтобы пописать, чем разукрашенный мужской туалет «Филармонии», — и отправился искать местечко поспокойнее.

Так я оказался в заведении под названием «Гроздь», почти таком же разукрашенном, как «Филармонии», но гораздо более тихом. Кроме меня, здесь было всего трое посетителей — необъяснимый факт, потому что этот паб очень хорош: деревянные панели под Гринлинга Гиббонса^[30] и лепной потолок, еще более нарядный, чем панели.

Пока я сидел, попивая пиво и наслаждаясь шикарной обстановкой, ко мне подошел какой-то тип с банкой для сбора пожертвований, с которой была небрежно ободрана первоначальная этикетка, и предложил сделать взнос в пользу детей-инвалидов.

— Каких инвалидов? — спросил я.

— Тех, что прикованы к инвалидным креслам.

— Я хотел спросить, что за организацию вы представляете.

— А... это... вроде как «Организацию детей-инвалидов».

— Ну, раз тут все законно, — кивнул я и подал 20 пенсов.

Вот чем мне так нравится Ливерпуль. Пусть фабрики закрыты и работы нет, пусть городу для самоуважения остается только трогательно полагаться на успехи футбольного клуба, но у ливерпульцев сохранились характер и инициатива, и они не станут надоедать вам честолюбивыми попытками затащить к себе следующую олимпиаду.

В «Гроздьях» было так хорошо, что я выпил еще две пинты, и тут понял, что пора закусить, если я не хочу вывалиться на улицу, натыкаясь на предметы и горланя «Матушку Макри». Когда я вышел, пригорок, на котором стоял паб, стал вдруг очень крутым и трудным для подъема, и до меня не сразу дошло, что я уже с него спустился, а теперь опять поднимаюсь, и тогда все представилось в новом свете. Очень скоро я увидел перед собой греческий ресторан и не без колебаний изучил меню. Я не большой поклонник греческой кухни — не хочу никого обидеть, но мне всегда казалось, что, если захочется вареных листьев, я и сам сумею их себе сварить, — однако ресторан был так печально пуст, а хозяйка манила меня таким умоляющим взором, что сам не знаю, как оказался внутри. Так вот, кормили там потрясающе. Понятия не имею, что я ел, но еда была обильной и восхитительно вкусной, а принимали меня как принца крови. По глупости я запил все это не одной лишней порцией пива. Ко времени, когда я закончил есть и оплатил счет, добавив такие чаевые, что вся семья хозяйки столпилась у кухонной двери посмотреть на безумного богача, и приступил к сложной процедуре по продеванию рук в таинственно ускользающие рукава куртки, я был, боюсь, основательно пьян. Я вывалился на свежий воздух, чувствуя головокружение и общую слабость организма.

Между прочим, второе правило для тех, кто выпил лишнего (первое, само собой. — не бросаться ухлестывать за женщиной крупнее Хосса Картрайта^[31]), — это никогда не пить в заведении, стоящем на крутом склоне.

Я шагал вниз будто на чужих ногах, которые вылетали из-под меня, как веревочные жгуты. «Аделфи», маняще светящийся внизу, разыгрывал любопытный фокус — он умудрялся казаться и близким, и страшно далеким. Я будто смотрел на него не в тот конец подзорной трубы — ощущение обогащалось тем обстоятельством, что голова моя на 7 или 8 ярдов отставала от отчаянно шлепающих конечностей. Я безнадежно пытался догнать свои ноги, и каким-то чудом они спустили меня с холма, благополучно перенесли через дорогу и подняли по ступеням ко входу в

«Аделфи», где я отметил свое прибытие кругом почета вместе с вращающейся дверью, которая еще разок вывела меня на свежий воздух, прежде чем развернуть и втолкнуть в величественный и торжественный вестибюль. Я пережил мгновенное ощущение «Где я?», потом поймал на себе пристальные взгляды ночных дежурных. Призвав на помощь все остававшееся во мне достоинство и понимая, что с лифтом мне ни за что не совладать, я двинулся к широкой лестнице и сумел — уж не знаю, каким образом — свалиться по ней вверх, как в пущенном задом наперед фильме. Знаю только, что в последний момент я сумел подхватиться и, заверив встревоженные лица вокруг, что со мной все в порядке, пустился на долгие поиски своего номера в бесконечных и необъяснимо многочисленных коридорах «Аделфи».

Дам один совет: не садитесь на паром через Мерси, если не готовы потом одиннадцать дней терпеть крутящуюся в голове известную песенку «Джерри энд пейсмейкерс». Ее крутят при погрузке на паром, когда вы сходите на берег, и в промежутке тоже, почти без перерыва. Я пришел к парому на следующее утро, решив, что спокойная водная прогулка поможет разогнать убийственное похмелье, на деле же вездесущая песенка «Идет паром по Мерси» только усугубила мои проблемы с головой. Не считая песенки, должен отметить, что паром — приятный, хотя и несколько ветреный способ провести утро. Все это немножко напоминало круиз по сиднейской гавани, только без Сиднея.

Когда не крутили «Идет паром по Мерси», то запускали запись диктора, озвучивавшего наблюдаемые с палубы знаменитые виды, но акустика была столь ужасна, что восемьдесят процентов сказанного тут же улетало по ветру. Я слышал только обрывки: «3 миллиона», «самый большой в мире», но относились ли они к нефтеочистному предприятию или к костюму Дерека Хаттона^[32], сказать не берусь. Впрочем, суть была ясна: перед вами великий город, и это — Ливерпуль!

Нет, не поймите меня неправильно. Я очень люблю Ливерпуль. Возможно, это мой любимый английский город. Но порой кажется, что прошлого в нем больше, чем будущего. Глядя с палубы на мили замерших набережных, невозможно представить, что до совсем недавнего времени — два столетия гордости и процветания — ливерпульские десятимильные доки и верфи прямо или косвенно обеспечивали работой 100 000 человек. Табак из Африки и Виргинии, пальмовое масло с южных островов Тихого океана, медь из Чили, джут из Индии и едва ли не любое сырье, какое вам придет в голову, попадали сюда на пути к переработке в нечто полезное. И — что не менее важно — около десяти миллионов людей отправились

отсюда к новой жизни в Новом Свете, привлеченные рассказами о вымощенных самородками улицах и о неограниченных возможностях разбогатеть или — как в случае с моими предками — головокружительной перспективой следующие полтора столетия сражаться с ураганами и разгребать снег в Айове.

Ливерпуль стал третьим по богатству городом империи. Только Лондон и Глазго насчитывали больше миллионеров. К 1880 году он приносил больше налогов, чем Бирмингем, Бристоль, Лидс и Шеффилд, вместе взятые, хотя население его было вдвое меньше. В Ливерпуле расположились штаб-квартиры судоходных линий «Кьюнард» и «Уайт стар» и бесчисленного множества других, теперь большей частью забытых: «Блю Фаннел», «Бэнк лайн», «Коуст лайн», «Пасифик стим», «Макэндрю», «Элдер Демпстер», «Бут». В Ливерпуле действовало больше судоходных компаний, чем сегодня осталось судов, — во всяком случае, так кажется при взгляде на пустые причалы под призрачный голос Джерри Марсдена.

Крах случился на глазах одного поколения. В 1966 году Ливерпуль все еще оставался самым оживленным портом Британии после Лондона. К 1985 году он пал так низко, что по тишине с ним не сравнятся даже Тиз и Хартлпул, Гримсби и Иммингем. Но в дни своей славы он был незаурядным городом. Морская торговля принесла Ливерпулю не только богатство и рабочие места, но и дух космополитизма, соперничать с которым могли бы немногие города в мире, и этот дух еще присутствует. Попав в Ливерпуль, вы и ныне ощущаете, что это — особое место.

Я сошел с кораблика у дока Альберта. Одно время вынашивались планы откачать из него воду и превратить в стоянку для машин — просто чудо, как что-то еще сохранилось в этой бедной неразумной стране. — но теперь, разумеется, их выскребли и облагородили, в складах устроили офисы, квартиры и рестораны для того сорта людей, что расхаживают с телефонами в портфелях. Здесь же уместился форпост музея Тэйт и Морской музей Мэрсисайда.

Я люблю Морской музей не только за то, что он хорошо продуман, но и за то, что он наглядно показывает, каким был Ливерпуль в бытность огромным портом, — да, когда весь мир был полон заводами, которые что-то производили и тем гордились, о чем сегодня можно только ностальгически сожалеть. Мне хотелось бы пожить в мире, где можно, выйдя на набережную, любоваться, как загружают и выгружают огромные кипы хлопка, тяжелые бурые мешки с кофе и специями; и каждый рейс увлекает сотни человек — моряков, докеров, толпы возбужденных пассажиров. Ныне, выйдя на набережную, вы найдете там только тонны

помятых контейнеров и одного парня в кабине крана, растаскивающего контейнеры в разные стороны.

Когда-то море таило бесконечную романтику, и Морской музей Мерсисайда вобрал ее в себя до последней капли. Меня особенно захватил зал наверху, с моделями кораблей — они когда-то, должно быть, украшали зал совещаний директоров компании. Ух, вот это зрелище! Даже модели производят впечатление, и сразу понимаешь, сколь прекрасны были оригиналы. Здесь все прославленные корабли Ливерпуля: «Титаник», «Император», «Маджестик» (начавший свою жизнь как «Бисмарк» и переданный в счет военных репараций) и непередаваемо красивый «Вобан» с его широкими палубами из полированного клена и фигурными трубами. Судя по этикетке, он принадлежал компании «Ливерпульская, бразильская и риверплейтская пароходная навигация». Всего лишь прочитав эти слова, я ощутил щемящую тоску: никогда мы уже не увидим таких прекрасных кораблей. Дж. Б. Пристли называл их величайшими зданиями современного мира, нашим эквивалентом соборов, и он был абсолютно прав. Я побледнел при мысли, что никогда мне не измерить шагами их палубы, не спуститься в панаме и белом костюме в бар с вращающимся вентилятором. Как сокрушительно несправедлива бывает порой жизнь!

Я два часа бродил по музею, внимательно осматривая экспозицию. Я был бы счастлив остаться подольше, но пора было выписываться из отеля, так что я с сожалением ушел и зашагал обратно по прекрасным викторианским улицам Ливерпуля к «Аделфи», где забрал свои пожитки и заплатит по счету.

У меня было легкое искушение съездить в Порт-Санлайт, образцовый поселок, построенный в 1888 году Уильямом Левером для рабочих мыловаренного производства. Мне любопытно было сравнить этот поселок с Солтером. Поэтому я пошел на вокзал Ливерпул Сентрал и сел в поезд. В Рок-Ферри нам сообщили, что из-за ремонтных работ на путях придется продолжить поездку на автобусе. Я был совсем не против, потому что никуда не спешил, а с автобуса можно больше увидеть. Некоторое время мы ехали по полуострову Уиралл, потом водитель объявил остановку Порт-Санлайт. Я единственный сошел на ней и был поражен до глубины души, обнаружив, что это что угодно, только не Санлайт. Я застучал в переднюю дверцу автобуса и дождался, пока та со вздохом откроется.

— Простите, — сказал я, — но это совсем не похоже на Порт-Санлайт.

— Потому что это Бэбингтон, — объяснил водитель. — ближе к Санлайту не подъехать, там мост низкий.

— О!

— Так где же все-таки сам Порт-Санлайт? — спросил я, но мой вопрос растаял в облаке голубого дыма. Я вскинул на плечо рюкзак и зашагал по дороге, которую с надеждой счел подходящей — она бы несомненно таковой оказалась, если бы только я выбрал другую. Я прошел довольно далеко, но дорога, кажется, ни к чему не вела, или, во всяком случае, не вела ни к чему, похожему на Порт-Санлайт. Завидев ковыляющего по обочине старичка в кепке, я попросил его подсказать, где Порт-Санлайт.

— Порт Санлайт! — проревел он голосом человека, полагающего, что весь мир оглох вместе с ним, и с намеком, что только полоумный может направляться в такое место. — Это вам нужно на фтобусе!

— На автобусе? — удивленно переспросил я. — А далеко до места?

— Говорю, вам фтобус нужен, — повторил старичок злорадно.

— Это я понял. Но все-таки, где Санлайт?

Он ткнул меня костлявым пальцем в чувствительное место прямо под ключицей. Больно.

— ВАМ НУЖОН ФТОБУС!

— Понимаю...

Ах ты нудный старый хрыч! Я повысил голос ему под стать и проревел старику прямо в ухо:

— Я хочу знать, куда идти!

Он взглянул на меня как на неизлечимого идиота.

— Ну ни хрена ни понимает! Фтобус тебе нужен, фтобус. — И зашаркал дальше, беззвучно жуя деснами на ходу.

— Спасибо! Желая скорой смерти, — крикнул я ему вслед, растирая плечо.

Я вернулся в Бэбингтон и спросил дорогу в магазине, как и следовало поступить с самого начала. Порт-Санлайт, как выяснилось, находился совсем рядом, за железнодорожным мостом и развилкой — или наоборот. Не скажу точно, потому что тут небо описалось дождиком, и я пригнул голову так низко, что едва видел, куда иду.

Я прошел, быть может, полмили, но каждый шаг по слякоти того стоил. Порт-Санлайт очарователен, настоящий городок-сад, и оттого он много веселее, чем теснящиеся домишки Солтера. Тут есть и открытые зеленые участки, и милые домики, полускрытые за сугробами листвы. Вокруг ни души, и все, что я видел, было закрыто — не работали ни магазины, ни паб, ни музейный центр, ни галерея искусств леди Левер, и это меня взбесило — но я решил получить максимум от неторопливой прогулки по дождливым улицам. Не без удивления я увидел, что фабрика еще на месте и, насколько я мог судить, до сих пор выпускает мыло, но на

том и закончилось все, чем мог порадовать Порт-Санлайт в дождливую осеннюю субботу. Я добрал обратно к автобусной остановке и час с четвертью ждал под проливным дождем автобуса дальше, в Хутон, — который выглядел еще менее забавным, чем кажется на слух.

Хутон преподносит миру не только довольно забавное название, но и самый захолустный железнодорожный вокзал, в каком мне приходилось чихать. Трущобного вида зал ожидания на платформе протекали отсырел, но я так промок, что мне было уже все равно. Вместе с шестью другими бедолагами я целую вечность дожидался поезда на Честер, где пересел на другой, в Лландидно.

Этот поезд, слава богу, был пуст, поэтому я занял место у столика, рассчитанного на четверых, и утешался мыслью, что впереди меня ждет славный отель или пансион, где можно будет принять горячую ванну и получить сытный обед, щедро сдобренный напитками. Какое-то время я смотрел в окно, потом достал свой томик «Королевства у моря», чтобы поискать у Поля Теру каких-нибудь упоминаний об этих местах и постараться их присвоить или переделать в собственных целях. Как обычно, я поразился, прочитав, что Теру проезжал по этим самым рельсам, погруженный в оживленную беседу с другими пассажирами. Как ему это удавалось? Даже не принимая во внимание, что мне достался почти пустой вагон, я все равно не представляю, как в Британии завязать разговор с незнакомцем. В Америке, само собой, все просто. Вы протягиваете руку и говорите: «Меня зовут Брайсон. Какой у вас годовой доход?», и дальше разговор идет как по маслу. Но в Англии — или, как в данном случае, в Уэльсе — это очень сложно, во всяком случае, для меня. Сколько раз я ввязывался в разговор с попутчиками, столько это кончалось катастрофой или, по меньшей мере, горькими сожалениями. Либо я выпаливаю что-нибудь неподходящее («Простите, не могу не заметить, что нос у вас выдающихся размеров»), либо выясняется, что человек, с которым я решил завязать дружбу, страдает серьезным умственным расстройством, проявляющимся в бормотании и затяжных припадках плача, или оказывается коммивояжером компании, торгующей малярными распылителями, и, приняв наш вежливый интерес за энтузиазм, обещает заглянуть с образцами, когда в следующий раз будет в этих краях, или рвется поведать об операции по удалению рака прямой кишки, а потом заставляет вас угадывать, где у него калоприемник. («Сдаются? А вот он, под мышкой. Пощупайте, не стесняйтесь»), или вербовщиком-мормоном, или еще одним из десяти тысяч вариантов, без которых я предпочел бы обойтись. Путем долгих и многочисленных опытов я пришел к выводу, что

человек, пожелавший заговорить с вами в поезде, это, по определению, тот, с кем вы говорить не желаете, так что в последнее время я больше держусь сам по себе и черпаю удовольствия беседы в книгах более красноречивых авторов, вроде Джен Моррис и Поля Тору.

По некой прихоти судьбы, когда я сидел себе со своей книжкой и никого не трогал, мимо проходил какой-то тип в шелестящем анораке; заметив, что я читаю, он воскликнул:

— Ага, тот самый Торо!

Подняв глаза, я увидел, что тип уже примостился напротив. На вид ему шел седьмой десяток: копна седых волос и празднично мохнатые брови, поднимающиеся шпильями, как кончики крепко взбитых меренг. Казалось, кто-то пытался подвесить его за пучки бровей.

— В поездах он, знаете ли, ничего не смыслит, — продолжал тип.

— Простите? — настороженно отозвался я.

— Ну, Торо, — он кивнул на мою книгу. — Ничего не смыслит в поездах. А если смыслит, так ничем это не показывает.

Он от всего сердца посмеялся собственной шутке, с удовольствием повторил ее еще раз, а потом уселся, сложив руки на коленях, словно припоминая, когда мы с ним в последний раз так весело проводили время.

Я очень скупо кивнул в ответ и уткнулся в книгу, что, как я надеялся, будет истолковано незванным гостем в качестве пожелания валить на хрен. Вместо того он перегнулся через столик и согнутым пальцем потянул книгу на себя — действие, которое я и в лучшие минуты нахожу весьма раздражающим.

— Знаете его книжонку — «Великая железная дорога...», как ее там? Через всю Азию. Знаете?

Я кивнул.

— А знаете, что он в той книжке едет из Лахора в Стамбул на «Дели-экспресс» и ни разу не упоминает марку локомотива?

Я видел, что тип ждет отклика, и отозвался:

— О?

— Ни разу. Можете себе представить? Что толку писать книгу о железных дорогах, если не рассказываешь про локомотивы?

— Вы, значит, интересуетесь поездами? — произнес я и немедленно пожалел об этом.

Не успел я опомниться, как книга лежала у меня на коленях, а я слушал речь самого большого зануды в мире. Я не очень-то вслушивался в его слова. Меня отвлекали его брови-башенки и открытие, что не менее обильный урожай волос вырос у него в носу. Верно, он их мыл шампунем

«Чудесный рост». И был он не просто фанатиком поездов, но фанатиком-говоруном, а это куда более опасная разновидность.

— Возьмем этот поезд, — говорил он. — Это тип «Метро-Кэмвелл», выпущенный заводом Суиндона, скажу наугад, между июлем 1986 и августом, самое позднее сентябрем 1988 года. Я сперва не поверил, что это суиндонский 86–88 из-за крестовин на спинках сидений, но потом заметил заклепки с вмятинками на боковых панелях и подумал: «Тут мы, друг мой Сирил, имеем дело с гибридом. На свете мало в чем можно быть уверенным, но уж заклепки «Метро-Кэмвелл» тебя не обманут». Так вы откуда?

Я не сразу понял, что вопрос относится ко мне.

— Э... из Скиптона, — отвечал я, солгав только наполовину.

Он кивнул:

— У вас там перекрестные дуги «Кросс и Блэквелл»... — За точность не поручусь, но прозвучало это полной бессмыслицей. — А вот я, скажем, живу в Аптоне-на-Северне...

— Северная скука, — вставил я, но он не уловил намека.

— Вот-вот. Мы как раз мимо проезжаем. — Тип обиженно глянул на меня, будто я попытался сбить его с мысли. — Так вот, у нас здесь колесные каретки «Зет-46 Занусси» с горизонтальным выносом «Эббот и Костелло». Зет-46 всегда отличишь, они на стыках выделяют не «тонк-тонк», а вроде как «патуш-патуш». Сразу себя выдают. Бьюсь об заклад, вы и не знали...

В конце концов мне стало его жаль. Жена умерла два года назад — покончила с собой, как я догадываюсь, — и с тех пор он проводил время, катаясь по железным дорогам Британии, сравнивая заклепки, запоминая таблички с номерами или чем там еще занимают время эти бедняги, дожидаясь, пока их приберет к себе Господь. Мне недавно попала статья, в которой докладчик Британского психологического общества трактовал увлечение поездами как разновидность аутизма под названием «синдром Аспергера».

Тип сошел в Престатине — ему донесли, что туда утром прибыл 12-тонный тендер-мешалка производства «Фаггот и Грэви», и я помахал ему в окно, когда поезд тронулся, и откинулся назад, наслаждаясь покоем. Я слушал, как отстукивают на стыках колеса — мне в их стуче слышалось «синдром-аспергера, синдром-аспергера», — и провел последние сорок минут до Лландидно, празднично подсчитывая заклепки.

Глава двадцатая

Северный Уэльс из поезда выглядит как каникулярный ад — бесконечные ряды трейлерных парков, похожих на концлагеря, посреди продуваемой ветрами пустыни, на неправильной стороне от рельсов, а на правильной, за двухполосным шоссе, — безграничные заносы влажного песка, испещренного подозрительными промоинами, и вдали — полоска моря. Мне это представляется странным способом отдохнуть: ночевать в жестяной коробке среди поля за мили от всего на свете, при британском-то климате, а по утрам вываливаться вместе с толпами обитателей других точно таких же коробок, пересекать рельсы и двухполосное шоссе и тащиться через изрытую ямами пустыню, чтобы обмакнуть пятки в далекое море, полное ливерпульской дряни. Не могу сказать, что именно, но что-то здесь не по мне.

Потом трейлерные парки вдруг поредели, ландшафт вокруг Коулинбэй тронул налет красоты и величия, поезд круто повернул к северу, и через несколько минут мы прибыли в Лландидно.

Это действительно отменный, прекрасный город, выстроенный над просторным заливом, и вдоль его широкой набережной высится ряд чопорных, но снисходительных отелей девятнадцатого века, напомнивших мне в гаснущем свете ряд викторианских нянюшек. Лландидно с самого начала, в середине 1800-х, строился как курортный город и культивирует добрый дух старомодности. Не думаю, чтобы Льюис Кэрролл, как известно, гулявший по этим набережным в 1860-х с маленькой Алисой Лидделл, рассказывая девочке захватывающие истории о Белом Кролике и гусенице с кальяном, а в перерывах прося одолжить панталончики, чтобы утереть вспотевший лоб и, возможно, сделать с нее в комбинации несколько безобидных моментальных снимков, — не думаю, что он заметил бы здесь перемены, разве что отели теперь освещались электричеством. Алисе ныне исполнилось бы — сколько? — 127 лет, и она, может быть, меньше отвлекала бы несчастного математика-извращенца.

К моему великому огорчению, город оказался забит приехавшими на выходные пенсионерами. Все боковые улочки были заставлены машинами со всех концов страны, все отели, куда я заглядывал, были переполнены, и в каждом ресторане я видел в окна толпы — точнее сказать, океаны — склонившихся над супом и кивающих с довольным видом седых голов. Бог весть, что привлекло их в это безрадостное время года на валлийское

побережье.

Дальше по набережной стояли несколько пансионатов, больших и практически неотличимых друг от друга, и в некоторых окнах виднелись объявления о свободных комнатах. Я мог выбирать из восьми или десяти одинаковых, что всегда повергает меня в нервное состояние. Я знаю за собой привычку выбирать неудачно. Моя жена с первого взгляда выберет в ряду пансионатов тот, в котором хозяйничает добродушная детолюбивая седовласая вдовушка, где простыни белы как снег, а ванны сверкают фарфором, между тем как я могу обычно рассчитывать на жадного хозяина с обвисшей сигареткой в зубах и кашлем, который заставляет задуматься, куда он девает мокроту. Такой, с мрачной уверенностью решил я, ждет меня и сегодня.

У дверей каждого пансионата висела доска с перечислением удобств: цветной телевизор, ванна в каждом номере, угощение для новых постояльцев, холодная и горячая вода... Это лишь усугубило мое уныние. Как можно разумно выбирать среди такого множества возможностей? Одни предлагают спутниковое телевидение и гладилку для брюк, другие выделяют крупным курсивом: «*Свежая пожарная лицензия*» — вот уж чем мне в голову не пришло бы поинтересоваться в пансионате. Насколько же проще все было в те дни, когда наибольшим, на что вы могли рассчитывать, была горячая и холодная вода в каждом номере.

Я выбрал заведение, которое снаружи выглядело не хуже других — оно обещало цветное телевидение и кофеварку в номере, а мне больше ничего и не требуется, чтобы с уютом провести субботнюю ночь, — но едва переступил порог и вдохнул запах сырой штукатурки и отставших обоев, как понял, что выбрал не то. Я готов был развернуться и бежать, но владелец уже вышел из комнаты и остановил мой побег негостеприимным:

— Да?

Короткая беседа обнаружила, что за комнату на одного с завтраком берут 19.50 — мягко говоря, грабеж. Остаться в таком сомнительном заведении за столь непомерную цену и думать было нечего, поэтому я сказал:

— Меня это устроит, — и поселился.

Очень трудно сказать «нет».

Комната оправдала все мои ожидания — она оказалась холодной и безрадостной, с меланиновой мебелью, колючим ковром и теми таинственными пятнами на потолке, которые приводят на ум забытый в номере наверху труп. Ледяные пальцы ветра пробирались сквозь щелястую раму единственного окна. Закрывая занавески, я уже не удивлялся, что их

пришлось основательно подергать, заставляя сойтись, и что на середине они так и не встретились. На подносе стояло все, что нужно для кофе, но чашки были — позвольте выразиться снисходительно — отвратительны, а ложки прилипли к подносу. Ванная комната, тускло освещенная огоньком, загоравшимся, если дергали за шнурок, обнаружила выщербленные плитки пола и многолетнюю грязь, набившуюся во все углы и щели. Я рассмотрел желтую кайму на ванне и раковине и понял, куда хозяин деваает свою мокроту. Не могло быть и речи о том, чтобы влезть в эту ванну, и я плеснул холодной водой в лицо, вытерся шершавым, как наждак, полотенцем и с радостью вырвался наружу.

Я долго прохаживался по набережной, чтобы нагулять аппетит и провести время. Прогулка вышла чудесная. Тихий пронзительный воздух, ни души кругом, хотя в окнах отелей по-прежнему весело кивали седые головы. Может, проходил съезд страдающих болезнью Паркинсона? Я прошел набережную из конца в конец, наслаждаясь морозным осенним воздухом и чистой красотой окружения: мягким сиянием отелей слева, чернильной пустотой беспокойного моря справа и россыпью мигающих огоньков на мысах Орм — Большом и Малом.

Я поневоле заметил — теперь это просто бросалось в глаза, — что почти все отели и пансионаты на вид заметно превосходили мой. И почти все без исключения носили имена, оказывающие честь другим местам: «Уиндермир», «Стратфорд», «Клавелли», «Дерби», «Сент-Килда» и даже «Торонто», словно хозяева опасались, как бы напоминание, что они в Уэльсе, не оказалось слишком тяжелым ударом для клиентов. Только одно заведение с названием «Гвели а брекваст» — постель и завтрак — намекало, что я все же, строго говоря, за границей.

Я съел простой обед в маленьком неприметном ресторанчике недалеко от Мостин-стрит, после чего, не чувствуя желания возвращаться в свою мерзкую комнату в состоянии полной трезвости, отправился на поиски паба. В Лландидно на удивление мало этих жизненно важных заведений. Я немало отшагал, пока не нашел один, выглядевший хоть отчасти привлекательно. Изнутри он оказался типичным сельским пабом — и был основательно набит, в основном молодежью. Я сел у стойки, подумав, что так смогу подслушать разговоры соседей и скорее привлеку внимание, когда моя кружка опустеет, однако ни то ни другое не оправдалось. Музыка и общий шум мешали расслышать разговоры, и слишком много жаждущих требовали внимания по всему залу, чтобы единственный бармен вовремя замечал пустой стакан и мое умоляющее лицо.

Итак, я сидел и пил пиво, когда его удавалось заполучить, а в

промежутках наблюдал, чем обычно занимаюсь в подобных обстоятельствах, как завсегдатаи, прикончив свою пинту, подставляют бармену кружку с ошметками пены и золотыми каплями на краях и как тот осторожно наполняет ее с легким переливом, так что излишки пены, полной невидимых бактерий, смывая налипшие крошки закуски, стекают по краям кружки на особый поднос, с которого их методично — я бы сказал, научно — возвращают посредством тонкой пластиковой трубочки обратно в бочку в погребе. Там эти крошечные капли нечистот будут плавать и смешиваться с другими каплями, как хлопья пыли в аквариуме с золотыми рыбками, пока их снова не призовут в чью-то кружку. Если уж мне приходится пить раствор крошек и чужой слюны, я предпочел бы проделывать это в уюте и веселье, сидя в виндзорском кресле у пылающего камина, но такая мечта выглядела совершенно неосуществимой. Как часто случается при таком раскладе, я ощутил внезапное отвращение к пиву и, покинув насест табуретки, возвратился на свою набережную, чтобы лечь спать пораньше.

Наутро я вышел из своего пансиона в мир, лишившийся цветов. Над головой низко нависало тяжелое небо, а от набережной безжизненно протянулось огромное серое море. Я сделал всего несколько шагов, когда дождевые капли принялись морщить воду. Когда я добрался до вокзала, лило уже вовсю. Вокзал Лландидно по воскресеньем закрыт — лучше не задерживаться на сложной мысли, что самый большой курорт в Уэльсе по воскресеньям лишен железнодорожного сообщения, не то вам грозит депрессия, — зато автобус на Блэно-Ввествиниог отходил от станции в 11 часов. На автобусной остановке не нашлось ни скамьи, ни навеса, и укрыться от дождя было негде. Тот, кто в наше время много передвигается по Британии общественным транспортом, скоро начинает ощущать себя принадлежащим к некому подклассу никому не нужных существ, вроде инвалидов или безработных, о которых каждый в глубине души думает, что лучше бы их не было. Вот и я почувствовал себя таким же — а ведь я богат и здоров и безмерно хорош собой. Каково же быть бедным, или лишиться здоровья, или еще по каким-то причинам оказаться неспособным принять участие в отчаянной гонке всей нации к солнечным склонам горы Жадность?

Мне очень заметно, насколько все изменилось за последние двадцать лет. Когда-то жизнь в Британии несла в себе несказанное благородство. Самим своим существованием, тем, что ходит на работу и платит налоги, временами ездит на автобусе и вообще ведет себя прилично, всякий, сколь бы непримечателен он ни был сам по себе, чувствовал, что вносит свой

малый вклад в великое предприятие — доброжелательное и благонамеренное общество со здоровой заботой о каждом, достойной системой общественного транспорта, умным телевидением, распространявшейся на всех системой соцобеспечения и прочим. Не знаю, как вы, а я всегда гордился принадлежностью к этому, тем более что и делать ничего, в сущности, не приходилось — ни проливать кровь, ни покупать бумаги государственного займа, ничего из ряда вон выходящего, — вы все равно являлись крошечной, но полезной частицей общества. А ныне, что бы вы ни предпринимали, все равно останетесь виноватым. Отправляйтесь на загородную прогулку — вам напоминают, что вы загрязняете национальные парки и увеличиваете эрозию хрупких холмов, протаптывая пешеходные тропы. Попробуйте проехаться в спальном вагоне до Форт-Уильяма, или поездом по линии Сетлл-Карлайл, или автобусом от Лландидно до Блэно в воскресный день, и вы начнете застенчиво ерзать, сознавая, что все эти виды транспорта постоянно требуют огромных субсидий. Едете ли вы на собственной машине, ищете работу или жилье — вы отнимаете у других ценное пространство и время. А уж если вам нужна медицинская помощь... Ну до какого же эгоизма и бесчувствия может дойти человек? (Мы можем прооперировать ваш вросший ноготь, мистер Смит, но само собой, для этого придется отключить какой-либо из приборов жизнеобеспечения, поддерживающих жизнь ребенка.)

Мне страшно подумать, во что обошлась компании «Транспорт Гвинедда» доставка меня в Блэно-Ввестиног в то мокрое воскресное утро — ведь я был единственным пассажиром, не считая юной леди, присоединившейся к нам в Бетос-и-Коэд и покинувшей нас вскоре после того в местечке с любопытным названием Понт-и-Пант. Я затеял эту поездку в надежде посмотреть Сноудонию, но дождь так заливал автобусные стекла, что мне ничего не было видно — только тусклая ржавая жесткая трава и на ней кое-где очень грустные овцы. Дождь барабанил по стеклам, словно в них швыряли камнями, автобус опасно кренился под порывами ветра, и все вместе напоминало шторм на море. Автобус упрямо скрежетал по извилистым горным дорогам, дворники на лобовом стекле выбивались из сил, мы в туче взобрались на плато и начали неудержимый опасный спуск к Блэно-Ввестиног по бесчисленным грудам блестящих от дождя обломков сланца. Когда-то здесь был центр сланцедобывающей промышленности Уэльса, и отходы покрывали каждый дюйм земли, придавая ландшафту жуткий неземной вид, подобного какому я не встречал нигде в Британии. В эпицентре этого неземного пейзажа стояла деревушка

Блэно, сама похожая на грудку сланца, хотя, может быть, виной тому непроглядный ливень.

Автобус высадил меня в центре поселка, у станции знаменитой железнодорожной ветки. Теперь она перешла в частную собственность, управляла ею кучка энтузиастов, и я рассчитывал доехать по ней через горы в Портмандог. Вход на платформу был открыт, а вот двери зала ожидания, туалетов и билетных касс оказались крепко заперты. Я взглянул на зимнее расписание, висевшее на стене, и с отчаянием увидел, что у меня из-под носа — буквально из-под носа — ушел поезд. В недоумении я вытащил из кармана потрепанное автобусное расписание и с еще большим отчаянием обнаружил, что автобус действительно должен был прийти так, чтобы опоздать к единственному дневному поезду из Блэно. Водя пальцем по расписанию поездов, я вычислил, что следующего поезда ждать четыре часа. Следующий автобус опаздывал к нему на несколько минут. Как это могло получиться, и главное, как мне убить четыре часа в этом забытом богом, промоченном ливнем местечке? Остаться на платформе невозможно. Было холодно, и косой дождь заливал даже самые укромные уголки под навесом.

Бормоча себе под нос недобрые слова о «Транспорте Гвиннеда» и железнодорожной компании «Блэно-Ввестиниог», о британском климате и собственной сумасшедшей дури, я отправился в городок. Это Уэльс, и воскресенье — все закрыто и на улочках ни малейших признаков жизни. Не увидел я и ничего похожего на отель или пансион. Мне пришло в голову, что в такую погоду поезда могут вовсе отменить, и тогда я по-настоящему влип. Я промок насквозь, замерз и очень, очень приуныл. На дальнем конце поселка нашелся ресторанчик под названием «Миваннви», и — чудо! — он работал. Я бросился в манящее тепло, отлепил от себя мокрую куртку и свитер и устроился сушить закурчавившиеся вдруг волосы у радиатора. Я был единственным клиентом. Я заказал кофе и немножко чего-нибудь поесть и упивался теплом и сухостью. Под потолком напевал веселенькую песенку Нат Кинг Коул. Я смотрел, как хлещут по улице струи дождя, и уговаривал себя, что когда-нибудь этот день станет далеким прошлым.

Если тот день в Блэно чему и научил меня, так это тому, что чашку кофе и сырный омлет не растянешь на четыре часа. Я старался есть как можно медленнее и заказал вторую чашку кофе, но, как ни деликатно я откусывал и прихлебывал, через час стало ясно, что надо либо уходить, либо платить ренту, и я неохотно собрал вещи. У кассы я объяснил добродушной паре хозяев, в какое положение попал, и оба сочувственно

повздыхали, как делают добрые люди, столкнувшись с чужими неприятностями.

— Он мог бы сходить в карьер, где добывали сланец, — предложила жена, обращаясь к мужу.

— Да, можно сходить в карьер, — согласился муж и обернулся ко мне. — Вы можете сходить в карьер, — сказал он, словно я мог не слышать предыдущего обмена мнениями.

— Да, а что там? — сказал я, стараясь скрыть сомнение в голосе.

— Старые копи. Там проводят экскурсии.

— Очень интересные, — вставила жена.

— Да, очень интересные, — согласился муж. — Правда, идти далековато.

— И в воскресенье может оказаться закрыто, — сказала жена. — Теперь не сезон, — пояснила она.

— Конечно, вы могли бы взять такси, если не хочется идти пешком в такую погоду, — сказал муж.

Я уставился на него. Такси? Он сказал «такси»?!. В такое чудо и поверить трудно.

— В Блэно есть такси?

— Ну да, — отозвался муж с таким видом, словно ими-то Блэно и славен. — Хотите, я вызову такси отвезти вас к карьере?

— Ну... — замялся я, подбирая слова.

Эти люди были так добры, и мне не хотелось проявлять неблагодарность, но, с другой стороны, экскурсия по сланцевым копиям под дождем в мокрой одежде казалась мне не более привлекательной, чем визит к проктологу. — А как вы думаете, такси не могло бы отвезти меня в Портмандог?

Я не представлял, насколько это далеко, и не смел надеяться.

— Конечно, — сказал хозяин.

Он вызвал мне такси, и не успел я оглянуться, как хозяева уже провожали меня самыми добрыми пожеланиями, и я садился в машину, чувствуя себя жертвой кораблекрушения, спасенной случайным кораблем. Передать не могу, с каким восторгом я смотрел на скрывающийся позади Блэно.

Таксистом оказался дружелюбный молодой человек, и за двадцатиминутную поездку до Портмандога он снабдил меня важными экономическими и социологическими сведениями относительно полуострова Двивор. Больше всего меня потрясло известие, что по воскресеньям на полуострове царит сухой закон. От Портмандога до

Абердарона вы даже ради спасения жизни не получите и глотка спиртного. Я и не знал, что в Британии еще сохранились такие островки незыблемой нравственности, но был столь рад вырваться из Блэно, что мне было все равно. Портмандог, под беспощадным ливнем прижавшийся к морю, оказался серым и незапоминающимся местечком, полным мокрого бульжника и темного камня. Невзирая на дождь, я тщательно перебрал немногочисленные местные отели — после ночевки в безрадостном пансионе я чувствовал, что заслужил немного комфорта и роскоши. Я выбрал гостиницу «Королевский спортсмен». Мне достался удобный и чистый, хотя и ничем не выдающийся номер, а большего и не требовалось. Я заварил себе кофе, переоделся, пока закипал чайник, в сухую одежду и уселся на краю кровати с чашкой и сдобным печеньем. По телевизору шла мыльная опера «Побол и Ком», доставившая мне большое удовольствие. Разумеется, я ни слова не понимал, но с уверенностью скажу, что игра актеров и сама постановка были лучше, чем в любом сериале, выпущенном, скажем, в Швеции или Норвегии — или в Австралии, если на то пошло. По крайней мере, когда кто-нибудь хлопал дверью, стены не качались. Было очень любопытно смотреть на людей, существующих в узнаваемо английском мире — они пили чай и носили кардиганы из «Маркс и Спенсер», но говорили по-марсиански. Я с интересом отметил, что порой они вставляли английские слова: «Ух ты!», «Ну, тогда...» и «О'кей», видимо, непереводимые на валлийский, — а в особо запомнившемся мне месте один из персонажей произнес фразу, звучавшую как «Вулх илх ааргх ибси ком паршивый уикенд, понимаешь ли!» — я был в восторге. Как мило со стороны валлийцев не иметь собственного названия для незаконного безделья между пятницей и понедельником!

Ко времени, когда я допил свой кофе и вернулся на улицу, дождь временно унялся, но улицы были залиты огромными лужами: стоки не справлялись с таким объемом воды. Поправьте меня, если я не прав, но если какой нации и пора бы уже освоить искусство дренажа, так это британской. Так или иначе, автомобили дерзко подражали глиссерам, преодолевая эти временные озера, и заливали брызгами соседние дома и магазины. Памятуя о своем столкновении с лужами в Уэстоне и о том, что в этом городке по воскресеньям воистину нечего делать, я пробирался по Хай-стрит с особой осторожностью.

Я сунул нос в туристский информационный центр, где обзавелся брошюрой, сообщавшей, что Портмандог построен в начале девятнадцатого века для вывоза сланца из Блэно неким Александром Мэддоксом и что к концу того же века тысяча кораблей в год перевозили из

этого порта 116 000 тонн валлийского камня. Ныне причалы, как и следовало ожидать, приспособлены для проживания яппи — булыжные мостовые и модные квартирki. Я из вежливости осмотрел их и переулком по задворкам гавани прошел в район маленькой верфи и других морских предприятий, вверх по одному склону застроенного домами холма и вниз по другому. За холмом стояла тихая деревушка Борт-и-Гест с кирпичными виллами по берегу подковообразной бухты с роскошным видом через Трает-Бах на мыс Харлех и бухту Тремадок за ним. Борт-и-Гест сохранил очаровательный дух старины. Посреди деревни, с видом на залив, стояла почтовая контора, а рядом с ней висел синий полотняный навес, на свисающей части которого виднелись надписи «Сласти» и «Мороженое», а рядом находилось заведение под названием «Кафе с видом на море». Все это местечко словно явилось со страниц «Приключений на острове». Я был очарован с первого взгляда.

По травянистой тропинке над морем я прошел к концу мыса. Даже под низкими тучами открывался великолепный вид через залив Гласлин на хребет Сноудон. Дул порывистый ветер, и волны внизу грозно бились о скалы, но хотя бы дождь приустал, и воздух был свежим и сладким, как бывает только у моря. Смеркалось, и я, из опасения присоединиться к волнам у подножия утеса, предпочел вернуться в город. Там я увидел, что и то небольшое, что раньше работало, уже закрылось. Только один маячок неярко разгонял смыкающуюся тьму. Поднявшись к источнику света, я с интересом обнаружил, что вижу южную конечную станцию и штаб-квартиру знаменитой железной дороги из Блэно-Вестиниог.

Захотелось изучить нервный центр организации, доставившей мне столько сильных и мучительных переживаний, и я вошел внутрь. Хотя подходило уже к шести, все вокзальные книжные киоски были открыты и окружены любопытствующими читателями. Я сунул нос в один из них. Это было исключительное заведение: целые полки книг с заголовками вроде «Железные дороги долины Уинион и залива Мэйвддах» или «Полная энциклопедия сигнальных будок». Здесь были многотомные серии книг с названиями «Поезда в беде», со множеством фотографий столкновений, сошедших с рельсов поездов и иных катастроф — литература, способная, надо полагать, пощекотать нервы железнодорожного фанатика. Для тех, кто ищет более животрепещущих ужасов, имелись десятки фильмов. Я взял наугад диск «Ралли ста паровозов в Ханслете, 1993 год» с крупной этикеткой, сулившей «сто минут жаркого действия». Наклейка под ней гласила: «Внимание: содержит откровенные сцены между тяжелым «Стеррок 0-6-0» и «GWR Хоппер»». Понятно, последнюю я только что

выдумал, но меня немало изумило, что люди вокруг просматривали книги и кассеты с той же глубокой безмолвной сосредоточенностью, какую можно увидеть в порномагазинах, и мне вдруг пришло в голову, что увлечение паровозами таит в себе неведомые некоему Брайсону наслаждения.

Согласно плакату на стене в билетной кассе, железная дорога Блэно-Вестиниог была основана в 1832 году и является старейшей из действующих в мире. Из того же плаката я узнал, что в железнодорожное общество входят 6000 членов — число, которое, как ни крути, поставило меня в тупик. Хотя последний дневной поезд уже прибыл, в билетной кассе все еще кто-то сидел, и я решил подвергнуть его допросу по поводу несогласованности автобусной и железнодорожной службы в Блэно. Не знаю уж, отчего, ведь я был само очарование, он помрачнел, словно я неодобрительно отозвался о его жене, и раздраженно проговорил:

— Если «Транспорт Гвиннеда» хочет, чтобы люди поспедали на дневной поезд, пусть отправляет автобусы раньше.

— Но с тем же успехом, — настаивал я, — вы могли бы отправлять поезда несколькими минутами позже.

Он взглянул на меня, словно я высказал безумно дерзкую мысль, и спросил:

— С какой стати?

Вот видите, в чем беда с этими энтузиастами железных дорог? Они не внемлют доводам разума, вздорны, опасно неуживчивы и многие, как этот, например, отращивают усики, как у Майкла Фиша^[33], при виде которых так и хочется растопырить два пальца и ткнуть ему в глаза.

Более того, благодаря журналистскому расследованию, произведенному мной в книжном киоске, я с уверенностью утверждаю, что их можно серьезно заподозрить в совершении противоестественных актов с паровозными видео. Ради их же собственного блага и для блага общества их следовало бы засадить за колючую проволоку.

Мне пришло в голову тут же на месте произвести гражданский арест: «Именем ее величества королевы задерживаю тебя за преступное невнимание к согласованию расписаний, а также за обладание отвратительными и неприличными усишками!», но великодушные победило, и я отпустил кассира, наградив лишь суровым взглядом да многозначительным сообщением, что прежде в аду настанет холодный денек, чем я еще хоть раз близко подойду к его железной дороге. Думаю, намек он понял.

Глава двадцать первая

Утром я отправился на вокзал Портмандог — не на игрушечный поезд в Блэно-Вестиниог, а на настоящую британскую железную дорогу. Вокзал был закрыт, но на платформе ждали несколько человек, привычно старавшихся не встречаться взглядами и, сдается мне, занимавших одни и те же места изо дня в день. Я почти уверен в своей догадке, потому что, пока я стоял там, думая о своем, подошел человек в деловом костюме и воззрился на меня сперва с изумлением, а потом и с негодованием. Очевидно, я занял принадлежавший лично ему квадратный метр платформы. Он занял позицию в нескольких футах в стороне и поглядывал на меня с выражением, которое отделяло от ненависти куда меньше миллиона миль. Как иногда просто, подумалось мне, создавать в Британии врагов. Довольно встать не там, где надо, или развернуть свою машину на подъездной дорожке — на том типе было прямо таки написано «РАЗВОРОТА НЕТ», — или нечаянно занять чужое место в поезде, и тебя будут тихо ненавидеть до могилы.

Наконец подошел двухвагонный «подкидыш», и мы загрузились. Честное слово, это самые неудобные, утилитарные, глубоко непривлекательные поезда: сиденья с жестким краем, необъяснимая одновременность горячих и холодных сквозняков, резкое освещение и, сверх всего, невыносимая гамма цветов, со всеми этими оранжевыми полосами и невероятно щегольскими шевронами. Кому пришло в голову, что пассажирам поезда, особенно в ранний утренний час, приятно оранжевое окружение? Я с тоской вспоминал старые поезда, еще ходившие в ту пору, когда я только приехал в Британию: в них не было скамей, а были купе с отдельными входами, каждое — маленький мир в себе. Открывая дверь такого купе, вы неизменно испытывали волнение, не зная, что за ней окажется. Было нечто приятно интимное и непредсказуемое в столь тесной близости с незнакомцами. Помнится, в одном из таких поездов моего соседа по купе, застенчивого молодого человека в тренче, вдруг щедро стошнило на пол — в то время по стране ходил грипп, — причем у него хватило наглости сойти на следующей станции, оставив нас троих весь вечер сидеть со стянутыми лицами, поджимая ноги и притворяясь по неподражаемому британскому обычаю, будто ничего не случилось. Если подумать, может, и к лучшему, что тех поездов больше не осталось. И все-таки я недоволен оранжевыми шевронами.

Мы ехали вдоль берега через широкие речные устья, между скалистыми холмами, мимо серого плоского пространства залива Кардиган. Названия попадавшихся по пути городков звучали как клубок в кошачьих лапках: Лливингвилл. Морфа Мауддах, Лландеквин, Диффрин Ардудви. В Пенриндэудрэте поезд наполнился разновозрастными детьми в школьной форме. Я ожидал воплей, табачного дыма и летающих по вагону предметов, но дети оказались безупречно благовоспитанными, все до единого. Вышли все они в Харлехе, и в вагоне вдруг стало пусто и тихо — так тихо, что мне стал слышен разговор, который сидевшая позади меня пара вела на валлийском, и я просто заслушался. В Бармуте мы пересекли еще одно широкое речное устье по шаткому на вид деревянному мостику. Я где-то читал, что на несколько лет этот мост закрывали, и Бармут до недавнего времени был конечной станцией на линии. То, что БЖД выделили деньги на ремонт моста и открытие линии, выглядит чудом, но ручаюсь, что если вернуться сюда через десять лет, эта полузабытая линия-работяга окажется в руках энтузиастов вроде тех, из Блэно-Ввествиниог, и какой-нибудь хлыщ с усишками скажет мне, что в Шрусбери я не попаду, потому что мои планы не согласуются с их расписанием.

Так что спустя три четверти часа и 105 миль я порадовался, что попал в Шрусбери, пока это еще возможно. Далее я намеревался повернуть на север и продолжить свой марш к мысу Джон-о-Гроутс, но, проходя по платформе, услышал объявление о посадке на Ладлоу и, повинувшись какому-то порыву, сел в поезд. Столько лет мне твердили, что Ладлоу — прекрасное место, и тут мне вдруг пришло в голову, что, возможно, это мой последний шанс его повидать. Вот каким образом я через двадцать минут высадился на пустынную платформу в Ладлоу и отправился по длинному склону холма вверх, к городку.

Ладлоу и в самом деле очаровательное и приятное местечко на холме над рекой Тем. Там, кажется, есть все, чего можно пожелать от селения, — книжная лавка, кино, завлекательные на вид чайные и булочные, пара «семейных мясников» (мне всегда хочется спросить: сколько возьмете за разделку моей?), старомодный «Вулворт» и обычный ассортимент аптек, пабов, галантерей и тому подобного, причем все оформлены достойно и с уважением к среде. Гражданское общество Ладлоу позаботилось повесить на многих зданиях таблички, извещающие, кто в них жил. Одна такая висела на стене «Анджелы» — старой почтовой станции-гостиницы на Брод-стрит, ныне, к сожалению — надеюсь, что временно, — закрытой. Эта табличка сообщала, что знаменитая почтовая карета «Аврора» когда-то покрыла сотню или около того миль до Лондона за 27 часов, что

доказывает, как далеко ушел прогресс. Теперь Британская железная дорога сократила этот срок чуть ли не вдвое.

По соседству мне попала на глаза организация под названием «Отделение лиги защиты кошек Ладлоу и округа». Я был заинтригован. Что же такое, гадал я, народ в Ладлоу вытворяет со своими кошками, что для их защиты понадобилась особая служба? Возможно, я смотрю не под тем углом, но не представляю, что может заставить меня пожертвовать хоть какую-то сумму на защиту кошачьих интересов — разве что вы начнете поджигать кошек и швырять ими в меня. Ничто другое — разве что трогательная вера в прогноз погоды, да повсеместная любовь к шуткам со словом «задница» — не заставляет меня столь остро ощущать себя в Британии иностранцем, как национальное отношение к животным. Известно ли вам, что Национальное общество по предотвращению жестокого обращения с детьми было основано на шестьдесят лет позже основания Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными и как филиал последнего? Знаете ли вы, что в 1994 году Британия проголосовала за директиву ЕС об обязательном периоде отдыха при транспортировке животных, но против обязательного отпускного периода для фабричных рабочих?

Но, даже отвлекаясь от этих курьезов прошлого, мне кажется странным, что целая служба, явно с хорошим финансированием, занимается благополучием и благосостоянием кошек Ладлоу и окрестностей. Не менее того заинтересовало меня такое территориальное самоограничение — кошки за пределами Ладлоу и его округа никого не волнуют? Хотелось бы знать, что произойдет, если члены лиги застанут вас дразнящим кошку по ту сторону границы округа? Отвернутся и скажут: «Вне нашей юрисдикции»? Кто знает? Только не я, потому что, когда я вздумал зайти и поинтересоваться, выяснилось, что контора закрыта. По-видимому, все члены лиги разошлись — прошу не видеть в сказанном намека! — на ланч.

Туда же решил отправиться и я. Я перешел через дорогу к приятному бару-закусочной, где сразу превратил себя в отверженного, заняв столик на четверых. Когда я вошел, там было практически пусто, и я, нагруженный рюкзаком и норовившим опрокинуться подносом, сел за первый подвернувшийся стол. Однако народ тут же повалил со всех четырех сторон, и все время своего короткого ланча я ловил на себе укоризненные взгляды людей, вынужденных из-за меня занимать менее популярные «дополнительные места наверху». Я старался есть побыстрее и держаться поскромнее, и все же человек, сидевший за два столика от меня, успел

подойти и с намеком спросить, нужен ли мне свободный стул. Он унес стул, не дожидаясь ответа, а я проглотил остатки ланча и, посрамленный, выскользнул за дверь.

Я вернулся на станцию и купил билет на следующий поезд до Шрусбери и дальше, на манчестерский Пикадилли. Из-за какой-то аварии на линии поезда опаздывали на сорок минут. На станции было тесно и пассажиры нервничали. Чтобы найти себе место, я потеснил целое купе народу. Они сердито подвинулись, провожая меня гневными взглядами, — еще враги! Ну и денек выдался! Я уселся, не снимая теплой куртки, втиснувшись с громоздким рюкзаком на коленях в крошечный уголок. Я еще питал смутную надежду попасть в Блэкпул, но не мог и пальцем шевельнуть, даже чтобы достать из кармана железнодорожное расписание и посмотреть, где надо сделать пересадку, так что оставалось лишь сидеть смиренно и надеяться на пересадку в Манчестере.

У Британских железных дорог выдался неудачный день. Мы проползли от станции милю или около того, а потом поезд встал и долго простоял без видимых причин. Наконец машинист объявил, что из-за неполадок дальше на линии этот поезд проследует только до Стокпорта, чем вызвал общий стон. Еще двадцать минут спустя поезд неуверенно двинулся дальше, ковыляя через зеленые луга. На каждой станции бесплотный голос приносил извинения за опоздание и за сокращение маршрута. Когда через девяносто минут мы прибыли в Стокпорт, я ждал, что все выйдут, но никто не двинулся с места, поэтому остался и я. Лишь один пассажир, японец, честно высадился и потом с отчаянием смотрел вслед поезду, отправившемуся без объяснения причин — и без него — в Манчестер.

В Манчестере я обнаружил, что мне нужно ехать до Престона, и пошел искать телеэкран, но тот давал только станцию назначения и не показывал промежуточных. Тогда я пристроился к очереди пассажиров, спрашивающих у охранника БЖД дорогу в разные места. К несчастью для него, ни на одной ветке не было станции «Вали на хрен», а именно эти слова так и рвались у него с языка. Меня он отправил на платформу 13, к ней я и отправился, но последней оказалась платформа номер 11. Я вернулся к тому парню и сообщил, что не могу найти тринадцатой платформы. Оказалось, на нее есть выход через потайную лесенку и через эстакаду. Как видно, это была платформа пропавших поездов. На ней стояла целая толпа жалких и растерянных пассажиров, похожих на народ из скетча «Монти Пайтон» о молочнике. Кончилось тем, что всех нас послали обратно на платформу 3. Прибывший поезд оказался, само собой,

двухвагонным «подкидышем». В него и втиснулись все 700 человек. И вот, через семнадцать часов после того, как утром покинул Портмандог, голодный, усталый, всклокоченный и обескураженный, я прибыл в Блэкпул, куда мне, собственно говоря, не особенно и хотелось.

Глава двадцать вторая

Блэкпул — сколько ни повторяй, это не перестает поражать — привлекает ежегодно больше приезжих, чем Греция, и имеет больше спальных мест для отдыхающих, чем вся Португалия. И поглощает больше чипсов на душу, чем вся планета (расправляется с сорока акрами картофеля в день). «Русских горок» в нем больше, чем во всей Европе. Тут находится второй по популярности на континенте туристский аттракцион — 42-акровый пляжный парк отдыха, и только Ватикан побивает 6,5 миллионов его ежегодных визитеров. Здесь самые знаменитые иллюминации. А пятничными и субботними вечерами тут действует больше общественных туалетов, чем где бы то ни было в Британии, — правда, в других местах их называют подворотнями.

Что бы вы ни думали об этом месте, то, что делает, оно делает хорошо — а если и не очень хорошо, то, по крайней мере, очень успешно. За последние двадцать лет, когда число традиционно отдыхающих на море британцев сократилось на одну пятую, Блэкпул на 8 процентов увеличил число визитеров и зарабатывает на туризме 250 миллионов фунтов в год — немалое достижение, учитывая британский климат и тот факт, что Блэкпул — уродливый, грязный городишко, добираться до него отовсюду далеко, его море — открытый туалет, а его аттракционы дешевые, провинциальные и скучные.

Меня привела сюда иллюминация. Я так долго слушал и читал о ней, что просто изнывал от нетерпения увидеть своими глазами. И вот, заняв номер в скромном пансионе на боковой улочке, я поспешил на набережную, сам не зная, чего ожидать. Ну, скажу я вам, иначе как помпезной блэкпулскую иллюминацию не назовешь, а кроме помпезности в ней ничего нет. Конечно, каждому грозит разочарование, когда он наконец воочию видит то, что так долго стремился увидеть, но и в степени разочарования с блэкпулским световым шоу ничто не сравнится. Я-то думал, лазеры будут бороздить небо, стробоскопы разрисуют облака и вообще будет нечто потрясающее. А увидел просто-напросто процессию старых трамваев, декорированных под ракеты или рождественские хлопушки, и несколько миль жалких гирлянд на фонарных столбах. Полагаю, человек, незнакомый с действием электричества, мог бы разинуть рот, но даже за это не поручусь. Просто пижонство и по большому счету — фальшивка, как и весь Блэкпул.

Что поразило меня не меньше скудости иллюминации — какие толпы народа собрались полюбоваться зрелищем. Машины шли по набережной бампер к бамперу, к стеклам прижимались лица детей, и масса счастливых людей бродила по просторной прогулочной части. То и дело попадались лоточники, продающие светящиеся ожерелья, браслеты и прочие недолговечные забавы, и товар их просто сметали с лотков. Я как-то читал, что половина посетителей Блэкпула побывала там не меньше десяти раз. Бог весть, что они тут находят. Я прошелся по набережной примерно с милю и не отыскал в ней ничего притягательного — а я, как вы должны были уже понять, большой любитель показухи. Может, я просто был не в духе после утомительного путешествия из Портмандога, но никакого энтузиазма все это во мне не пробудило. Я брел мимо ярко освещенных пассажей, заглядывал в залы для игры в бинго, но праздничная атмосфера, заразившая всех и каждого, меня не захватывала. Я удалился в рыбный ресторан на тихой улочке, где получил морского окуня с чипсами и горошком, попросил соус тартар, за что на меня посмотрели как на капризулю-южанина, и в который раз рано ушел спать.

Утром я поднялся пораньше, чтобы дать Блэкпулу второй шанс. При дневном свете он мне понравился значительно больше. На прогулочной набережной было полно решетчатых чугунных беседок с куполами-луковками, торгующих конфетами «морские камешки», нугой и прочими липкими сладостями, не замеченными вчера в темноте, а пляж был огромным, пустынным и вполне приемлемым. Длина блэкпулского пляжа — 7 миль, а самое любопытное в нем — что официально он не существует. Я не выдумываю. В конце 1980-х, когда ЕС принял директиву о минимальном стандарте сброса отходов в океан, оказалось, что почти все приморские поселки Британии не дотягивают даже до минимального уровня. В большей части городов покрупнее, как Блэкпул, дерьмомер, или как он там называется, просто зашкаливало. Правительство столкнулось с очевидной проблемой: ему совершенно не хотелось тратить деньги на британские пляжи, ведь на Мустикве и Барбадосе хватало отличных пляжей для богатых, и оно издало распоряжение — столь вопиющее, что мне самому трудно поверить, но это правда, — что в Брайтоне, Блэкпуле, Скарборо и многих других ведущих курортах купальных пляжей, строго говоря, нет. Бог знает, как обозначили эти песчаные пространства — промежуточные буферные отстойники, надо полагать, — зато от проблемы избавились, не решая ее и не потратив ни пенса из казны, и это, конечно, главное, а в случае с нынешним правительством — вообще единственное, что имеет значение.

Но хватит политической сатиры! Оставим ее и поспешим в Моркам. Туда я отправился, пересаживаясь с одного дребезжащего «подкидыша» на другой, отчасти, чтобы провести показательное сравнение с Блэкпулом, но больше потому, что я люблю Моркам. Не знаю точно, за что, но люблю.

Сейчас, глядя на него, трудно поверить, что не так давно Моркам соперничал с Блэкпулом. На самом деле, начиная с 1880-х годов и много десятилетий после того, Моркам был воплощением северного английского курорта. В нем впервые в Британии устроили иллюминацию на набережной. В нем родились бинго, надписи на скалах и спиральные горки. В праздничные недельные каникулы, когда северные фабрики целиком выезжали на отдых (они называли Моркам Брэдфордом-на-море), в здешних пансионах и отелях собирались до 100 000 приезжих. Во времена высшего расцвета в Моркаме было два больших вокзала, восемь музыкальных залов, восемь кинотеатров, аквариум, ярмарка развлечений, зверинец, вращающаяся башня, плавучий сад, Летний павильон, Зимний сад, самый большой в Британии плавательный бассейн и два причала. Один из них, центральный, входил в число самых красивых и необычных в Британии, со сказочными башнями и крышами-куполами — арабский дворец, выплывший в Моркамский залив.

Здесь было больше тысячи пансионов, зарабатывавших на массах, но имелись и более высококлассные заведения для тех, у кого запросы повыше. Труппы «Олд Вик» и «Саддлерс Уэллс» проводили здесь целые сезоны. Элгар дирижировал оркестром в Зимнем саду, а Нелли Мелба пела. И здесь прижились многие отели, равнявшиеся на лучшие из европейских, такие как «Гранд-отель» и «Бродвей», где в начале двадцатого века клиенты с толстыми кошельками могли выбирать из дюжины разновидностей водных ванн, в том числе между «игольчатым, соленым, пенным, пломбирным и шотландским душем».

Все это я знал, потому что прочел книгу «Потерянный курорт: прилив и отлив в Моркаме» местного приходского священника по имени Роджер К. Бингем. Она не только исключительно хорошо написана (замечу кстати, просто поразительно, сколько в этой стране хороших краеведческих работ), но и полна фотографий Моркама в его лучшие времена, и все снимки ошеломляюще отличались от видов, оказавшихся передо мной, когда я сошел с поезда — один из трех высадившихся пассажиров — и двинулся по солнечной, но выцветшей до изумления Марин-роуд.

Трудно сказать, когда и отчего начался упадок Моркама. Он еще оставался популярным в 1950-х — в 1956 году в нем было 1300 отелей и пансионов, в десять раз больше, чем теперь, — но величие стал утрачивать

задолго до того. Знаменитый центральный причал сильно пострадал при пожаре в 1930 году и постепенно превратился в нелепую руину. В 1990 году город официально удалил причал с городской карты — попросту притворился, что выступающей в море груды развалин, доминирующих над набережной, как бы не существует. Между тем причал Вест-энд снесло зимним штормом в 1974 году, великолепный мюзик-холл «Альгамбра» сгорел в 1970-м, а двумя годами позже снесли театр «Ройялти», чтобы освободить место для торгового центра.

Уже в начале семидесятых упадок Моркама ощущался явно. Одна за другой исчезали местные достопримечательности — почтенный плавательный бассейн в 1978 году, Зимний сад в 1982 году, воистину великолепный «Гранд-отель» — в 1980-х, когда люди променяли Моркам на Блэкпул и испанское побережье. К концу восьмидесятых, по словам Бингема, вы могли купить большой и гордый когда-то отель на набережной, такой как пятиэтажный «Гросвенор», по цене небольшого подержанного домика в Лондоне.

Сегодня потрепанная набережная Моркама состоит в основном из пустующих залов бинго и игровых автоматов, лавочек «Все за 1 доллар» и бутиков, торгующих со скидкой такой дешевой и никому не нужной одеждой, что ее можно выставить на вешалках наружу и оставить без присмотра. Многие из этих магазинов пустуют, а другие часто выглядят временными. Ирония из иронии — город снова стал Брэдфордом-на-море. Моркам пал так низко, что прошлым летом не смог найти даже поставщика пляжных шезлонгов. Когда приморский курорт не может найти человека, который взялся бы расставлять шезлонги, ясно, что дела его плохи.

И все же в Моркаме есть свое очарование. Его прогулочная набережная хороша и содержится в порядке, а просторная бухта (174 квадратных мили, обратите внимание) очень может быть самой красивой в мире, и через нее открываются незабываемые виды на зеленые и голубые холмы Озерного края: Скафелл, Конистон Олд Мэн и пики Лангдэйл.

На сегодняшний день все, что осталось от золотого века Моркама, — отель «Мидлэнд»: щеголеватое, веселое, сверкающее белизной здание в стиле арт-деко с размашистым плавным фасадом, возведенное на набережной в 1933 году. Бетонные постройки в 1933 году были в моде, но, как видно, бетон оказался не по карману местным строителям, и они использовали аккрингтонский кирпич, покрыв штукатуркой, чтобы он походил на бетон, — как это мило! Сегодня отель потихоньку осыпается и просвечивает здесь и там ржавыми пятнами. Большая часть первоначального интерьера пропала при частых и небрежных ремонтах,

несколько больших статуй работы Эрика Гилла, некогда украшавших вход и залы, исчезло неизвестно куда, но отель хранит безупречное очарование тридцатых годов.

Совершенно не представляю, где «Мидлэнд» нынче берет клиентов. Пока я там блуждал, ни один клиент не появился, и я выпил чашку кофе в пустом солнечном зале с видом на залив. Одна из милых черточек современного Моркама — куда бы ты ни пришел, тебя встречают с распростертыми объятиями. Я наслаждался превосходным сервисом и превосходным видом — два обстоятельства, о которых, насколько я могу судить, нечего и мечтать в Блэкпуле. Выходя, я заметил в столовой большую белую гипсовую статую русалки работы Гилла. Я вернулся осмотреть ее и обнаружил, что хвост статуи, стоявшей, наверное, целое состояние, плотно примотан клейкой лентой. Эта статуя могла бы послужить неплохим символом города.

Я снял комнату в пансионе у моря — меня принимали с радостным удивлением, словно хозяин успел позабыть, что все эти комнаты наверху сдаются гостям — и провел вторую половину дня прогуливаясь с книгой Роджера Бингема, высматривая виды и пытаюсь вообразить город в лучшие дни, а заодно временами благодетельствуя своим посещением трогательно благодарные чайные.

Денек выдался теплый, и по набережной гуляли много людей, в основном пожилых, однако не заметно было, чтобы кто-нибудь тратил деньги. От нечего делать я предпринял долгую прогулку вдоль берега к Карнфорту, а обратно вернулся по песку, поскольку был отлив. Мне пришло в голову, что удивляться приходится не упадку Моркама, а тому, что он когда-то процветал. Трудно представить менее подходящее место для курорта. Пляж состоит из жуткой клейкой грязи, а огромная бухта из-за изменчивости приливов часто оказывается без воды. При низкой воде можно пройти через нее 6 миль до Камбрии, но говорят, опасно делать это без проводника, или песчаного лоцмана, как их здесь называют. Я как-то пообщался немного с одним таким лоцманом, рассказывавшим страшные истории о каретах и лошадях, пытавшихся пересечь бухту при отливе и навсегда пропадавших в предательских зыбучих песках. Даже и теперь бывает, что люди заходят слишком далеко, и прилив отрезает их от берега. Более неприятного способа закончить вечер я и представить не могу.

Чувствуя себя отважным и дерзким, я прошел несколько сотен ярдов по песку, разглядывая следы червей и любопытные размытые отпечатки, оставленные отступающей водой, но не забывал о зыбучих песках; на самом деле они — вовсе не песок, а илистая глина, и если в нее попадешь,

в самом деле может засосать. Приливы и отливы в Моркаме не так стремительны, как в устье Северна, зато вода подкрадывается с разных сторон, а это даже опаснее, потому что, задумавшись, рискуешь очутиться на постепенно сокращающемся в размерах песчаном островке посреди большой мокрой бухты, так что я держал ушки на макушке и не заходил слишком далеко.

Это было просто удивительно — Блэкпул не мог предложить ничего подобного. Странное ощущение — расхаживать по морскому дну и думать, что в любой момент можешь оказаться в 30 футах под водой. Для того, кто приехал из большой страны, особенно трудно привыкнуть, что в Англии вне дома ты редко остаешься один; что почти нет таких мест, где можно, скажем, остановиться пописать, не опасаясь оказаться в поле зрения какого-нибудь любителя наблюдать в бинокль за птичками или увидеть выходящую из-за поворота солидную даму, — так что в смысле уединенности пески были просто роскошью.

С расстояния несколько сот ярдов Моркам в вечернем свете выглядел очень приглядным и даже манил к себе, так что я вышел к берегу и поднялся по замшелым бетонным ступеням на набережную, которая казалась совсем не страшной вдали от залов бинго и модных лавок. Ряд пансионеров вдоль восточной стороны Марин-роуд, опрятных и аккуратных, приятно обнадеживали. Я пожалел хозяев, которые вложили деньги в свои надежды и оказались на умирающем курорте. Спад, начавшийся в пятидесятых и неудержимо ускорившийся в семидесятые, казался, должно быть, необъяснимым и непредсказуемым для этих бедолаг, когда расположенный всего в двадцати милях Блэкпул у них на глазах набирал силу.

В ответ Моркам неразумно, но естественно попытался тягаться с Блэкпулом. Он выстроил дорогостоящий дельфинарий и новый открытый плавательный бассейн, а недавно стал разрабатывать проект парка аттракционов мистера Блобби. Но на самом деле его обаяние и его надежда в том, чтобы не быть Блэкпулом. Тем-то мне и люб этот городок, что он тихий, дружелюбный и благовоспитанный, в его пабах и кафе просторно, и тебя не сшибают с тротуара шатающиеся юнцы, и не приходится шагать по мостовой, оскальзываясь на разбросанных пластиковых тарелочках и в лужицах рвоты.

Настанет, думается мне, день, когда люди заново откроют очарование тихого отдыха у моря, простую радость гулять по чистой набережной, облачившись на перила, упиваясь видом, или посидеть с книжкой в кафе. И тогда, быть может, Моркам воспрянет вновь. Как было бы мило, если бы

власти действительно заботились о стране и предпринимали меры для восстановления отцветших городков, подобных Моркаму, — восстановили бы причал в прежнем виде, выделили бы грант на новый Зимний сад, настояли на реставрации прибрежных зданий, может, перевели бы в городок отделение таможенной службы, которое круглый год поддерживало бы в нем жизнь.

Немного инициативы и продуманных долговременных планов — и, я уверен, можно найти людей, которые захотят открыть здесь книжные магазины, ресторанчики, антикварные лавки, галереи, а может, даже бары с острой закуской или оригинальный отель-бутик. Почему бы и нет?

Моркам мог бы стать маленьким североанглийским подобием Саусалито или Сент-Ива. Возможно, у вас это вызывает презрительную усмешку, но какое еще будущее вы видите для подобных мест? Сюда люди могли бы приезжать на выходные, чтобы спокойно и вкусно пообедать в новых ресторанах у моря, полюбоваться бухтой и, пожалуй, посмотреть спектакль или послушать концерт в Зимнем саду. Молодые туристы могли бы останавливаться тут на ночевки и разгрузить немного Озерный край. Все это вполне возможно. Но, разумеется, никогда не случится, и отчасти, смею сказать, оттого, что вы презрительно усмехаетесь.

Глава двадцать третья

Я вожу с собой и иногда с тихой радостью достаю и перечитываю маленькую потрепанную вырезку, прогноз погоды из «Вестерн дэйли мэйл», который гласит, дословно: «Днем ожидается теплая сухая погода, но возможно похолодание и небольшой дождь».

Вот вам идеально выраженная в одной фразе суть английской погоды: сухой, но дождливой, теплой, но холодноватой. «Вестерн дэйли мэйл» могла бы повторять этот прогноз изо дня в день — не знаю, возможно, она так и делает — и практически не ошибаться.

Больше всего испытанного туриста поражает в английской погоде ее отсутствие. Все грозные и непредсказуемые явления, придающие природе остроту риска — торнадо, муссоны, бурные грозы, град «спасайся-кто-может» — практически неизвестны на Британских островах, и лично меня это вполне устраивает. Мне по вкусу круглый год ходить в одной и той же одежде. Я с удовольствием обхожусь без кондиционеров, москитных сеток на окнах и летучего зверья, которое, пока вы спите, высасывает вашу кровь или объедает вам лицо.

Мне приятно сознавать, что, если только я не отправлюсь на восхождение на Бен-Невис в домашних тапочках в феврале, стихии этой нежной и ласковой страны не грозят мне смертью.

Я упоминаю об этом потому, что, сидя за завтраком в ресторане отеля «Старая Англия» в Боунессе-он-Уиндермир, через два дня после расставания с Моркамом, я читал статью «Таймс» о ранней снежной буре — буране, как выразилась «Таймс», — поразившей Восточную Англию. По сообщению «Таймс», буран засыпал часть территории «более чем двумя дюймами снега» и «намел сугробы высотой до шести дюймов». Прочтя такое, я совершил поступок, какого прежде не совершал: я достал свой блокнот и написал письмо в редакцию, благожелательно, с самыми лучшими намерениями указав, что два дюйма снега никак не могут называться бураном и что шесть дюймов — никак не сугроб. Бураном, объяснил я, называется то, что не дает вам открыть дверь дома, а сугробом — то, что хоронит вашу машину до весны. Холодная погода — это когда вы оставляете клочки кожи на дверной ручке, почтовом ящике и прочих металлических предметах. Потом я скомкал письмо, поняв, что мне грозит серьезная опасность превратиться в очередного полковника Чинушу, а их и так немало вокруг, поедавших кукурузные хлопья и овсянку вместе с

такими же чопорными женами и поддерживавших своим существованием отель «Старая Англия».

Я оказался в Боунессе, потому что мне нужно было убить два дня, поджидая лондонских друзей, с которыми я собрался в пеший поход на выходные. Поход меня очень радовал, в отличие от перспективы проторчать еще один долгий бессмысленный день в Боунессе, не зная, чем заполнить пустые часы до чая. Я обнаружил, что количество витрин с чайными полотенцами, сервизами, украшенными кроликом Питером, и узорными джемперами, которое я способен осмотреть, все-таки ограничено, и сомневался, переживу ли еще один день столь утомительных занятий.

В Боунесс меня занесло более или менее случайно, поскольку это единственное место во всем Озерном краю, где имеется железнодорожная станция. Кроме того, мысль провести еще пару тихих дней в покойной красоте озера Уиндермир и насладиться пухлым комфортом благородных (хоть и дороговатых) старых отелей при взгляде с набережной Моркама казалась очень завлекательной. Но теперь, когда один день прошел, а второй только предстоял, я начал ерзать и метаться, как человек, выздоравливающий от затяжной болезни. Хорошо хоть, с оптимизмом отметил я, что этот уголок страны миновала страшная снежная буря, жестоко исхлеставшая Восточную Англию двумя дюймами снега и вынудившую людей утопать в сугробах, доходивших им чуть ли не до щиколотки. Здесь стихии были милосердны, и мир за окном ресторана неярко блестел под бледным зимним солнцем.

Я решил прокатиться на озерном пароходике до Эмблсайда. Так я не только убивал час и мог посмотреть озеро, но и попадал в место, больше похожее на настоящий город и меньше — на оказавшийся не на своем месте морской курорт Боунесс. В Боунессе, как я заметил накануне, имелось не меньше восемнадцати лавок, где вы могли купить джемпер, и не менее двенадцати, продающих сервизы с кроликом Питером, но всего одна мясная лавка. Между тем Эмблсайд, хоть и не остался в неведении относительно множества способов извлечь выгоду из проезжих туристов, по крайней мере, располагал отличным книжным магазином и множеством магазинов туристского снаряжения, которые для меня обладают огромной, пускай необъяснимой притягательностью — я способен часами разглядывать рюкзаки, гетры, компасы и сухие пайки, потом перейти в другой магазин и обзреть заново в точности те же предметы. Так что вскоре после завтрака я с некоторым воодушевлением двинулся к парходному причалу. Увы, там я обнаружил, что парходик курсирует только в летние месяцы — в столь мягкую погоду это представлялось

большим недосмотром, ведь даже сейчас Боунесс кишел путешественниками. Пришлось отступить и вместе с разномастной ленивой толпой двинуться к маленькому причалу парома, сновавшего туда-сюда между Боунессом и старой паромной станцией на том берегу. Путь длиной всего в несколько сотен ярдов занимал целую вечность.

У въезда на причал терпеливо ждала скромная очередь машин. Было здесь и восемь или десять пеших туристов, все в нарядах от «Мусто», с рюкзаками и в тяжелых ботинках. Один тип даже вырядился в шорты — верный признак тяжелой стадии маразма. С туризмом — в британском понимании слова — я познакомился сравнительно недавно. Я еще не дошел до той стадии, на которой напяливают шорты со множеством карманов, но уже научился заправлять брюки в ботинки (хотя никто не сумел мне растолковать, какая в том польза, если не считать того, что так вы похожи на серьезного, испытанного ходока).

Помнится, в первый приезд в Британию, странствуя по книжным магазинам, я поразился, сколько места в них уделено «путеводителям для пешеходов». Мне это показалось нелепым и комичным — там, откуда я прибыл, люди обычно передвигаются на двух ногах, не прибегая к письменным инструкциям, — но со временем я узнал, что в Британии существуют два вида ходьбы, а именно: обычный, когда идешь в паб и, если повезет, возвращаешься домой, и более суровый, требующий крепких ботинок, планов Картографического управления в пластиковых кармашках, рюкзаков с сэндвичами и термосами с чаем, а на последних этапах — еще и шорт цвета хаки в неподходящую погоду.

Многие годы я наблюдал этих пешеходов, взбирающихся на скрытые в облаках вершины в мокрую и ветренную погоду, и считал, что вижу настоящих сумасшедших. А потом мой старый друг Джон Прайс, который вырос в Ливерпуле, а юность провел, выделявая безумные трюки на утесах Озерного края, уговорил меня отправиться с ним и еще парой друзей пошляться — он использовал именно это слово — на уик-энд по Хэйстексу. Думаю, меня подкупили как раз слово «пошляться» и название Хэйстекс («сеновал»), сулившие на слух много выпивки и убаюкавшие мою природную осторожность.

— Ты уверен, что это не слишком трудно? — спросил я.

— Нет, просто прогулка, — настаивал Джон.

Ну конечно же, вышло что угодно, только не прогулка. Мы часами карабкались по бесконечным отвесным склонам, через грохочущие осыпи и каменистые взгорки, огибая уходящие в небо скальные бастионы, и наконец вышли в холодный, бледный, возвышенный, нездешний мир, столь

отдаленный и неприступный, что даже овцы дивились при виде нас. Над ним высились еще более высокие и далекие вершины, совершенно невидимые с черных ленточек шоссе, оставшихся далеко внизу. Джон с приятелями играли моей тягой к жизни самым жестоким образом: видя, что я отстал, они устраивались, развалившись под валунами, курили, болтали и отдыхали, но едва я догонял их в надежде передохнуть и услышать несколько слов ободрения, они тут же поднимались и двигались дальше размашистой мужественной походкой, так что мне приходилось тащиться следом без остановки. Я задыхался, ныл и отплевывался, соображая, что в жизни не занимался ничем столь противоестественным, и клялся никогда не повторять этой глупости.

Но, как раз когда я готов был лечь и потребовать носилки, мы преодолели последний взлет и вдруг, словно по волшебству, оказались на вершине земли, на небесной платформе, среди океана горных валов. Никогда еще я не видел ничего красивее.

— Чтоб мне сдохнуть, — произнес я в порыве красноречия и понял, что попался на крючок.

С тех пор я хожу с ними всегда, когда они соглашаются меня взять, и никогда не жалею и даже научился заправлять брюки в ботинки. Я не мог дожидаться завтрашнего дня.

Паром причалил, и я шагнул на палубу вместе с другими. Озеро Уиндермир выглядело безмятежным и невероятно притягательным под мягкими лучами солнца. На его стеклянной глади, вопреки обыкновению, не было ни одной прогулочной лодки. Сказать, что Уиндермир популярен у любителей лодочных прогулок, означало бы безрассудно флиртовать с недооценкой. Около 14 000 моторных лодок — позвольте повторить: 14 000 — зарегистрированы на этом озере. В иной летний день на воде одновременно оказываются до 1600 моторок, причем многие, глиссируя на сорока милях в час, тянут за собой водных лыжников. Это не считая всех тысяч плавучих объектов иных типов, способных выходить на большую воду и не нуждающихся в регистрации: челноков, парусных лодок, буеров, каноэ, резиновых лодочек, надувных матрасов, разных экскурсионных корабликов и старого пыхтящего парома, на котором я теперь плыл, — и все ищут для себя клочок воды, куда могла бы втиснуться лодка. Стоя на берегу августовским воскресеньем и глядя на густые стада лодок и лодочек, поневоле разинешь рот и схватишься за голову.

Я проводил в Озерном краю по несколько недель в год, а потом еще взялся писать статью для «Нэшнл джиогрэфик» и тогда, среди прочих мимолетных восторгов этого испытания, прокатился однажды утром на

моторке, принадлежавшей национальному парку. Чтобы показать мне, как опасно бывает пользоваться мощными моторами в такой тесноте, сторож парка вывел лодку на середину озера, велел держаться — я улыбнулся в ответ: слушайте, на машине я делаю 90 миль в час — и открыл дроссель. Ну, скажу я вам: 40 миль в час на воде — совсем не то, что 40 на дороге. Мы рванули с места со скоростью, которая отбросила меня на скамью и заставила отчаянно вцепиться обеими руками, а лодка запрыгала по воде, как плоский камешек, которым выпалили из ружья. Мне редко приходилось пугаться до такого остоленения. Даже в тихое утро после окончания сезона озеро Уиндермир забито препятствиями. Мы пулей проносились мимо маленьких островков и огибали мысы, возникавшие впереди с пугающей внезапностью, как скелеты перед машинкой в ярмарочном павильоне ужасов. А представьте себе, каково делить то же пространство с 1600 столь же безрассудных суденышек, причем большая часть их — в руках пузатых городских недоумков, почти без опыта вождения моторок, а кругом снуют гребные лодочки, каяки, водные велосипеды и им подобные; просто чудо, что вода еще не покрыта телами утопленников.

Тот опыт научил меня двум вещам; первое — рвота на 40 милях в час из открытой лодки мгновенно испаряется, а вторая: Уиндермир — чрезвычайно компактный водоем. И тут мы подходим к сути. Британия, при всем ее топографическом разнообразии и неподвластном времени величии, чрезвычайно малоформатное место. В стране нет ни единой черты ландшафта, заметной в мировом масштабе: ни гор, подобных Альпам, ни потрясающих ущелий, ни одной крупной реки хотя бы. Вы можете считать Темзу значительной водной артерией, но по мировому счету она не более чем честолюбивый ручеек. Переместите ее в Америку, и она не попадет даже в первую сотню. Точнее говоря, окажется на сто восьмом месте, и ее перегонят такие относительно мелкие речки, как Скунк, Кускоквим и даже малютка Милк. Озеро Уиндермир может гордиться своим первенством среди английских озер, но на каждые 12 квадратных дюймов поверхности Уиндермир Верхнее озеро насчитывает 268 квадратных футов воды. В Айове есть водоем под названием Дан-Грин-Слаф, о котором даже из айовцев мало кто слышал, так вот — он больше Уиндермир. И сам Озерный край занимает меньшую площадь, чем «города-близнецы»^[34].

Мне это представляется удивительным — не то, что местные природные достопримечательности скромных размеров, но то, что они, скромные черты ландшафта густонаселенного островка, все равно удивительны. Имеете ли вы представление, помимо самого смутного теоретического знания, насколько густо заселена Британия? Знаете ли вы,

например, что тот, кто решил бы достигнуть той же плотности населения в Америке, должен был бы сорвать с мест всех жителей Иллинойса, Пенсильвании, Массачусетса, Мичигана, Колорадо и Техаса и запихнуть всех в Айову? Двадцать миллионов человек живут на расстоянии дня пути от Озерного края, и двенадцать миллионов, примерно четверть всего населения Британии, каждый год выезжают на озера. Не диво, что в иной летний вечер уходит два часа, чтобы протолкаться через Эмблсайд, а Уиндермир, пожалуй, можно перейти, переступая с лодки на лодку.

И все же даже в свои худшие мгновения Озерный край остается более очаровательным и менее нагло коммерциализированным, чем многие знаменитые природные достопримечательности в более просторных странах. А подальше от толпы — подальше от Боунесса, Хоксхеда и Кесвика с их чайными полотенцами, чайными гостиницами, чайными чашечками и прочим бесконечным дерьмом с персонажами Беатрикс Поттер — остаются уголки чистого совершенства, какой я и обнаружил теперь, когда паром ткнулся носом в пристань и мы выбрались на сушу. Минуту причал кипел, как улей, потом одна группа машин проехала дальше, другая въехала на паром, а восемь или десять пешеходов разошлись по сторонам. И тогда воцарилось благословенное молчание. Я пошел по славной лесной тропинке, которая от края озера сворачивала на материк в сторону Ближнего Соури. В Ближнем Соури стоит Хиллтоп, имение, где вездесущая Поттер рисовала свои слащавые акварельки и слагала свои розовые сказочки. Большую часть года сюда со всех концов света стекаются туристы. Значительная часть деревни отдана большой (но расположенной не на виду) автомобильной стоянке, а на чайной даже висит снаружи меню по-японски, черт меня побери! Но подходы к селению — на самом деле это просто деревушка (кстати, известна ли вам разница между поселком — «виллидж» — и деревушкой — «хэмлет»? Удивительно, как немногим она понятна, а ведь на самом деле все очень просто: в первом живут люди, а во втором — персонажи шекспировской пьесы); так вот, подходы со всех сторон утонченно красивы и не испорчены цивилизацией: зеленые луга Эдема в кружеве блуждающих шиферных стен, кущи деревьев и низкие белые домики ферм на фоне крутых голубоватых холмов.

В Хиллтопе я уже побывал в прошлом году, поэтому прошел мимо и поднялся по малоизвестной тропинке к каровому озеру на возвышенности за деревней. Старая миссис Поттер частенько подходила к этому кару, чтобы покататься на лодке — ради пользы для здоровья или в качестве самобичевания, не могу сказать, — но озерцо все равно очень милое и выглядит совершенно забытым. У меня было отчетливое чувство, что я —

первый, кто побывал здесь за много лет. По дороге я прошел мимо фермера, поправляющего упавший кусок стены, остановился поодаль, чтобы не мешать, и немного понаблюдал за его работой, ибо если существует на свете занятие, более целительное для души, чем починка стены из дикого камня, так это зрелище того, как это делает кто-то другой. Помнится, как-то раз, вскоре после нашего переезда в Йоркшир, я на прогулке повстречал знакомого фермера, чинившего стену на отдаленном холме. Стоял гнусный январский день с плавающим туманом и дождем, а главное, и не было особого смысла чинить ту стену. Фермеру принадлежало поле по другую сторону холма, а в стене все равно имелись никогда не закрывающиеся ворота, так что никакой пользы она не приносила. Я постоял, наблюдая, и в конце концов спросил, зачем он чинит эту стену под холодным дождем. Он послал мне тот особый обиженный взгляд, который йоркширские фермеры держат в запасе для зевак и прочих идиотов, и ответил:

— Ясное дело, потому что она обвалилась.

Тогда я узнал, во-первых, что никогда не надо задавать йоркширским фермерам вопросов, на которые нельзя ответить пинтой «Тетли», и, во-вторых, что по крайней мере одна причина невыразимой красоты и неподвластности времени английских ландшафтов состоит в том, что большинство фермеров по каким-то причинам не ленятся сохранять их таковыми.

Несомненно, деньги здесь почти ни при чем. Известно ли вам, что правительство тратит на каждого, побывавшего за год в национальном парке, меньше, чем вы тратите на одну ежедневную газету, и что Национальный оперный театр «Ковент-Гарден» получает от него больше, чем все десять национальных парков вместе взятые? Годовой бюджет национального парка Озерный край, района, широко известного самой красивой и хрупкой природой в Англии, составляет 2,4 миллиона фунтов в год, примерно как у крупной средней школы. На эту сумму управление парка должно заботиться о парке, содержать десять информационных центров, оплачивать 127 постоянных сотрудников и 40 временных летом, заменять и ремонтировать снаряжение и транспорт, прокладывать ландшафтные тропы, вести образовательные программы и выполнять обязанности местных планировщиков. То, что озера столь цельно изумительны, столь скрупулезно ухожены и столь умиротворяют ум и душу, громогласно свидетельствует в пользу людей, которые на них работают, на них живут и ими пользуются. Я читал недавно, что больше половины британцев не могут придумать, чем гордиться в своей стране.

Так вот, гордитесь этим.

Я провел несколько счастливых часов, блуждая по роскошной и легкопроходимой местности между Уиндермир и Конистон-Уотер, и с радостью остался бы и дольше, если бы не дождь — ровный назойливый дождь, которого я по глупости не предусмотрел при сборах; к тому же я проголодался и повернул обратно, к парому и Боунессу.

Вот как получилось, что примерно один час и один непомерно дорогой сэндвич с тунцом спустя я снова сидел в «Старой Англии», пялился в большое окно на мокрое озеро и чувствовал ту особую скуку и неприкаянность, какие нападают на человека в непогожие вечера, проведенные в шикарной обстановке. Чтобы убить полчаса, я прошел в гостиную проверить, не найдется ли там кофейку. Комната была заполнена стареющими полковниками и их женами, рассевшимися среди небрежно сложенных «Дэйли телеграф». Все полковники были малорослыми толстячками в твидовых пиджаках, с прилизанными сединами и манерами старых добряков, скрывающими сердца из кремня. На ходу они слегка прихрамывали от подагры. Жены, щедро нарумяненные и припудренные, на вид казались только что от гробовщика, приготовившего их к похоронам. Я чувствовал себя совершенно не в своей стихии и удивился, когда одна из дам — седовласая леди, по всем признакам накладывавшая помаду во время землетрясения, — обратилась ко мне дружеским тоном светской беседы. В таких случаях мне всегда требуется время, чтобы вспомнить, что я теперь — мужчина солидного вида и почтенных лет, а не молодой бродяга только что с бананового суденышка. Начали мы, как водится, с нескольких слов в осуждение проклятой погоды, но едва женщина выяснила, что я американец, она по сложной касательной соскользнула в рассказ о недавней поездке, когда они с Артуром — Артуром, как я понял, был державшийся рядом с ней и застенчиво улыбавшийся верзила — ездили к друзьям в Калифорнию, и очень скоро ее рассказ перешел в отрететированную филиппику о недостатках Америки. Я никак не могу понять, о чем думают люди, которые произносят эти речи? Неужели они полагают, что я оценю их прямоту? Или заводят меня? Или просто забывают, что я сам такой же? То же самое часто случается, когда люди при мне заводят разговор об иммиграции.

— Они так простодушны, вы не находите? — фыркнула леди и сделала глоточек чая. — Стоит пять минут поболтать с незнакомцем, и он уже воображает, что вы друзья! В Энсино какой-то отставной почтальон или кто-то еще попросил у меня адрес и обещал заглянуть, когда будет в Англии — вообразите! Я его знать не знала. — Она сделала новый глоточек

и на мгновение впала в задумчивость. — У него просто необыкновенная пряжка на ремне. Вся серебряная и с драгоценными камнями.

— Меня добила еда, — заговорил муж, оживившись настолько, чтобы вставить свое слово в монолог. Впрочем, сейчас же стало ясно, что он из тех, кто никогда не заходит дальше первой фразы рассказа.

— Ах, да, еда, — на ходу подхватила жена. — У них просто необыкновенный подход к еде.

— Неужели? Они любят, чтобы было вкусно? — поинтересовался я с натянутой улыбкой.

— Нет, дорогой мой, порции! Порции в Америке просто чудовищные,

— Я как-то заказал бифштекс... — начал муж, сдавленно хмыкнув.

— А что они выделывают с языком? Они просто не умеют говорить на королевском английском!

А вот тут — постойте. Судите как вам угодно об американских порциях и дружелюбных парнях с оригинальными ременными пряжками, но осторожнее, когда вы заговариваете об американском английском.

— Зачем же им говорить на королевском английском? — несколько холодновато спросил я. — Ведь живут они не в королевстве.

— Да, но их лексикон! И этот акцент... Какое слово тебе не понравилось, Артур?

— Норма, — сказал Артур. — Я познакомился с тем парнем...

— Но ведь «норма» — не американизм, — возразил я. — Это слово английской чеканки.

— О, не думаю, дорогой, — произнесла женщина с дурацкой уверенностью и выдала снисходительную улыбочку. — Нет, наверняка нет.

— Введено в обиход в 1687 году, — решительно соврал я. Ну, по сути-то я был прав: «норма» — действительно англицизм. Просто я не помнил деталей. — Его ввел Даниэль Дефо в романе «Молли Флендерс», — добавил я в порыве вдохновения.

Американец, живущий в Британии, среди прочего привыкает слышать, что Америка погубит все английское. Мне удивительно часто приходилось выслушивать это мнение, обычно на обедах, чаще от кого-то, перебравшего с выпивкой, но, бывало, и от таких вот полоумных перепудренных старых гримз. Рано или поздно терпение иссякает. Поэтому я сказал ей — им обоим, потому что муж, судя по его виду, собрался было изречь новый обрывок мысли, — что независимо от их мнения, слова, созданные Америкой, безмерно оживили английскую речь, что без этих слов им не обойтись, особенно без слова «кретин». Я показал зубы, одним глотком допил кофе и удалился, несколько разгоряченный. И пошел писать новое

письмо в редакцию «Таймс».

На следующее утро к одиннадцати, когда Джон Прайс и очень милый парень по имени Дэвид Партридж подкатили к отелю в машине Прайса, я уже ждал у дверей. Я не дал им выпить кофе в Боунессе на том основании, что больше здесь не выдержу, и погнал до отеля в Бассентвейте, где Прайс заказал для нас комнаты. Там мы сбросили рюкзаки, выпили кофе, получили на кухне три упакованных завтрака, снарядились в стиле бывалых и отправились в Грейт Лангдейл. Вот это больше похоже на дело.

Несмотря на ненадежную погоду и позднюю осень, стоянки и обочины вокруг долины были полны машин. Люди повсюду рылись в багажниках, доставая снаряжение, или сидели при открытых дверцах, натягивая теплые носки и ботинки. Мы тоже переобулись и присоединились к всклокоченному войску туристов с рюкзаками и в шерстяных гетрах, тянувшегося вверх на длинный горбатый травянистый склон холма Бэнд. Мы направлялись к легендарной вершине Боу-Фелл, 2960 футов над уровнем моря, шестой по высоте в Озерном краю. Перед нами цветными точками рассыпались по тропе пешеходы, двигавшиеся к неимоверно далекой вершине, затерянной в облаках. Я молча дивился, как много народа уверовало, что лезть в горы в сырую субботу в конце похожего на зиму октября — развлечение.

Мы вскарабкались через травянистые нижние склоны на высокогорье, где приходилось выбирать дорогу между камнями и кустарником, а потом очутились среди клочков туч, висевших, наверно, в тысяче футов над оставшейся внизу долиной. Вид был сенсационный — острые зубцы пиков Лангдэйл поднимались напротив, тесня узкую и уже далекую, благодаря нашим усилиям, долину в кружеве огороженных каменными стенами полей, а на западе терялось в тумане и низких облаках волнистое море кряжистых бурых холмов.

Чем дальше мы уходили, тем хуже становилась погода. Воздух наполнился кружащейся ледяной крупкой, резавшей кожу, как бритва. Ко времени, когда мы добрались до Трех Гарнов, погода стала по-настоящему угрожающей: к острой слякоти добавился густой туман. Свирепые порывы ветра избивали склон, и мы уже еле тащились. В тумане видимость сократилась до нескольких ярдов. Раз или два мы ненадолго теряли тропу. Меня это беспокоило, потому что мне не особенно хотелось умирать наверху — кроме всего прочего, на моей карточке экспресс-оплаты телефона оставалось 4700 неистраченных единиц. Из мглы перед нами выдвинулось нечто, чрезвычайно напоминающее оранжевого снеговика. При ближайшем рассмотрении это оказался высокотехнологичный

альпинистский костюм. Где-то внутри него скрывался человек.

— Малость свежо, — выдал он образчик недооценки.

Джон с Дэвидом спросили его, далеко ли он дошел.

— Только что с Бли Тарна.

До того было десять миль ходу по этой тяжелой тропе.

— Плохо там? — спросил Джон на лаконичном жаргоне бывалых туристов.

— На четвереньках приходится, — отозвался встречный.

Они понимающе кивнули.

— Скоро и здесь то же будет.

Они снова кивнули.

— Ну, мне надо двигаться, — объявил человек, как будто целый день потратил на болтовню, и нырнул в белое варево. Я посмотрел ему вслед и обернулся спросить, не подумать ли нам о возвращении в долину, к теплому приюту, где дают горячую еду и холодное пиво, но обнаружил, что Прайс и Партридж уже растворяются в тумане в тридцати футах впереди.

— Эй, подождите меня! — прокаркал я и побрел следом.

Мы добрались до вершины без инцидентов. Я насчитал тридцать три человека, обогнавших нас. Они забились между побелевших от тумана камней с сэндвичами, фляжками и рвущимися из рук картами. Глядя на них, я попытался представить, как стал бы объяснять происходящее иностранцу, — с какой стати три дюжины англичан устроили пикник на вершине горы в ледяную бурю? — и понял, что объяснить это невозможно. Мы пробрались к валуну, и сидевшая под ним пара милосердно подвинула свои рюкзаки, освободив место для нашего пикника. Мы уселись и зарылись в мешки из оберточной бумаги, под пронзительным ветром облупливая крутые яйца занемевшими пальцами, запивая тепловатой шипучкой, заедая раскрошившимися сэндвичами с сыром и пикулями и глядя в беспросветную мглу, ради которой мы три часа лезли сюда, и я думал, серьезно, я думал: «Господи, как же я люблю эту страну!»

Глава двадцать четвертая

Я направлялся в Ньюкасл через Йорк, когда меня настиг очередной непредсказуемый порыв. Я сошел в Дареме, с намерением часок поглазеть на собор — и влюбился, мгновенно и всерьез. Да это же чудо — идеальный городок, я только и думал: «Почему же никто мне о нем не рассказывал?» Я знал, конечно, что в нем есть отличный норманнский собор, но представления не имел, как он великолепен. Просто не верилось, что за двадцать лет никто мне не сказал: «Ты не бывал в Дареме? Господи боже, человече, отправляйся немедленно! Пожалуйста, можешь взять мою машину». Я читал в воскресных газетах бесчисленные отчеты о путешествиях в Йорк, Кентербери, Норидж и даже Линкольн, но не припомню ни одного о Дареме, а друзья, которых я о нем расспрашивал, едва ли там бывали. Так что позвольте вам сказать: если вы никогда не бывали в Дареме, отправляйтесь сейчас же. Берите мою машину. Это чудо.

Собор, громада красно-бурого камня, стоящий высоко над ленивой излучиной реки Вер, разумеется — его слава. Все в соборе совершенно — не только расположение и исполнение, но, что не менее заслуживает упоминания, и то, как им распоряжаются ныне. Для начала, там нет никакого вымогательства, никакой «добровольной» платы за вход. Просто снаружи висело скромное объявление, что содержание собора обходится в 700 000 фунтов стерлингов в год, что сейчас производится реконструкция восточного крыла стоимостью 400 000 фунтов, и они будут чрезвычайно благодарны за любые пожертвования от посетителей. Внутри стояли два ящика для денег — и все, никакой суеты, ни назойливых объявлений, ни утомительных досок с бюллетенями, ни дурацких флагов Эйзенхауэра. Ничто не отвлекало от невыразимого, возвышенного величия собора. День, когда я его увидел, был идеален. Солнце косо бросало лучи сквозь витражные окна, выхватывая из тени кряжистые желобчатые колонны и разбрызгивая по полу пеструю рябь. Нашлись даже деревянные скамьи для молящихся. Я не судья в таких вещах, но окна над хорами показались мне, по меньшей мере, равными более знаменитым Йоркским витражам, причем их видно во всей красе, а Йоркские загнаны в трансепт. А витражи в противоположной стене были еще лучше. Я не могу говорить о них, не впадая в восторженное многословие, потому что это было просто чудесно. Пока я стоял там, среди всего дюжины других посетителей, мимо прошел церковный служака и весело поздоровался. Я был очарован его

дружелюбием, пленен окружавшим меня совершенством и немедля отдал свой голос Дарему за лучший собор на планете Земля.

Упившись вдоволь, я засыпал коробку для сбора пожертвований мелочью, отправился на самый беглый осмотр старого квартала города, который оказался не менее древним и обольстительным, и вернулся на станцию, потрясенный и в то же время растерянный: сколько же всего надо посмотреть в этой маленькой стране и какой глупостью было надеяться, что я увижу больше малой толики за семь быстротечных недель.

Я сел на проходящий поезд до Ньюкасла, потом на местный до Пегсвуда, расположенного в 18 милях к северу, вышел там под щедрое не по сезону солнце и прошел пару миль по прямой как стрела дороге до Эшингтона.

Эшингтон долго называл себя самым большим шахтерским поселком в мире, но теперь шахт там не осталось, и с населением 23 000 человек он едва тянет на деревню. Он прославлен как родина уймы футболистов: Джекки и Бобби Чарлтонов, Джекки Милберна и еще четырех десятков, достаточно искусных, чтобы играть в первом дивизионе, — замечательный урожай для столь скромного населенного пункта, но меня привлекало другое: некогда знаменитые, а теперь почти забытые горняки-художники.

В 1934 году под руководством ученого и художника из Даремского университета Роберта Лайона в городке зародился художественный клуб, так называемая Эшингтонская группа. Он состоял исключительно из шахтеров, никогда не бравших в руки кисть — а во многих случаях и никогда не видевших настоящей живописи, пока они не начали собираться вечерами по понедельникам. Эти горняки неожиданно выказали большой талант и «вынесли имя Эшингтона за серые горы», как выразился впоследствии критик из «Гардиан» (наверняка отменно разбиравшийся в футбольных делах). В тридцатые и особенно в сороковые годы они привлекли к себе большое внимание и часто оказывались в поле зрения национальных газет и художественных журналов. Были выставки в Лондоне и других крупных городах, у моего друга Дэвида Кука есть иллюстрированная книга Уильяма Февера «Горняки-художники», и он мне ее как-то показывал. Репродукции картин были совершенно очаровательны, но у меня в памяти засели фотографии коренастых шахтеров, одетых в костюмы с галстуками, теснившихся в маленькой хижине и сосредоточенно склонявшихся над этюдниками и подрамниками. Я должен был это увидеть воочию.

Эшингтон оказался совсем не таким, как я ожидал. По фотографиям в книге Дэвида он представлялся мне грязноватой, непомерно разросшейся

деревней, окруженной неряшливыми отвалами и затянутой дымом трех местных шахт, с чумазыми переулками, сторбившимися под вечной черной от копоти моросью, — а нашел я современный деловитый поселок с чистым, прозрачным воздухом. Был в нем даже новый деловой квартал с развевающимися вымпелами, тоненькими саженцами деревьев и впечатляющими кирпичными воротами на въезде, как видно, на участок новостроек. Главная улица — Стэйшен-роуд — удачно превращена в пешеходную зону, и многочисленные расположенные на ней магазины, кажется, вели бойкую торговлю. Было очевидно, что больших денег в Эшингтоне не водится — большая часть магазинчиков относилась к виду «торгуем всем и дешево», витрины были изнутри залеплены объявлениями о скидках, и все же они процветали, чем не мог похвастать, скажем, Брэдфорд.

Я зашел в ратушу, спросил дорогу к знаменитой некогда хижине и зашагал по Вудхорн-роуд в поисках здания старого кооператива, за которым та скрывалась. Слава Эшингтонской группы, надо сказать, покоилась в немалой мере на благонамеренном, но слегка раздражающем снобизме. Когда читаешь старые отчеты о выставках в Лондоне или Бате, трудно избежать впечатления, что критики и прочие эстеты относились к эшингтонским художникам примерно как к ученой собаке доктора Джонсона: дивно не то, что они рисуют хорошо, а то, что они вообще это делают.

Между тем эшингтонские художники представляют лишь малый фрагмент великой тяги к лучшему в местечках, подобных Эшингтону, где немногим посчастливилось окончить хоть несколько классов школы. Глядя из нашего времени, поражаешься, сколь богата была довоенная жизнь и с каким энтузиазмом эшингтонцы хватались за предоставлявшиеся возможности. В то время городок мог похвастать еще и философским обществом с круглогодичной программой лекций, концертов и вечерних занятий; оперным обществом; драматической студией; ассоциацией образования для рабочих, шахтерским институтом социального обеспечения с мастерскими и опять же классами; клубами садоводов, велосипедистов, атлетическими и прочими без счета. Даже те рабочие клубы, которых Эшингтон в лучшие времена насчитывал двадцать две штуки, предлагали тем, кто жаждал большего, чем пинта-другая эля «Федерейшн», библиотеки и читальни. В городке активно действовал театр, танцзал, пять кинотеатров и концертный зал, названный «Залом гармонии». Выступавший в двадцатых годах в «Зале гармонии» хор Баха собрал 2000 слушателей. Вы можете представить что-либо хоть отдаленно похожее в

наши дни?

А потом один за другим они увяли — оперное общество, читальни и лектории. Даже пять кинотеатров потихоньку закрыли двери. Сегодня самое живое развлечение в Эшингтоне — игровые залы, мимо которых я прошел в поисках здания кооператива. Найти его оказалось нетрудно. Позади кооператива располагалась большая незамощенная стоянка для машин, окруженная россыпью низких зданий — строительная контора, хижина бойскаутов, отделение Ди-эйч-эл, здание Института ветеранов — деревянное, выкрашенное травянисто-зеленой краской. Из книги Уильяма Февера я знал, что хижина Эшингтонской группы стояла рядом с Институтом ветеранов, но по какую сторону — неизвестно, и никто не смог мне подсказать.

Эшингтонская группа исчезла одной из последних, хотя ее закат был медленным и болезненным. В 1950-е годы ее численность постепенно падала: старые члены вымирали, а молодые считали ниже своего достоинства надевать костюм с галстуком и возиться с красками. В последние несколько лет всего двое выживших членов группы, Оливер Килборн и Джек Гаррисон, продолжали сходиться по понедельникам. Летом 1982 года они получили уведомление, что арендная плата за хижину поднимается с 50 пенсов до 14 фунтов в год. Это, как отмечает Февер, плюс 7 фунтов квартальной платы за электричество, оказалось слишком. В октябре 1983 года, как раз в пятидесятую годовщину основания группы, за неимением 42 фунтов в год на текущие расходы Эшингтонская группа была распущена, а хижина снесена. Теперь, кроме автостоянки, смотреть там не на что, однако картины прилежно хранят в музее шахты Вудхорн, примерно милей дальше по Вудхорн-роуд. Я прошел мимо бесконечного ряда бывших шахтерских домиков. Старые шахты все еще похожи на шахты, кирпичные здания сохранились в целости, колесо старого подъемника висит в воздухе, как диковинный, заброшенный ярмарочный аттракцион, но теперь здесь тихо, и сортировочная станция превратилась в ровный зеленый газон. Я был чуть ли не единственным посетителем.

Вудхорн закрылся в 1981 году, не дожив семи лет до своего столетия. Когда-то он был одной из 200 шахт Нортумберленда и из 3000 шахт страны. В 1920-х, на пике расцвета отрасли, в британских угольных коях работали 1,2 миллиона человек. Теперь же во всей стране осталось шестнадцать работающих шахт, а число работающих сократилось на 98 процентов.

Все это кажется грустным, пока не войдешь в музей, где фотографии и статистика катастроф напоминают, какой тяжелой и изнурительной была эта работа и сколь систематически она держала в нищете поколения

рабочих. Неудивительно, что городок дал так много футболистов: десятки лет не существовало другого способа из него выбраться.

В музей пускали бесплатно, и он был полон разумно подобранных экспонатов, показывающих жизнь в шахтах и в шумном поселке над ними. Я, собственно говоря, понятия не имел, как трудна была жизнь шахтеров. Уже в двадцатом веке в шахтах ежегодно гибли тысячи людей, и на счету каждой имелась хотя бы одна знаменитая катастрофа (вудхорнская случилась в 1916 году, когда при взрыве, из-за преступной халатности начальства погибли тридцать человек: хозяев шахты предупредили, чтобы такого больше не повторялось, не то с ними поговорят серьезно). До 1947 года дети с четырех лет — вы способны в это поверить? — работали в шахте по десять часов в день, а десятилетние мальчишки еще сравнительно недавно трудились заслонщиками: были заперты в тесном, совершенно темном пространстве, где должны были часами поднимать и опускать вентиляционный люк, пропуская вагонетку с углем. Смена одного мальчишка продолжалась с 3 ночи до 4 часов дня шесть дней в неделю. И это считалось легкой работой.

Бог знает, откуда люди брали силы и время, чтобы тащиться в лектории, на концерты и в художественные клубы, но они это делали. В светлой комнате висели тридцать или сорок картин, выполненных членами Эшингтонской группы. Средства группы были столь скудными, что многие рисовали дешевой эмульсией «валпамур» на бумаге, картоне или клеенке. Мало у кого имелись холсты. Было бы жестоким заблуждением предполагать, будто Эшингтонская группа выпестовала новых Тинторетто или хотя бы Хокни, но картины дают убедительную летопись жизни в шахте и шахтерском поселке на протяжении полувека. Почти все изображают сцены из местной жизни: «Субботний вечер в клубе», «Кошечки» — или сцены в шахте, и немало достоинства им добавляет то, что видишь их в шахтерском музее, а не в какой-нибудь столичной галерее. Второй раз за день я был потрясен и пленен.

И вот, между прочим, одна мелкая деталь: уходя, я заметил табличку с именами владельцев шахты и выяснил, что одним из тех, кто извлекал наибольшую выгоду из всего этого пота и мучительного труда в угольном горизонте, был наш старый друг У. Дж. Ч. Скотт-Бентинк, пятый герцог Портленд; и мне не в первый раз пришло в голову какой удивительно, умилительно маленький мирок — Британия.

В том-то, видите ли, ее слава, что она умудряется быть одновременно интимной, малоформатной и в то же время чуть ли не лопается от событий и интересных мест. Я постоянно исполнен восхищения — вот вы бродите

по городку вроде Оксфорда и на протяжении нескольких минут проходите дом Кристофера Рена, здание, где Галлей открыл свою комету, дорожку, по которой Роджер Баннистер впервые пробежал милю менее чем за четыре минуты, и лужайку, где гулял Льюис Кэрролл; или стоите на Сноу-Хилл в Виндзоре и одним взглядом охватываете Виндзорский замок, игровые площадки Итона, кладбище, где Грей писал свои элегии, и место, где впервые давали представление «Виндзорских насмешниц». Есть ли еще место на Земле, где на столь скромном пространстве собрано больше подобных достопримечательностей?

Я вернулся в Пегсвуд, купаясь в лучах восхищения, и сел на поезд до Ньюкасла, где нашел отель и провел вечер в состоянии безмятежного восторга, гуляя допоздна по гулким улицам, с любовью и почтением разглядывая статуи и дома, и закончил день с одной мыслишкой, с которой теперь оставляю и вас. Вот она.

Как это возможно, в этой дивной стране, где на каждом шагу встречаешь памятники гения и предприимчивости, где испытаны и исчерпаны все пределы человеческих возможностей, где свершались многие из величайших достижений промышленности, коммерции и искусства, — как это возможно, что, когда я вернулся в отель и включил телевизор, опять крутили «Кэгни и Лэйси»?

Глава двадцать пятая

И вот я приехал в Эдинбург. Есть ли где-нибудь более прекрасный и заманчивый город, чтобы сойти в нем с поезда в морозный темный ноябрьский вечерок? Выбраться из тесного подземного нутра вокзала Уэверли и очутиться в самом сердце такого славного города — это настоящее счастье. Я много лет не бывал в Эдинбурге и забыл, как он пленителен. Каждый памятник архитектуры был освещен золотыми лучами прожекторов — и замок, и банк Шотландии на горе, и отель «Балморал», и мемориал Скотта внизу, — и освещение придавало им некое призрачное величие. Город был полон суеты конца рабочего дня. Автобусы проносились по Принсез-стрит, конторские работники и продавцы спешили по тротуарам, торопясь домой к своему хаггису и супу кокки-лики и к своим волынкам или чем там развлекаются шотландцы после захода солнца.

Я заказал номер в отеле «Каледония» — безрассудный и экстравагантный поступок, но здание просто потрясающее и очень эдинбургское, и мне хотелось хоть на одну ночь принадлежать ему, поэтому я двинулся по Принсез-стрит мимо готической ракеты мемориала Скотта, приходя в неожиданный восторг от слияния с торопливой толпой и от зрелища замка на скалистом холме, силуэтом очертившегося на фоне бледного вечернего неба.

В Эдинбурге на удивление остро, куда сильнее, чем в Уэльсе, ощущаешь себя в другой стране. Не по-английски высокие и тонкие здания, другие деньги и даже свет неуловимо иной, северный. Витрины всех книжных магазинов полны книгами о Шотландии и шотландских авторов. И, конечно, другие голоса. Я чувствовал, что Англия осталась далеко позади, вдруг наткнулся на что-то знакомое и с изумлением думал: «О, смотрите-ка, и здесь «Маркс и Спенсер»», как если бы увидел его в Рейкьявике или Ставангере, где ничего подобного не ожидаешь. Очень свежее чувство.

Я поселился в «Каледонии», бросил вещи в номере и тотчас вернулся на улицы. Меня тянуло под открытое небо, ко всем приманкам Эдинбурга. Я влез по крутому холму к замку, но вход был закрыт на ночь, и я удовлетворился тем, что прошелся вниз по Королевской миле, почти вымершей в этот час и очень красивой суровой шотландской красотой. Я заглядывал в витрины многочисленных туристских лавочек, размышляя,

как много всего Шотландия подарила миру — килты, волынки, шотландские береты, жестянки овсяного печенья, ярко-желтые джемперы с узором из больших ромбов (излюбленный наряд Ронни Корбетта), милейшие гипсовые слепки Грейфрайарз Бобби^[35], мешочки с хаггисом, — и как мало людей вне Шотландии во всем этом нуждаются.

Позвольте мне сразу же заявить напрямик, что я питаю величайшую любовь и восхищение к Шотландии и ее умному, веселому народу. Известно ли вам, что среди шотландцев больше студентов на душу населения, чем в любой другой европейской нации? А список возвращенных Шотландией знаменитостей совершенно непропорционален ее скромным размерам: Стивенсон, Уатт, Лайелл, Листер, Бернс, Скотт, Конан Дойл, Дж. М. Барри, Адам Смит, Александр Грэм Белл, Томас Телфорд, лорд Кельвин, Джон Лоджик Бэйрд, Чарльз Ренни Макинтош и Иэн Маккаскилл — лишь немногие. Среди многого другого мы обязаны шотландцам виски, плащами, резиновыми сапогами, велосипедными педалями, телефоном, гудроном, пеницилином и пониманием принципа действия конопли — подумайте, как несносна была бы жизнь без всего этого. Так что, спасибо тебе, Шотландия, и не расстраивайся, что нынче тебе никак не выиграть кубок мира по футболу.

Спустившись по Королевской миле, я снова оказался у входа во дворец Холируд и пробрался к центру по темноватым переулкам. В конечном счете меня занесло в необычный паб на площади Сент-Эндрю под названием «Черепица» — вполне подходящим, потому что весь он, от пола до потолка, был выложен узорной выпуклой викторианской плиткой. Впечатление создавалось, будто выпиваешь в туалете принца Альберта, — не так уж плохо, как выяснилось. Во всяком случае, что-то в пабе, как видно, меня зацепило, потому что я не по уму перебрал пива и, выйдя, обнаружил, что почти все рестораны уже закрылись. Пришлось доковылять до своего отеля, подмигнуть ночному портье и улечься в постель.

Утром я проснулся страшно голодным, бодрым и с небывало ясной головой. Я подал себя ко входу в ресторан «Каледонии». Человек в черном костюме спросил, угодно ли мне позавтракать.

— Угодно ли Ферту-Форту?^[36] — игриво спросил я в ответ и пихнул его в бок.

Меня проводили к столику. Я был таким голодным, что отверг меню и попросил тащить все, что есть, потом блаженно развалился и стал праздно разглядывать меню, в котором обнаружил цену полного горячего завтрака: 14.50. Я поймал проходящего официанта.

— Простите, — сказал я, — но здесь сказано, что завтрак стоит 14.50.

— Совершенно верно, сэр.

Я ощутил, как похмелье стучится в ворота черепа.

— Вы хотите сказать, — спросил я, — что в дополнение к кругленькой сумме, которую я выложил за номер, я должен еще заплатить 14.50 за яичницу и овсяное печенье?

Он признал, что все более или менее так и обстоит. Я отменил заказ и попросил взамен чашку кофе. Ну, честное слово!

То ли это утреннее облачко на моей безмятежности подпортило мне настроение, то ли дождик, закапавший на улице, только Эдинбург при свете дня показался не так хорош, как накануне. Люди на тротуарах прятались под зонтами, и машины проносились по лужам с неприятным раздражающим звуком. Джордж-стрит, центральная магистраль нового города, предоставляла несомненно отличный, хоть и мокрый вид на свои памятники и торжественные площади, но избыток георгианских зданий был осквернен нелепыми современным фасадами. Прямо за углом от моего отеля располагалась контора какого-то поставщика продуктов, со сплошной стеклянной витриной, наклепленной на фасад восемнадцатого столетия, — настоящее преступление, а на этой и окрестных улицах оно повторялось не раз.

Я побродил, подыскивая место, где бы поесть, и оказался на Принсез-стрит. Она тоже будто переменялась за ночь. Вчера, когда по ней спешили домой усталые работники, она казалась живой и заманчивой, даже будоражащей, а теперь, в тусклом дневном свете, выглядела просто безрадостной и серой. Я прошелся по ней, высматривая кафе или бистро, но за исключением нескольких откровенно низкопотребных забегаловок, где еду просто наваливали на прилавки, вскрывая жестянки с консервами, Принсез-стрит могла предложить лишь обычный набор сетевых заведений и магазинов: «Бутс», «Литтлвуд», «Вирджин рекордс», «Маркс и Спенсер», «Бургер-кинг» и «Макдональдс». Чего, на мой взгляд, не хватает центру Эдинбурга — освященных временем и заслуживших любовь горожан кофеен в венецианском стиле, благородных чайных, таких мест, где на подставках лежат пачки газет, стоят пальмы в горшках и, пожалуй, полная маленькая леди играет на пианино.

Кончилось тем, что я, раздраженный и нетерпеливый, вошел в набитый битком «Макдональдс», прождал целую вечность в длинной нервной очереди, став еще более раздраженным и нетерпеливым, и наконец заказал чашку кофе и яйца «Макмаффин».

— Возьмете яблочный ролет? — спросил обслуживавший меня

прыщеватый юноша.

— Простите, — ответил я, — разве я выгляжу умственно неполноценным?

— Пардон?

— Поправьте меня, если я не прав, но я, кажется, не просил яблочного рулета?

— Э... нет.

— Так что, я выгляжу таким тупым, что не способен попросить яблочный рулет, если бы мне его захотелось?

— Нет, просто нам велят всех спрашивать.

— Считается, что в Эдинбурге все умственно неполноценные?

— Просто нам велят всех спрашивать.

— Ну, так мне не надо яблочного рулета, потому я его и не просил. Хотите знать, не хочу ли я отказаться еще от чего-то?

— Просто нам велят спрашивать всех.

— Вы запомнили, чего я хочу?

Он в смятении заглянул в свой блокнотик.

— Э, да, яйца «Макмаффин» и чашку кофе.

— Как вы думаете, удастся мне получить их сегодня утром или мы еще побеседуем?

— Ох, да, я сейчас принесу.

— Благодарю вас.

Ну, честное слово!

Потом, почувствовав себя чуть менее раздраженным, я вышел на улицу, где увидел, что дождь разошелся вовсю. Я перебежал через дорогу и по наитию нырнул в Королевскую Шотландскую академию — гордое ложноклассическое здание с подвешенными между колоннами знаменами, превращавшими его в слабое подобие занесенного в чужую страну рейхстага. Я заплатил 1.50 за билет и, встряхнувшись, как промокший пес, прошаркал внутрь. У них работала осенняя выставка, или, может, это была зимняя выставка, или круглогодичная. Я не заметил никаких объявлений, а картины были подписаны цифрами. За каталог, говоривший, что они означают, пришлось бы заплатить еще 2 фунта, что, откровенно говоря, разозлило меня, только что расставшегося с полутора фунтами (Национальный трест проделывает тот же трюк — нумерует деревья и растения и предлагает покупать каталог — одна из причин, почему я не доверил своих сбережений Национальному тресту). Картины в КША занимали много залов и, по-видимому, делились в основном на четыре категории: 1) лодки на берегу; 2) одинокие фермы; 3) полуодетые подружки

художников, занятые туалетом; 4) французские уличные сценки, на которых всегда имелась хоть одна вывеска «BOULANGERIE» или «EPICERIE», так что их никак нельзя было спутать со сценками на улицах Фрээрбурга или Арброта.

Многие из этих картин — собственно говоря, большинство — были незаурядно хороши, и когда я увидел красные кружки, прилепленные к рамам некоторых, и догадался, что они продаются, меня охватило странное желание купить одну. Тогда я принялся подходить к леди, сидевшей у входа, и спрашивать:

— Простите, сколько стоит номер 125?

Она находила номер в каталоге и называла сумму, на несколько сотен фунтов превышавшую ту, что я был готов заплатить, после чего я уходил, а через некоторое время возвращался, чтобы спросить:

— Простите, а сколько за номер 47?

В одном зале я увидел картину, которая мне особенно понравилась — какой-то парень по имени Колин Парк изобразил залив Солвей, — и леди, найдя ее в каталоге, назвала цену: 125 фунтов. Это была подходящая цена, и я купил бы картину не сходя с места, даже если бы мне пришлось тащить ее до Джон-о-Гроутс под мышкой, но тут леди обнаружила, что посмотрела не на ту строку и что 125 фунтов стоит вещица примерно в три квадратных дюйма, а Колин Парк значительно дороже, так что я снова ушел. Наконец, когда ноги у меня заболели, я испробовал другой подход и спросил, нет ли у них чего-нибудь за пятьдесят фунтов или меньше, а когда оказалось, что нет, отбыл, обескураженный, но сэкономивший 2 фунта на каталоге.

Потом я пошел в Национальную галерею, которая понравилась мне еще больше, и не только потому, что туда пускали бесплатно. Шотландская Национальная галерея запрятана на задворках КША и снаружи не производит особенного впечатления, но внутри отличается имперским величием девятнадцатого века, с красной обивкой стен, огромными картинами в роскошных рамах, разбросанными по залам статуями обнаженных нимф и позолоченной мебелью, так что на ум приходит прогулка по будуарам королевы Виктории. Картины были мало того, что выдающиеся, так еще снабжены табличками, рассказывавшими их историю и что за люди на них изображены — я нахожу это весьма удобным и рекомендую для повсеместного применения.

Я с благодарностью читал эти поучительные таблички, с удовольствием узнавая, например, что Рембрандт выглядит на автопортрете таким мрачным потому, что его только что объявили банкротом, но в одном из залов я увидел мужчину с мальчиком лет тринадцати, которые

совершенно не нуждались в табличках.

Они были, как, думается, сказала бы королева-мать, «из низших слоев». Все в них говорило о бедности и материальной нужде — плохом питании, малом доходе, плохом дантисте, небогатых перспективах и даже о плохой прачечной, но мужчина рассуждал о картинах с любовью и знанием, от которых просто сердце переворачивалось, а мальчик внимательно прислушивался к каждому слову.

— Вот видишь, это поздний Гойя, — негромко говорил мужчина. — Посмотри, какие точные, сдержанные мазки — совершенно иной стиль, чем в ранних работах. Помнишь, я говорил тебе, что Гойя не создал ни одной по-настоящему великой картины до пятидесяти лет? А это — великая картина.

Понимаете, он не хвастался своими познаниями — он делился.

Такое часто поражало меня в Британии — необъяснимая образованность людей из непривилегированного общества — часто они назовут вам растение по латыни или окажутся специалистами в политике древней Фракии или ирригационной техники Гланума. Как-никак, это страна, где в финальной игре программы «Знатоки» часто побеждают таксисты и кондукторы. Я никак не могу решить, счесть сие обстоятельство потрясающим или жалким: то ли это страна, где машинисты знают Тинторетто и Лейбница, то ли страна, где люди, знакомые с Тинторетто и Лейбницем, вынуждены работать машинистами. Знаю одно — здесь такое встречается чаще, чем где бы то ни было.

Потом я вскарабкался по крутому склону к замку, который показался до странности, почти гротескно знакомым. Я не бывал здесь прежде и не мог понять, откуда взялось такое чувство, пока не сообразил, что смену караула в Эдинбургском замке показывали в «Это Синерама», которую я посмотрел в Брэдфорде. Замок был точь-в-точь как в кино, только погода другая, и марширующие горцы Гордона, к счастью, отсутствовали, но одно разительно переменялось с 1951 года — вид с террасы на Принсез-стрит.

В 1951 году Принсез-стрит была одной из великих улиц мира: элегантный проспект, окаймленный с северной стороны солидными тяжеловесными викторианскими и эдвардианскими зданиями, возвещавшими об уверенности и величии империи — Северобританская торгово-страховая компания, пышное классическое здание «Нового клуба», старый отель «Уэверли». А потом их, одно за другим, начали зачем-то сносить и заменять, по большей части серыми бетонными коробками. На восточной стороне улицы всю площадь Сент-Джеймс, открытое зеленое пространство, окруженное толпой жилых домов восемнадцатого века,

сровняли бульдозером, чтобы расчистить место для одного из самых низменных, уродливых комплексов «торговый центр/отель», какие когда-либо выходили из мастерской архитектора. Теперь от эры величия Принсез-стрит остались разве что случайные обломки, такие как отель «Балтимор» и мемориал Скотта, да часть фасада универмага «Дженнерс».

Позже, уже возвращаясь домой, я нашел в своем справочнике «Книга британских городов» художественную иллюстрацию центра Эдинбурга как бы с высоты птичьего полета. Она изображала Принсез-стрит, из конца в конец застроенную старыми зданиями. То же относилось ко всем другим впечатлениям художников о британских городах — Норидже и Оксфорде, Кентербери и Стратфорде. Так нельзя, знаете ли. Нельзя сносить прекрасные старые строения и притворяться, будто они стоят, как стояли. Но именно это делается в Британии в последние тридцать лет, и не только со зданиями.

И на этой кислой ноте я ушел поискать настоящей еды.

Глава двадцать шестая

А теперь поговорим о чем-нибудь воодушевляющем. Поговорим о Джоне Фэллоузе. Как-то в 1987 году Фэллоуз стоял у окошка лондонского банка, ожидая, пока его обслужат, и тут перед ним втерся начинающий грабитель Дуглас Бат, помахал дробовиком и потребовал от кассира денег. Рассерженный Фэллоуз велел Бату «отвалить» в конец очереди — под одобрительные кивки других ожидающих. Неподготовленный к такому обороту событий Бат покорно удалился из банка с пустыми руками и тут же был арестован.

Я вспомнил здесь этот случай, чтобы отметить, что если есть золотое качество, характеризующее британцев, это благовоспитанность, и попирать ее — опасно. Уважительное внимание к окружающим — основа британской жизни, и без него, в сущности, не может завязаться ни один разговор. Почти каждое обращение к незнакомцу начинается со слов: «Я ужасно извиняюсь, но...», за которым следует та или иная просьба: «не могли бы вы сказать, как попасть в Брайтон», «помочь мне подобрать рубашку моего размера», «убрать ваш чемодан с моей ноги». И, когда вы исполните эту просьбу, британцы неизменно улыбнутся робкой виноватой улыбкой и снова извинятся, сожалея, то отняли ваше время или неосмотрительно подставили ногу под ваш чемодан. Я просто в восторге.

Иллюстрируя мою мысль: когда я на следующее утро выписывался из «Каледонии», женщина, стоявшая передо мной, беспомощно обращалась к портю.

— Я ужасно извиняюсь, но у меня в комнате никак не включается телевизор.

Видите ли, она не поленилась спуститься вниз, чтобы извиниться, что их телевизор не работает. Сердце мое захлестнула теплая волна любви к этой странной, необъяснимой стране.

И все это проделывается совершенно инстинктивно, вот в чем штука. Помнится, когда я был еще новичком в стране, я приехал на вокзал и обнаружил, что открыты всего два из дюжины окошек билетных касс. (Для иностранных читателей поясню, что, как правило, в Британии, сколько бы ни было окошек, открыты только два, разве что в час пик, когда открытым оказывается всего одно окошко.) Оба окошка были заняты. Так вот, в другой стране произошло бы одно из двух: либо пассажиры ломились бы в обе кассы, требуя внимания все одновременно, либо образовались бы две

медленно продвигающиеся очереди, и в каждой стояли бы мрачные люди, убежденные, что другая очередь движется быстрее.

А здесь, в Британии, ожидающие пассажиры спонтанно избрали более разумный и остроумный образ действий. Они выстроились в одну очередь в нескольким футах от обоих окошек. Когда одно из них освобождалось, стоящий первым подходил к нему, а остальные продвигались на шаг вперед. Это было на удивление справедливо, и, самое примечательное, что никто этого не предлагал и не распоряжался. Так получилось.

Примерно то же самое произошло и теперь, потому что, когда леди с заупрямившимся телевизором закончила извиняться (должен отметить, портье принял ее извинения с изумительным великодушием и даже намекнул, что если что-то в ее номере оказалось не в порядке, то ей никак не следует винить в этом себя), он обернулся ко мне и еще одному дождавшемуся джентльмену с вопросом: «Кто следующий?», и мы с ним совершили сложный ритуал «После вас, нет, только после вас, нет, прошу вас, благодарю, вы очень любезны», от которого на сердце у меня еще больше потеплело.

На второе утро в Эдинбурге я вышел из отеля в наилучшем расположении духа, взбодрившись от этих веселых и вежливых переговоров; солнце светило вовсю, и город снова преобразился. В тот день Джордж-стрит и Куин-стрит выглядели положительно очаровательными, солнечный свет начистил каменные фасады, и сырой мрачности, покрывавшей их накануне, как не бывало. Вдалеке блестел Ферт-оф-Форт, парки и скверы ярко зеленели. Я взобрался на Маунд к старым городским террасам, чтобы полюбоваться видом, и поразился, как сильно изменился город. Принсез-стрит оставалась шрамом архитектурных неудач, зато за ней на холмах теснились щеголеватые крыши и торчали колокольни, придававшие городу характер и элегантность, совершенно незамеченные мною вчера.

Я провел утро, как полагается туристу, — сходил в собор Святого Жилия и осмотрел Холируд, поднялся на вершину Калтон-Хилл и наконец захватил свой мешок и вернулся на вокзал, радуясь примирению с Эдинбургом и тому, что двигаюсь дальше.

Что за отличная штука путешествие поездом! Покачивание вагона убаюкало меня прежде, чем мы выехали из Эдинбурга, проехали его тихие предместья и Форт-бридж (черт побери, какой же это великолепный мост! Я только теперь понял, почему шотландцы поднимают из-за него столько шума). Поезд был довольно пустой и весьма шикарный. Вагон отделан в спокойных голубых и серых тонах, в резком контрасте с «подкидышами»,

на которых мне в последнее время приходилось ездить, и ход оказался таким успокаивающим, что веки мои налились невыносимой тяжестью, а шея стала как резиновая. Очень скоро голова моя склонилась на грудь, и я погрузился в производство нескольких галлонов слюны — увы, совершенно излишней.

Некоторым людям просто нельзя позволять спать в поездах, а если уж они уснули, их надо бы из скромности прикрывать брезентом, и, боюсь, я принадлежу к их числу. Не знаю, сколько времени спустя я проснулся, отрывисто всхрапнув и дико встрепенувшись, и обнаружил, что меня от бороды до пряжки ремня покрывает паутина слюны, а на меня с удивительным бесстрашием взирают три человека. Хорошо хоть, миновало привычное испытание, когда я просыпаюсь в окружении стайки маленьких детей, разглядывающих меня, разинув рты, и разбегающихся с криками, когда оказывается, что эта пускающая слюни туша — живая.

Отвернувшись от зрителей и украдкой утеревшись рукавом, я стал смотреть в окно. Мы проезжали по открытой местности, скорее приятной для глаз, чем драматичной, — пашни, убегающие к большим круглым холмам под небом, которое готово рухнуть под грузом собственной серости. Время от времени мы останавливались в каком-нибудь сонном городишке с вымершей маленькой станцией — Леди-парк, Капар, Личарз, — постепенно продвигаясь к несколько более крупным и чуть более оживленным Данди, Арброту и Монтрозу. И вот, часа через три после отправления из Эдинбурга, мы втянулись в Абердин под прозрачным и быстро гаснущим светом.

Я прижался носом к стеклу. Я никогда еще не бывал в Абердине и не знал никого, кто бы там побывал. Я почти ничего о нем не знал, только что главное в нем — нефтяные предприятия Северного моря и что он гордо называет себя «Гранитным городом». Абердин всегда казался мне далеким и экзотичным, из тех мест, куда вряд ли когда-нибудь попадешь, и мне очень хотелось его повидать.

Я заказал место в отеле, о котором тепло отзывался мой путеводитель (этот том затем отправился на растопку); отель оказался скучным и непомерно дорогим квадратным зданием вдали от центра. Мне досталась маленькая, плохо освещенная комната с потрепанной мебелью, кроватью как тюремная койка, тонким одеялом и единственной комковатой подушкой и с обоями, которые всеми силами стремились прочь от сырой стены. Когда-то в приступе честолюбия управляющий установил у кроватей панели, позволявшие включать свет, радио и телевизор, да еще со встроенным будильником, но все это не желало работать. Кнопка

будильника осталась у меня в руке. Вздохнув, я сбросил барахло на кровать и вернулся на темные улицы Абердина в поисках еды, питья и гранитного великолепия.

За долгие годы я успел убедиться, что ваше впечатление от города неизменно окрашено маршрутом, по которому вы туда попадаете. Приезжайте в Лондон через зеленые пригороды Ричмонд, Барнс и Патни, выезжайте через, скажем, Кенсингтон-Гарденс или Грин-парк, и вы поверите, что побывали в огромной, ухоженной Аркадии. А попадите в него через Саутэнд, Ромфорд и вокзал Ливерпуль-стрит, и вы увидите Лондон совсем другими глазами. Так что, возможно, дело просто в дороге, которую я выбрал от своего отеля. Знаю одно — я добрых три часа бродил по улицам и не сумел найти в Абердине ничего хотя бы отдаленно привлекательного. Там есть несколько более или менее оживленных вставок — открытая пешеходная зона вокруг Меркат-Кросс, интересный на вид маленький музей под названием «Дом Джона Донна», несколько впечатляющих университетских зданий, — но, сколько я ни кружил по центру, ноги неизменно приводили меня к огромному, блистающему торговому комплексу, беспощадно подавляющему свое окружение (меня, ругающегося под нос и растерянного, все время заносило в тупик для выгрузки товаров и накопления картонных коробок). Единственная широкая, бесконечная улица была застроена точно теми же магазинами, каких я навидался во всех прочих городах за последние шесть недель. Я был как будто везде и нигде — то ли маленький Манчестер, то ли выхваченный наугад клочок Лидса. Тщетно искал я место, где можно было бы остановиться, подбоченясь, и сказать: «Ага, вот это — Абердин!» Еще, может быть, сыграло роль унылое время года. Я читал где-то, что Абердин девять раз побеждал в британском цветочном конкурсе, но нигде не заметил садов или зелени. А главное, не было у меня ощущения, что я попал в богатый и гордый город, выстроенный из гранита.

В довершение всего я не мог выбрать, где бы поесть. Мне захотелось чего-то необычного, чего-то, чего я еще не пробовал сотню раз за эту поездку, — то ли тайландской, то ли мексиканской, а может быть, индонезийской или даже шотландской кухни, — но повсюду попадались обыкновенные китайские и индийские ресторанчики, большей частью на боковых улицах, и вели к ним лестницы, глядя на которые можно было подумать, что их пристроили специально для мотоциклетного ралли, а я не мог подвигнуть себя на столь крутой подъем к неизвестности. Так или иначе, я точно знал, что найду: тусклый свет, вестибюль с обшарпанной стойкой, зудящую азиатскую музыку, столики, заставленные кружками

светлого пива и грелками для тарелок из нержавеющей стали. Я не мог на такое решиться. Кончилось тем, что я в отчаянии сыграл сам с собой в орлянку на углу, и выпал мне индийский ресторан. Он был во всех отношениях точь-в-точь как любой другой индийский ресторан, в каких я перебивал за эти недели. Даже послеобеденная отрыжка имела точно тот же вкус. Я вернулся в свой отель в смутном беспокойстве.

С утра я отправился на обход города в искренней надежде, что он придется мне больше по душе, но увы, увы! Нельзя сказать, чтобы в Абердине что-то было не так, скорее, он страдает от излишней безупречности. Я пошастал вокруг нового торгового центра, отходя от него в глубину улиц, но все они оказались одинаково бесцветными и незапоминающимися. И тогда я сообразил, что беда не в Абердине, а в самой природе современной Британии. Британские города напоминают колоду карт, которую без конца тасуют и пересдают — те же карты в другом порядке. Если бы я приехал в Абердин прямо из другой страны, он, возможно, представился бы мне приятным и удобным. Город процветающий и чистый, в нем есть книжные магазины и кинотеатры, университет и многое другое, что может понадобиться городу. Я несколько не сомневаюсь, что жить в нем хорошо. Просто уж очень он похож на все остальные города. Да и как иначе, раз это британский город?

Как только эта мыслишка уложилась у меня в голове, Абердин стал мне нравиться куда больше. Не могу сказать, чтобы мне захотелось немедленно сюда переселиться — да и зачем, если точно то же самое: те же магазины, библиотеки и центры досуга, те же пабы и телепрограммы, те же телефонные будки, почтовые отделения, светофоры, парковые скамейки, «зебры» на переходах, морской воздух и пост-индийско-кухонную отрыжку можно получить где угодно? Станным образом те самые черты, которые накануне вечером делали Абердин таким скучным и предсказуемым, теперь придавали ему уют и позволяли чувствовать себя как дома. И все же так и не возникло чувство, будто меня окружает сплошной гранит, и я без сожаления, забрав свои вещи из отеля, вернулся на вокзал, чтобы продолжить торжественное продвижение к северу.

Поезд опять попался очень чистый, в тех же успокаивающих серых и голубых тонах. В нем было два вагона, зато их обслуживал проводник, что произвело на меня впечатление. Беда в том, что молодой человек, занимавший эту должность, исполнял свои обязанности очень уж ревностно — у меня сложилось впечатление, что он совсем недавно начал работать и еще не прошел той стадии, когда разносить чай и давать сдачу кажется игрой; но поскольку в его распоряжении имелись всего два

пассажира, кроме меня, и всего 60 ярдов вагонов для обхода, он появлялся рядом в среднем каждые три минуты. Зато постоянный рокот колес тележки не давал закемарить и впасть в неуместное слюнотечение.

Мы проезжали приятную, но не слишком живописную местность. По прежним поездкам север Шотландии был мне знаком своим более драматичным западным побережьем, и по сравнению с ним эта часть страны звучала приглушенно — округлые холмы, плоские поля ферм, кое-где проблески пустынного, серого, как сталь, моря; ничто здесь не резало глаз. И ничего не происходило, кроме взлета большого самолета в Нэйрне. Он проделал в воздухе всевозможные чудеса, взбирался вертикально вверх на сотни футов, потом медленно опрокидывался и несся к земле и снова резко взмывал в самый последний момент. Наверно, это была какая-то тренировочная база самолетов Королевских ВВС, но увлекательнее было тешить себя мыслью, что самолет похищен террористом с самоубийственными наклонностями. И тут произошло самое интересное. Самолет взял курс на поезд, прямо-таки бросился на него, словно пилот, заметив вагоны, решил прихватить нас с собой. Летательный аппарат становился все больше и больше, все ближе и ближе — я с беспокойством огляделся, но разделить мое волнение было некому, — и наконец совсем заполнил собой окно, и тут поезд вошел в распадок, и откос закрыл самолет. Чтобы успокоить нервы, я купил с тележки чашку кофе и пакетик печенья и стал ждать появления Инвернесса.

В Инвернесс я влюбился с первого взгляда. Он никогда не выигрывает конкурса красоты, но в нем есть очаровательные черты — старомодная маленькая киношка под названием «Ла Скала», хорошо сохранившийся рынок-пассаж, большой и грешащий восхитительными излишествами замок девятнадцатого века из песчаника на холме и роскошные дорожки вдоль реки. Меня особенно подкупил полутемный пассаж, этакий тайный ход, закрытый, по-видимому, все в том же 1953 году. В нем была парикмахерская с вращающимся шестом перед входом, а внутри — портреты людей, которые, похоже, копировали модели причесок у персонажей «Тандербердс»^[37].

Была в нем даже лавка розыгрышей, торгующая такими полезными и интересными предметами, каких я не видел уже много лет: чихательным порошком, пластмассовой блевотиной (очень удобно, чтобы занимать место в вагоне) и жевательной резинкой, окрашивающей зубы в черный цвет. Лавка оказалась закрыта, но я сделал в памяти зарубку: вернуться утром и запастись впрок.

Главное в Инвернессе — великолепная река: зеленая, спокойная,

очаровательно занавешанная деревьями, окаймленная с одной стороны большими домами, аккуратным маленьким парком и старым замком из песчаника (теперь в нем районный суд), а с другой — старыми отелями с островерхими крышами и собором бесстрастного нотрдамского величия, стоящим на широком лугу у реки. Я наугад выбрал отель и немедленно отправился на прогулку сквозь сгущающиеся сумерки. Вдоль реки по обоим берегам тянулись изящные прогулочные дорожки, заботливо уставленные скамейками — очень кстати для вечерних прогулок. Я прошел, может быть, две мили по тому берегу, где проходит Хогроуд, мимо островков, к которым тянулись викторианские подвесные мостики.

Почти все дома на берегах реки были построены в век прислуги: просторные и причудливые. Я дивился, что привлекало в Инвернесс поздневикторианских богачей и кто теперь ухаживает за этими прекрасными развалинами. Неподалеку от замка, на просторном участке, который агент по застройке, надо думать, назвал бы первоклассным расположением, стоял особенно роскошный и затейливый особняк с башенками и надстройками. Это был дивный просторный дом из тех, по которым вполне можно развезжать на велосипеде, но окна его были загорожены щитами, вокруг парило запустение, и все предназначалось на продажу. Мне в голову не приходило, что такой заманчивый участок может оказаться никому не нужным. Проходя мимо, я размечтался: купить бы его за «спасибо», привести в порядок и жить долго и счастливо на этих обширных землях у столь заманчивой реки. Но тут мне пришло в голову, что скажет моя семья, если вместо страны дешевых распродаж, 100-канального телевидения и гамбургеров размером с голову младенца я привезу их на сырой север Шотландии.

И все равно, как ни жаль, я не смог бы жить в Инвернесе из-за двух сенсационно уродливых современных конторских зданий, которые стоят у центрального моста и непоправимо портят центр города. Тогда, возвращаясь к центру, я наткнулся на них и был просто сражен: как две бездушных постройки могут испоганить целый город. Все в них: масштаб, материал, архитектура — безумно противоречило окружению. Они были не просто велики и уродливы, но еще и так нелепо спланированы, что пришлось бы обойти их по меньшей мере дважды, чтобы вычислить расположение парадного входа. В том из них, что больше другого, на стороне, выходящей на реку, где можно было бы разместить ресторан, террасу или хотя бы магазин с хорошим видом, большая часть фасада была отдана большим загрузочным воротам с высокими металлическими створками. И это в здании, выходящем на одну из красивейших рек

Британии! Это ужасно, так ужасно, что нет слов.

Недавно я побывал в Хобарте, на Тасмании, где сеть «Шератон» выстроила потрясающе убогий отель на прекрасной набережной. Мне сказали, что архитектор, не видевший участка строительства, расположил ресторан отеля сзади, так что обедающим не видна гавань. Тогда я решил, что худшего примера архитектурной безмозглости и представить нельзя. Не думаю, чтобы инвернесскую парочку мог проектировать тот же мастер — хотя страшно подумать, что в мире могут существовать два подобных архитектора, — но определенно он работал для той же фирмы.

Из всех зданий Британии, которые я бы с величайшим удовольствием взорвал, — здание «Маплс» в Харроугейте, отель «Хилтон» в Лондоне, здание почтамта в Лидсе, любое из тех, что принадлежат британскому «Телекому», — во главу списка я не замедлил бы поставить эти два. А вот вам головоломка. Угадайте, кто бы мог обитать в этих двух душераздирающих уродцах? Нет, я сам скажу. То, что побольше, занимает региональный совет по предпринимательству Северной Шотландии, а во втором размещается совет по предпринимательству Инвернесса и Нэйрна — две организации, которым доверено обеспечивать привлекательность и благосостояние этого красивого и важного уголка страны. Боже!

Глава двадцать седьмая

У меня были большие планы на утро: я собирался зайти в банк, купить пластмассовую блевотину, заглянуть в местную художественную галерею, возможно, еще погулять над прекрасной рекой Несс, но я проснулся так поздно, что времени оставалось только кое-как натянуть одежду, выписаться из отеля и во весь дух нестись на вокзал. Дальше Инвернесса поезда ходят нерегулярно — всего три раза в день до Терсо и Уика, так что опаздывать было непозволительно.

Поезд уже стоял у платформы, тихонько гудел и отправился вовремя. Состав тянулся вдоль обрыва круглых гор и холодного плоского Боулиферта. Скоро колеса застучали по рельсам красивой старой дороги. Пассажиров на сей раз было больше, и проводник снова катал тележку, но никто у него ничего не покупал, потому что почти все пассажиры были пенсионерами и прихватили в дорогу собственную провизию.

Я купил цыпленка тандури и кофе. Как далеко мы ушли! Я еще помню времена, когда, купив у Британских железных дорог сэндвич, приходилось гадать, не последняя ли это трапеза перед долгими неделями в реанимации. Да и купить его было нельзя, потому что вагон-ресторан неизменно оказывался закрыт. А вот теперь я ем сэндвич с цыпленком тандури и запиваю вполне пристойным кофе, поданным прямо на место приличным и приветливым молодым человеком из двухвагонного состава, идущего на север Шотландии.

Вот кое-какая любопытная статистика: возможно, скучноватая, но ее надо знать. Инфраструктура железных дорог в Европе обходится на человека в год: 20 фунтов в Бельгии и Германии, 31 во Франции, более 50 в Швейцарии, а в Британии не дотягивает до жалких 5 фунтов. Британия тратит на улучшение условий на железных дорогах меньше всех стран Европейского Союза, исключая только Грецию и Ирландию. Даже Португалия тратит больше. И штука в том, что, несмотря на такое нищенское финансирование, в стране отлично работает железнодорожное сообщение. В поездах стало намного чище, чем было когда-то, и обслуживают в них более вежливо и терпеливо. Билетеры, благослови их, Боже, всегда говорят «спасибо», «пожалуйста», а еда вполне съедобна.

Я съел своего цыпленка и выпил кофе с удовольствием и благодарностью, а время между кусочками и глоточками коротал, наблюдая, как седая пара через столик от меня раскапывает свои дорожные

припасы, расставляет маленькие пластмассовые коробочки с ветчинным пирогом и яйцами вкрутую, достает термосы, отвинчивает крышечки, отыскивает солоночку и перечницу. Разве не поразительно: дайте паре стариков полотняный саквояжик, набор контейнеров «Таппервэр» и термос, и они способны забавляться часами. Пара действовала с отработанной точностью, в полном молчании, как будто готовилась к этому событию годами. Накрыв на стол, они четыре минуты очень деликатно кушали, а потом большую часть утра провели, упаковывая все заново. Выглядели они совершенно счастливыми.

Глядя на них, я тепло вспомнил свою матушку, тоже большую поклонницу «Таппервэр». Она не устраивает пикников в поездах, потому что в той части страны, где она живет, поезда больше не ходят, но любит раскладывать оставшуюся еду по пластиковым контейнерам разных размеров и прятать их в холодильник. Думаю, это общая странность всех матерей. Едва вы покидаете дом, они радостно выкидывают все ваши детские сокровища — драгоценную коллекцию бейсбольных мячей, полную подборку «Плэйбоя» за 1966–1975 годы, ваш школьный дневник; но дайте им полперсика и ложку недоеденного горошка, и они упакуют их в пластиковый контейнер и спрячут на дальнюю полку холодильника, чтобы хранить чуть ли не вечно.

Так прошла долгая поездка до Терсо. Мы катили через все более пустынную и голую местность: холодные безлесные пустоши с кустиками, жмущимися к скалам, как лишайник, с редкими овечками, пугливо шарахавшимися от поезда. Время от времени мы проезжали извилистые ущелья с фермами, которые издаലെка выглядели романтичными и милыми, а вблизи оказывались голыми и неудобными. По большей части это были маленькие хозяйства, заполненные ржавой жестью: жестяные сараюшки, жестяные курятники, жестяные изгороди — и все шаткое и потрепанное непогодой. Мы въезжали в одну из тех жутковатых зон на краю света, где никогда ничего не выбрасывают. Двор каждой фермы был завален грудями старья, будто хозяева считали, что рано или поздно им пригодятся 132 полусгнивших столба для изгороди, тонна битого кирпича и корпус «форда-зодиак» 1964 года.

Через два часа от Инвернесса мы подъехали к Голспи. Это приличных размеров городок с большими муниципальными районами и извилистыми улочками, застроенными бунгало из серого щебня, словно скопированными с общественных туалетов — в Шотландии к ним питают необъяснимое пристрастие. А вот фабрик и рабочих мест там нет. Хотел бы я знать, чем зарабатывают на жизнь люди в таких селениях, как Голспи? Следующей

станцией была Бора, еще один немаленький поселок, с набережной, но без гавани и, насколько я мог видеть, без фабрик. Нет, чем же они все-таки живут, в таких местечках, вдали от всего на свете?

Потом местность стала совсем пустой — ни ферм, ни пасущихся животных. Мы целую вечность ехали через великую шотландскую пустыню, целые мили пустоты, пока, посреди великого ничто, не наткнулись на местечко под названием Форсинард: два дома, железнодорожная станция и необъяснимо большой отель. Что за странный затерянный мир! А потом наконец-то мы прибыли в Терсо, самый северный городок британской большой земли, конечная станция во всех смыслах слова. Я вышел на платформу на подкашивающихся ногах и по длинной главной улице направился к центру.

Я представления не имел, чего ожидать, но первые впечатления оказались благоприятными. Городок выглядел чистеньким, содержался в порядке, был скорее уютным, чем зрелищным, и значительно больше, чем я ожидал, к тому же с несколькими маленькими отелями. Я снял номер в отеле «Пентленд», оказавшемся достаточно милым на мертвенно тихий, не от мира сего лад. Я получил ключ у симпатичной дежурной, доставил свой багаж в далекую комнату, к которой вел полный призраков извилистый коридор, и вышел, чтобы оглядеться.

Великим событием в жизни Терсо, согласно летописям, отмечен 1834 год, когда сэр Джон Синклер, местный богач, ввел в обиход слово «статистика», но с тех пор жизнь протекала более монотонно. Синклер, когда не был занят изобретением неологизмов, еще усердно перестраивал город, одарив его роскошной библиотекой с легким налетом барокко и маленькой площадью с крошечным сквером посередине. Вокруг площади сегодня стоит скромный ряд полезных, приветливых на вид магазинчиков — аптека и мясная лавка, винная торговля, один-два бутика, россыпь банков, множество парикмахерских салонов (почему это в захолустных городишках всегда изобилие парикмахерских?) — короче, чуть ли не все, на что можно рассчитывать в образцовом населенном пункте. Был там и старомодный «Вулворт», но, кроме него и банков, все остальное казалось местной принадлежностью, и оттого Терсо представлялся по-домашнему милым. В нем царил дух настоящего самостоятельного селения, и мне это очень понравилось.

Я поболтался немного по торговым улочкам, потом какими-то переулками выбрался к набережной, где нашел одинокий рыбный склад, затерянный на акре пустой автостоянки, и огромный пустой пляж, о который с грохотом разбивался прибой. Свежий морской ветерок бодрил, и

мир купался в эфирном северном свете, от которого море будто светилось, на всем лежал странный слабый голубоватый отблеск, и я тем острее почувствовал себя на чужбине.

На дальнем конце пляжа стояла призрачная башня — обломок старого замка. Я отправился на разведку. Меня отделял от башни каменистый ручей, так что пришлось вернуться к мостику на некотором расстоянии от пляжа, а потом пробираться по глинистой тропке, щедро посыпанной мусором. Башня обветшала, ее нижние окна и дверной проем были заложены кирпичом. Висевшее рядом объявление предупреждало, что береговая тропа закрыта из-за эрозии почвы. Я долго простоял на этом протянувшемся в море мыске, потом повернулся лицом к городу и задумался, что делать дальше. Терсо предстояло стать моим домом на следующие три дня, и я не слишком представлял, чем заполнить избыток свободного времени. Запах соленого моря и ощущение полной заброшенности на минуту привели меня в состояние тихой паники, словно я попал на макушку земли, где не с кем поговорить, а самое увлекательное развлечение — старая замурованная башня. Я вернулся в город той же дорогой, какой пришел, и за неимением лучшего занятия принялся глазеть на витрины. И у витрины бакалейной лавки это случилось — то, что рано или поздно всегда случается со мной в дальних поездках. Как я боялся этой минуты!

Я принялся задавать самому себе вопросы без ответов.

Видите ли, продолжительные одинокие путешествия оказывают на людей разное воздействие. Очень уж неестественно очутиться в незнакомом месте с ничем не занятыми мозгами и без особых причин там быть, так что, в конце концов, не диво малость свихнуться. Я не раз наблюдал это на других. Одни путешественники-одиночки начинают беседовать сами с собой, ведут негромкий и невнятный разговор, полагая, что со стороны это незаметно. Некоторые отчаянно ищут общества, завязывают знакомства у прилавка магазинов и у стойки портье и надолго застревают там, прежде чем наконец убраться. Некоторые превращаются в маньяков достопримечательностей, таскаются от одной к другой с путеводителем в руках, героически решив обойти все до единой. А на меня нападает нечто вроде вопросного поноса. Я задаю сам себе неслышимые вопросы — десятками и сотнями, вопросы, на которые не способен ответить. Вот так я и стоял у бакалеи в Терсо, глядел, оттопырив губы, на ее полутемный интерьер, и в более или менее пустой голове невесть откуда возникла мысль: «Почему этот плод называли грейпфрутом?» Тогда я понял, что процесс пошел. Вообще говоря, вопрос не так уж плох. В самом деле,

почему этот фрукт называется грейпфрутом — виноградным плодом? Не знаю как вам, а если бы мне показали желтый и кислый фрукт размером с пушечное ядро, я вряд ли сказал бы: «Знаете, он напоминает мне виноград».

Беда в том, что, когда это начинается, меня уже не остановить. В одном из соседних магазинов я увидел в витрине джемперы и задумался: почему британцы называют их джемперами — одеждой для прыжков? Собственно говоря, я размышлял на эту тему не первый год, обычно в отдаленных местах вроде Терсо, и искренне хотел бы узнать: неужели они так располагают к прыжкам? Неужели, надевая утром джемпер, человек думает: «Мне не только весь день будет тепло — существенное соображение для нации, которая никак не может ввести у себя центральное отопление, — но еще, если вздумается попрыгать, я буду соответственно снаряжен»?

Так и пошло. Я шагал по улице под метеоритным дождем вопросов. Почему мы говорим «хлюпать носом»? (Мой, например, не хлюпает, а рычит.) Кто первым попробовал устрицу и каким образом кому-то пришло в голову, что амбра — отличный фиксатор для духов?

Я по долгому опыту знаю, что когда такое накатывает, нужно серьезно отвлечься, чтобы вытряхнуть кашу из головы, и, к счастью, в Терсо нашлось на что отвлечься. На одной из боковых улочек я как раз начал рассуждать, почему мы, когда счастливы, говорим «потерял голову от счастья» и что в том хорошего, и тут мне случилось наткнуться на чудесное маленькое заведение под названием «Фонтан», предлагавшее три полных и разных меню: китайское, индийское и «европейское». Как видно, Терсо не по карману оказалось содержать три отдельных ресторана, и потому единственный ресторан предлагал три кухни сразу.

Мгновенно оценив достоинства этой идеи, я вошел внутрь, где милая молодая леди проводила меня к столику и оставила с многостраничным меню. Из титульного листа следовало, что все три вида кушаний готовит один повар-шотландец, поэтому я пролистал страницы в надежде обнаружить на них «кисло-сладкие овсяные печенья» или «хаггис виндалу», однако нашел только привычные блюда. Избрав китайский вариант, я развалился на стуле и погрузился в блаженное безмыслие. Еда, когда ее подали, оказалась на вкус, должен сказать, такой, какой и должна быть китайская еда, приготовленная шотландцем, — и это не значит, что она не была вкусной. Просто она на удивление отличалась от всех китайских блюд, какие мне доводилось пробовать. Чем больше я ел, тем больше она мне нравилась. Во всяком случае, хоть какое-то разнообразие, а

именно его мне и не хватало на той стадии путешествия.

После еды мне сильно полегчало. За неимением лучшего я снова прогулялся к складу, чтобы подышать вечерним воздухом. Стоя на темном берегу, слушая грохот прибоя и с удовлетворением глядя на огромный звездный купол над головой, я подумал: «Кто решил, что Херефорд и Вустер — остроумные названия для графств?» — и понял, что пора отправляться в постель.

Утром, разбуженный своим будильником, я неохотно оторвался от любимого сна — будто мне принадлежит большой далекий остров, похожий на острова у этой части шотландского побережья, и будто я приглашаю туда тщательно отобранных гостей, вроде изобретателя рождественских гирлянд, которые гаснут, когда перегорает одна лампочка, человека, ответственного за работу эскалаторов в аэропорту Хитроу, почти всех, кто хоть раз писал руководство по пользованию персональными компьютерами, и, конечно, Джона Селвина Гаммера^[38], выпускаю их на волю, снабдив очень скудным пайком, после чего собираю свору свирепых псов и начинаю беспощадную травлю — и вспомнил, что впереди у меня великий, волнующий день. Меня ждал мыс Джон-о-Гроутс.

Я много лет слышал о Джон-о-Гроутсе, но понятия не имел, как он выглядит. Место представлялось невыразимо экзотичным, и я жаждал его увидеть. Поэтому я кое-как проглотил завтрак в отеле «Пентленд», где был единственным едоком в зале, и с девятым ударом часов уже ждал Уильяма Даннета, местного представителя фирмы «Форд», с которым за несколько дней договорился по телефону о найме автомобиля — единственного средства попасть на мыс в это время года.

Человек в приемной не сразу вспомнил о нашей договоренности.

— А, это вы — тот южанин, — протянул он, вспоминая, чем немало потряс меня. Не часто Йоркшир называют «югом».

— Отсюда, пожалуй, все — юг? — спросил я.

— Да, ну да, пожалуй, что так, — откликнулся он, словно пораженный глубиной моей мысли.

Он был приветливым парнем — в Терсо все приветливы; и, пока он царапал по обширному листу, уполномочивающему меня на временное владение двумя тоннами опасного металла, мы дружелюбно болтали о жизни на этих отдаленных окраинах цивилизации. Он рассказал мне, что на машине до Лондона шестнадцать часов езды, хотя мало кто туда ездит. Для большинства местных жителей Инвернесс, лежащий в четырех часах на машине к югу, был пределом известного мира.

Я стосковался по общению, словно много месяцев ни с кем не

разговаривал, и теперь засыпал его вопросами:

— Чем жители Терсо зарабатывают на жизнь? Как случилось, что замок так обветшал? Куда местные едут, если им требуется купить диван, или посмотреть кино, или поесть китайских блюд, приготовленных не шотландцем, или еще что-нибудь сверх скромного списка удовольствий, доступных в городке?

Так я узнал, что осью местной экономики является Данрейский атомный реактор, расположенный поблизости, что замок прежде был красив и за ним хорошо следили, но теперешний владелец запустил его до такого вот состояния и что в Инвернесе есть все, что может понадобиться. При этих словах я, верно, выдал свое изумление, потому что он с улыбкой добавил:

— Ну, там есть «Маркс и Спенсер».

Потом вывел меня наружу, усадил в водительское кресло «тезауруса» (или чего-то вроде того — я не силен в марках машин), наскоро объяснил действие всех многочисленных рычажков и кнопок на приборной доске и постоял с застывшей нервной улыбкой, пока я включал механизмы, которые выдернули спинку кресла из-под моей спины, заставили багажник открыться, а дворники — забиться в штормовом режиме. Потом, грозно заскрежетав и задергавшись, мы с моим экипажем выдвинулись со стоянки по новой, щедрой на ухабы дороге и свернули к шоссе.

Миг спустя — так мал Терсо — я уже очутился на трассе и с легким сердцем несся к мысу Джон-о-Гроутс. Ландшафт был захватывающе пустынным: кустистая, побитая холодами трава, сбегавшая к бурному морю и туманным Оркнейским островам вдали, но ощущение простора кружило голову, и впервые за много лет я относительно спокойно чувствовал себя за рулем. Врезаться здесь было совершенно не во что.

Оказавшись на крайнем севере Шотландии, вы и в самом деле попадаете на край великой пустыни. Во всем Кайтнесе всего 27 000 человек населения — примерно столько же, сколько в Хэйвордс-Хите или в Истли, — и это на площади, заметно большей, чем большинство английских графств. Больше половины населения собраны всего в двух городках — Терсо и Уике, а на Джон-о-Гроутс населения вовсе нет, потому что Джон-о-Гроутс — не населенный пункт, а место, где останавливаются, чтобы купить открытку и мороженое. Названо оно по Яну де Груту — голландцу, который держал паромную переправу оттуда куда-то еще (к Амстердаму, если в голове у него хоть что-то было) в пятнадцатом веке. Как видно, он брал плату за перевоз, и в тех местах вам расскажут, что плата — четыре пенса — потом стала называться «грот», но это жалкая

выдумка, куда более вероятно, что Грута прозвали по монете, а не ее — по нему. Да, в конце концов, какая разница?

Ныне Джон-о-Гроутс представляет собой просторную автостоянку, маленькую пристань, одинокий белый отель, пару киосков мороженого и три-четыре лавочки, торгующих открытками, свитерами и видеозаписями певца по имени Томми Скотт. Мне казалось, что должен быть еще знаменитый указатель с подсчетом миль до Сиднея и до Лос-Анджелеса, но найти его я не сумел — может, его снимают на зиму, чтобы кто-нибудь не уволок с собой как сувенир. Открыта была только одна лавочка. Я вошел и с удивлением обнаружил, что в ней работают три леди средних лет — некоторая роскошь, поскольку я был единственным туристом на 400 миль вокруг.

Леди были чрезвычайно веселы и милы и горячо приветствовали меня с изумительным горским акцентом, таким клинически точным и в то же время сладкозвучным. Я развернул несколько джемперов, чтобы им было чем заняться после моего ухода, поглазел, разинув рот, на демонстрационную запись Томми Скотта, расппевающего бодрые шотландские мотивы на разных продуваемых ветром мысах (молчу-молчу), купил несколько открыток, неторопливо выпил чашечку кофе, поболтал с дамами о погоде, потом вышел на ветреную площадку и понял, что больше на мысу делать нечего.

Я побродил над бухтой, заглянул, сложив ладони трубочкой, в окно маленького музея, закрытого до весны, одобрительно обозрел вид через Пентланд-ферт на Стому и Олдмэн-оф-Хой и побрел обратно к машине. Вы, возможно, и сами знаете, что Джон-о-Гроутс — не самая северная точка Шотландии. Эта честь принадлежит мысу под названием Даннет-Хед, в пяти или шести милях дальше по проселочной дороге. Туда я и поехал. Даннет-Хед по части развлечений еще беднее, чем Джон-о-Гроутс, но там стоит красивый автоматический маяк, и вид на море оттуда — настоящая сенсация, и очень здорово почувствовать себя вдали от всего на свете.

Я долго простоял на ветреном мысу, любуясь видом и ожидая, что на меня снизойдет некая глубокая мысль — ведь это был конец пути, крайняя точка моего маршрута. Какая-то часть меня рвалась взойти на паром и проехаться по разбросанным в море каменным островкам до самых Шетландов, но время поджимало, да и особой нужды в том не было. При всем своем суровом и возвышенном очаровании Шетландские острова — всего лишь еще один кусочек Британии, с теми же магазинами, теми же телепрограммами и теми же жителями в кардиганах из «Маркс и Спенсер».

Я не вижу в том ничего плохого — скорее наоборот, но и особой необходимости обозреть все это немедленно я не ощущал. Не в последний раз я тут.

На пути моей наемной машины лежал еще один пункт. В шести или семи милях от Терсо расположена деревушка Холкерк. Ныне она забыта, но в годы Второй мировой войны была знаменита как самое-самое непопулярное место дислокации британских солдат — из-за ее отдаленности и пресловутого недружелюбия местных жителей.

Солдаты здесь распевали очаровательную песенку в таком роде:

Этот хренов городишко — просто грязная дыра.
Ни автобусов, язви их, ни трамваев.
Никому мы не нужны, все забыли бедных нас
В этом долбаном-раздолбаном Холкерке.

Здесь скучища — мухи дохнут, прямо воем от тоски,
Нет ни игр здесь, язви их, ни футбола.
Мимо дамочка пройдет — даже глазом не ведет
В этом долбаном-раздолбаном Холкерке.

Там еще десяток куплетов в том же восторженном тоне (отвечаю на напрашивающийся вопрос: нет, я проверял, Томми Скотт брал за образец не их). И вот теперь я ехал в Холкерк по пустынной дороге В874. Ну, много говорить о Холкерке не приходится — пара улочек и дорога в никуда, мясная лавка, строительная контора, два паба, маленькая бакалея и сельский клуб с военным мемориалом.

По всем признакам Холкерк испокон веков был маленькой скучной вставкой в общую пустоту вокруг, однако на памятнике значились имена шестидесяти трех погибших в Первую мировую войну (девять — по фамилии Синклер и пять Сазерлендов) и восемнадцать — во Вторую.

С окраины деревни открывался вид на много миль травянистой равнины, но нигде не видно было развалившихся армейских казарм. Строго говоря, не видно было ничего, кроме бесконечной травянистой равнины. Меня одолела любознательность, и я зашел в бакалею. Это была самая странная бакалея, какую мне приходилось видеть, — большая, похожая на сарай зала, почти темная и почти пустая, если не считать пары

металлических стеллажей у двери. И они тоже были почти пусты, не считая нескольких завалывшихся пакетов со всякими мелочами. Еще там были кассир и покупатель, расплачивавшийся за какую-то пустяковую покупку. Их я и спросил насчет армейского лагеря.

— О, да, — ответил хозяин. — Большой лагерь военнопленных. К концу войны у нас здесь было четырнадцать тысяч немцев. Вот книга об этом. — К некоторому моему удивлению, вызванному скудостью других товаров, у кассы обнаружилась стопка иллюстрированных книг под названием, кажется, «Кайтнесс в войну» или что-то в этом роде, и он вручил мне одну из них. Она была полна обычных фотографий разбитых бомбами домов и собравшихся в пабах людей, озабоченно почесывающих в затылке или глядящих в камеру с идиотской ухмылкой, которая всегда оказывается на фотографиях людей при катастрофах, как будто они думают: «Ну, зато мы попали в «Пикчер Пост»». Я не нашел ни одной фотографии солдата, скучающего в Холкерке, и в указателе не было названия деревни. За книгу просили ни много ни мало — 15.95 фунта.

— Хорошая книга, — ободряюще заметил хозяин, — и стоит недорого.

— У нас здесь в войну было четырнадцать тысяч немцев! — проревел мне, как глухому, старикан-покупатель.

Я не знал, как бы потактичнее расспросить о мрачной репутации Холкерка, и задумчиво предположил:

— Должно быть, британские солдаты чувствовали себя довольно одиноко?

— О, нет, не думаю, — возразил продавец. — Терсо рядом, и Уик тоже, если захотелось разнообразия. Тогда даже танцы бывали, — немного хвастливо добавил он и кивнул на книгу у меня в руках: — Это недорого.

— А осталось что-нибудь от старой базы?

— Ну, здания, конечно, снесли, но если пройдете вон туда, — он махнул рукой, указывая направление, — то увидите фундаменты. — Помолчав, спросил: — Так берете?

— О... может, я еще вернусь, — соврал я и вернул книгу.

— Недорого, — повторил продавец.

— Четырнадцать тысяч немцев! — прокричал мне вслед покупатель.

Я прошелся по округе, осмотрел окрестности из машины, но не нашел ни следа лагеря военнопленных. Постепенно до меня стало доходить, что вряд ли это так важно, так что я попросту вернулся в Терсо и возвратил машину представителю «Форда» — к нескрываемому удивлению этого дружелюбного парня — уже в начале третьего.

— Вы уверены, что вам больше никуда не нужно? — спросил он. —

Просто неловко, вы ведь оплатили целый день.

— А куда еще можно съездить? — спросил я.

Он минуту поразмыслил и огорченно признал:

— Да, пожалуй, больше и некуда.

— Ничего, — утешил я, — я уже насмотрелся, — подразумевая не только окрестности Терсо.

Глава двадцать восьмая

А теперь о том, почему я, бывая в Терсо, всегда буду останавливаться в отеле «Пентленд». Накануне вечером я попросил любезную портье разбудить меня звонком в 5 часов утра, чтобы я успел на первый поезд к югу. А она спросила — лучше сядьте, если вы стоите — она спросила:

— Вам подать горячий завтрак?

Я решил, что она малость не в себе, и повторил:

— Я имел в виду пять часов утра. Я уйду полшестого, понимаете? В половине шестого. Утра.

— Да, дорогой. Вам подать горячий завтрак?

— В пять утра?

— Он включен в плату за номер.

И черт меня побери, если это изумительное маленькое заведение не обеспечило мне целую тарелку горячей еды и горячий кофейник в предрассветный час, в четверть шестого на следующее утро.

Я покинул отель счастливым и немного располневшим, добрался в темноте до станции, и тут меня поджидал второй сюрприз этого утра. Платформа была полна женщин, бодро наполнявших морозный темный воздух облачками пара от дыхания и веселыми горским голосами и терпеливо дожидавшихся, пока проводник докурит сигарету и откроет двери вагона.

Я спросил у одной леди, что происходит, и она объяснила, что все собрались в Инвернесс за покупками. Они ездят туда каждую субботу. Они проведут в поезде чуть не четыре часа, затоварятся панталонами из «Маркс и Спенсер», пластиковой блевотиной и прочими благами Инвернесса, отсутствующими в Терсо — довольно многочисленными, — потом на шестичасовом поезде вернутся домой и лягут спать.

Так мы и ехали сквозь туманное раннее утро — целая толпа, уютно набитая в двухвагонный состав, в настроении радостного предвкушения. В Инвернессе была конечная станция, и все мы выгрузились: леди — чтобы отправиться по магазинам, а я — чтобы пересесть на 10:35 на Глазго. Глядя им вслед, я с удивлением почувствовал, что во мне шевельнулась зависть. Как это необычно — подняться до рассвета, ехать за покупками в какой-то Инвернесс, вернуться домой в одиннадцатом часу вечера! Притом я едва ли видел когда-нибудь более счастливую толпу покупателей.

В маленьком поезде на Глазго было почти пусто, а за окном мелькали

роскошные пейзажи. Мы проезжали Эвимор, Питлохри, Перт и Глениглс — маленькие станции, теперь, увы, закрытые. И наконец, спустя восемь часов с утреннего подъема, оказались в Глазго. Странно было после столь долгого пути выйти с вокзала Куин-стрит и обнаружить, что ты все еще в Шотландии.

Хорошо хоть, это не оказалось потрясением для организма. Помнится, в 1973 году, впервые попав в Глазго и выйдя с того же вокзала, я был до глубины души поражен удушающей темнотой и черной копотью города. Никогда я не бывал в столь душном и чумазом месте. Все в нем выглядело черным и безрадостным. Даже местный выговор, казалось, порожден шлаком и песком. Собор Святого Мунго был так темен, что уже с другой стороны улицы представлялся плоским силуэтом, вырезанным из бумаги. И туристов здесь не было — вообще. Пусть Глазго — крупнейший город Шотландии, но мой путеводитель по Европе о нем даже не упоминал.

С той поры, конечно, Глазго пережил блистательное и великолепное преображение. Десятки старых зданий в центре отчистили пескоструйными машинами и любовно отполировали, так что их гранитные стены блестят, как новенькие, а в восьмидесятых годах — годы подъема и процветания — возвели множество новых. Только за предпоследнее десятилетие построено на миллиард фунтов новых офисов. Город приобрел один из лучших музеев мира — коллекцию Баррела и один из лучших образцов городской реновации — торговый центр на Принсез-сквер. Мир начал осторожно заглядывать в Глазго и вдруг с восторгом открыл, что в городе на каждом шагу отличные музеи, оживленные пабы, оркестры мирового класса и не меньше семидесяти парков — больше, чем в любом европейском городе той же величины. В 1990 году Глазго получил звание европейской столицы культуры, и никто над этим не смеялся. Никогда репутация города не испытывала столь драматичной и внезапной трансформации — и ни один город, на мой взгляд, не заслуживал этого так явно.

Среди множества сокровищ Глазго ни одно для меня не сияет ярче коллекции Баррела. Зарегистрировавшись в отеле, я сразу поехал туда — на такси, потому что это довольно далеко.

— Ивдака пибыли? — спросил меня водитель, пока машина неслась к Поллок-парку через Клайдбэнк и Обан.

— Прошу прощения? — переспросил я, поскольку не понимаю по-глазгиански.

— Смеефся, фто ли?

Вот чего я терпеть не могу — когда житель Глазго со мной

заговаривает.

— Прошу прощения, — повторил я и поспешил оправдаться: — Я очень плохо слышу.

— А, издавека, внафит, — произнес он, что означало, как я понял: «Тогда я тебя повезу самым дальним путем и всю дорогу буду посматривать грозным взглядом, чтобы ты гадал, не высадят ли тебя у заброшенного склада, где поджидают мои дружки, чтобы тебя отколошматить и отобрать денежки»; однако больше он ничего не добавил и без происшествий доставил меня к коллекции Баррела.

Как мне нравится коллекция Баррела! Названа она в честь сэра Уильяма Баррела, шотландского судовладельца, который в 1944 году подарил городу свою коллекцию на условии, что ее разместят в загородном окружении в пределах города. Он опасался — и вполне обоснованно, — что загрязненный воздух повредит произведениям искусства. Не зная, что делать с этим свалившимся с неба богатством, городской совет, как ни удивительно, не сделал ничего. Следующие тридцать девять лет выдающиеся шедевры лежали в ящиках на складах, практически забытые. Наконец, на исходе семидесятых, проведя четыре декады в смятении, город нанял талантливого архитектора Барри Гассона, спроектировавшего изящное и неброское здание с полными воздуха залами; его поставили на фоне лесистого склона и изобретательно использовали архитектурные элементы коллекции — средневековые двери, карнизы и тому подобное — в самом строении. Оно открылось в 1983 году и получило широкое признание.

Баррел был не особенно богат, но, боже мой, как он умел выбирать! В галерее всего 800 экспонатов, зато они собраны со всего света: из Месопотамии, Египта, Греции, Рима — и почти все (за исключением нескольких фарфоровых статуэток девушек-цветочниц, купленных, должно быть, в горячке) потрясают. Я провел долгий счастливый день, странствуя из зала в зал, представляя, как нередко делаю в таких случаях, будто мне предложили принять любой предмет на выбор в дар от шотландского народа за мое персональное обаяние. В конце концов, после мучительных колебаний, я остановил свой выбор на сицилийской головке Персефоны пятого века до нашей эры. Она не только выглядела безупречной, сделанной будто вчера, но и отлично смотрелась бы у меня на телевизоре. И к вечеру я вышел из музея в зеленый Поллок-парк совершенно счастливым.

День выдался довольно теплым, и я решил пройти обратно пешком, хотя у меня не было с собой карты и имелось лишь самое смутное

представление, в какой стороне лежит далекий центр Глазго. Не знаю уж, то ли Глазго — изумительный город для пешеходных прогулок, то ли мне просто везло, но ни одна прогулка по Глазго не обходилась для меня без памятных сюрпризов — заманчивой зелени Келвингрув-парка, Ботанического сада или знаменитого кладбища «Некрополь» с его рядами нарядных могил. Так вышло и теперь. Я с надеждой зашагал по широкой улице под названием Сент-Эндрю-драйв, которая вывела меня в красивый квартал почтенных домов с милым парком и маленьким озерцем. Дальше я миновал частную школу на Скотланд-стрит — удивительное здание с просторными лестницами, работы, насколько я понимаю, Макинтоша — и вскоре оказался в менее почтенном, но не менее интересном районе, который я, по зрелом размышлении, признал за Горбалс. А потом я заблудился.

Время от времени я видел вдали Клайд, но никак не мог сообразить, как к нему выйти и, главное, как его перейти. Я блуждал по неразличимым переулкам и вскоре очутился в одном из тех мертвых кварталов, что состоят из глухих стен складов и гаражных дверей с надписью: «Не парковаться — гараж постоянно используется». Я сворачивал туда и сюда, и каждый поворот уводил меня все дальше от человечества, пока наконец не вывернул в короткий проулок с пабом на углу. Мечтая выпить и присесть, я забрел внутрь. Заведение оказалось темным и потрепанным, и сидели там всего двое посетителей, преступного вида личности, примостившиеся бок о бок у стойки и молча выпивавшие. За стойкой не было никого. Я занял позицию на дальнем конце стойки и немножко подождал, но никто не появился. Я побарабанил пальцами по стойке, надул щеки и пошевелил губами, как это делают все ожидающие (как вы думаете, зачем мы это проделываем? Ведь это не отнесешь даже к разряду дурного вкуса развлечений для самого себя, вроде срывания мозолей или чистки ногтей ногтем большого пальца). Я почистил ногти ногтем большого пальца и снова надул щеки, но никто так и не вышел. Тут я заметил, что один из выпивох разглядывает меня.

— Слыф, чо грю? — спросил он.

— Простите? — откликнулся я.

— Так и до утва пвовдофь. — Он мотнул головой в сторону подсобки.

— О... а... — произнес я, понимая кивнув.

Теперь уже оба смотрели на меня.

— Ху и пу ефть? — обратился ко мне первый.

— Простите?

— Ху и пу — ефть? — повторил он.

Я заметил, что он основательно пьян.

Я виновато улыбнулся и пояснил, что прибыл из той части света, где говорят по-английски.

— Не понимаефь? В мае доведефся, — продолжал тот.

— Посеефь вефной, поефь летом, — вставил его приятель и добавил: — Лофкой.

— О... а... — Я снова задумчиво кинул и слегка оттопырил губу, словно теперь-то мне все стало ясно.

Тут, к некоторому моему облегчению, появился бармен, с несчастным видом вытиравший руки полотенцем.

— Хвенова файка нафреничила, — бросил он той парочке и устало повернулся ко мне: — До утва фсе...

Я не понял, вопрос это или утверждение.

— Пинту «Теннета», пожалуйста, — с надеждой попросил я.

Он нетерпеливо хмыкнул, не получив ответа на свой вопрос.

— Кво? Тмго или свго?

— Прошу прощения?

— Ефть ху и пу, — вставил первый посетитель, решив взять на себя роль переводчика.

Я посидел минуту, разинув рот, пытаюсь сообразить, что он хочет сказать и какой черт потянул меня заходить в паб в таком районе, после чего тихо произнес:

— Мне, думаю, просто кружку «Теннета».

Бармен тяжело вздохнул и налил мне кружку. Через минуту я понял: они пытались объяснить мне, что это самый паршивый в мире паб и не стоит просить здесь пива, потому что подадут тебе кружку обмылков, накапавших из сопящего булькающего крана, и что лучше мне уносить ноги, куда я еще жив. Я отпил два глотка этого любопытного состава и, притворившись, что выхожу в туалет, выскользнул в боковую дверь.

Таким образом, я снова оказался на окраинной улочке на южном берегу Клайда и продолжил поиск дороги в жилые края. Трудно даже вообразить, на что был похож Горбалс, пока район не начали прорезживать и заманивать дерзких молодых представителей среднего класса переехать в модные новые многоквартирные дома, его окружившие. После войны Глазго пошел на весьма необычный шаг: город выстроил в пригородах целые районы высотных домов и переселил в них десятки тысяч людей из трущобных районов вроде Горбалс, но забыл обеспечить инфраструктуру. Только в Истерхаус переехали сорок тысяч человек — и обнаружили отменные новые квартиры с водопроводом и канализацией, но вокруг — ни кино, ни магазинов, ни банков, ни школ, ни работы, ни клиник, ни врачей.

И каждый раз, когда им требовалась выпивка, или работа, или медицинская помощь, они вынуждены были забираться в автобус и возвращаться на несколько миль обратно город. Вследствие чего — и других осложнений вроде постоянно ломавшихся лифтов (и почему это, между прочим, у одной только Британии из всех стран такие сложности с подвижными удобствами вроде лифтов и эскалаторов? Правда, я думаю, не мешало бы оторвать кое-кому головы) — они из вредности превратили новые кварталы в новые трущобы.

В результате в Глазго самые большие проблемы с жильем во всем цивилизованном мире. Городской совет Глазго — самый крупный землевладелец в Европе. Ему принадлежат 160 000 отдельных и многоквартирных домов — это половина жилого фонда города. По собственной оценке муниципалитета, он нуждается примерно в 3 миллиардах фунтов, чтобы привести их в пристойное состояние. Не выстроить новые дома, а просто сделать старые пригодными для обитания. На данный момент на жилье выделяется 100 миллионов в год.

Я наконец нашел способ переправиться за реку и вернуться в сияющий центр. Я полюбовался на Джордж-сквер — красивейшую площадь в Британии, на мой взгляд, — потом поднялся к Саучихолл-стрит, где припомнил свой любимый анекдот про Глазго (и, кстати, единственный, какой я знаю). Он не так уж хорош, но мне нравится. Полицейский поймал воришку на углу Саучихолл-стрит и Далхаузи и за шиворот тащит его на сотню ярдов к Роз-стрит, чтобы оформить арест.

— Это ефе зафем? — вопит преступник.

— Затем, что я знаю, как пишется «Роз-стрит», плут ты этакий! — отвечает полисмен.

Таков Глазго. При всем его новообретенном процветании и глянце где-то рядом всегда мерещатся суровость и угроза, которые меня только будоражат. Блуждая вечером по его улочкам, как я в тот раз, никогда не знаешь, натолкнешься ли на компанию франтов в вечерних костюмах или на банду скучающих юнцов, которые скуки ради вздумают наброситься на тебя и вырезать у тебя на лбу свои инициалы. Это придает городу особый колорит.

Глава двадцать девятая

Я провел еще один день, гуляя по Глазго — не столько потому, что мне не хотелось уезжать, сколько потому, что было воскресенье, и поездом было не уехать дальше Карлайла. (Рейсы Сетлл-Карлайл зимой по воскресеньям отменены, потому что на них нет спроса. То, что спроса может не быть, потому что нет рейсов, видимо, не приходит в голову служащим Британских железных дорог.) А потому я блуждал по зимним улицам, почтительно осматривал музеи, ботанический сад и «Некрополь», хотя на самом деле мне уже хотелось только домой: думается, объяснимое чувство, учитывая, как я соскучился по семье и собственной постели, а кроме того, гуляя вокруг дома, не приходится на каждом шагу смотреть под ноги из опасения наступить в собачье дерьмо или лужицу блевотины.

И вот на следующее утро я, с кружащейся от восторга головой, сел на карлайльский поезд 8:10 на центральном вокзале Глазго, а потом, выпив чашку кофе в вокзальном буфете, пересел на 11:40 до Сетлла.

Линия Сетлл-Карлайл широко прославлена своей безвестностью. Ее уже много лет собираются закрыть на том основании, что она не окупается — самый безумный и нелепый из возможных аргументов.

Мы так часто сталкивались с этим ходом рассуждений, по самым разным поводам, что они стали казаться разумными, но если задуматься хоть на долю секунды, становится ясно, что самое важное и ценное никогда не окупается. Если руководствоваться этой абсурдной логикой, придется избавиться от светофоров, запасных путей, школ, канализации, национальных парков, музеев, университетов, стариков и многого другого. Почему же нечто столь полезное, как железнодорожная ветка, которая мешает окружающим гораздо меньше, чем старики, и гораздо менее сварлива и болтлива, должна хоть в малейшей мере доказывать свою экономическую ценность, чтобы заслужить право на существование? От такого хода мыслей следует немедленно отказаться.

При всем вышесказанном не могу отрицать, что в линии Сетлл-Карлайл всегда было что-то от чудачества. В 1870 году, когда главный управляющий железных дорог центральных графств Джеймс Олпорт вбил себе в голову замысел построить большую ветку на север, уже действовали линии по западному и восточному побережью, так что он решил встроить ветку между ними, ведущую более или менее из ниоткуда в никуда. Все обошлось в 3,5 миллиона фунтов; теперь звучит не так уж страшно, но

переводится на нынешние цены в виде фантастической суммы: что-то около 487 триллионов фунтов. Так или иначе, сумма была достаточно велика, чтобы убедить всех, кто сколько-нибудь разбирался в железных дорогах, что Олпорт совершенно выжил из ума — да так оно и было.

Ведь эта ветка проходит по безумно безжизненным и неприступным гребням Пеннинских гор. Инженеры Олпорта шли на всевозможные ухищрения, чтобы преодолеть их — в том числе построили двадцать виадуков и двенадцать тоннелей. Ведь это, понимаете ли, была не какая-нибудь случайная узкоколейка: для девятнадцатого века это было все равно что современный сверхскоростной экспресс. Ветка позволяла пассажирам пролетать над йоркширскими долинами — если бы им того захотелось, но желающих находилось маловато.

Так что это с самого начала были выброшенные деньги. Ну и что? Это чудесная линия, уникальная во всех отношениях, и я намеревался насладиться каждой минутой путешествия, продолжающегося ровно 1 час 40 минут и семьдесят одну с четвертью миль. Даже те, кто живут неподалеку от Сетлла, редко находят предлог воспользоваться этой веткой, а потому я сидел, прижавшись носом к стеклу, и с нетерпением дожидался появления знаменитого Блимурского тоннеля, протянувшегося почти на 2300 ярдов; а потом станции Дент, самой высокогорной в стране, и великолепного Риблхедского виадука в четверть мили длиной, с двадцатью четырьмя изящными арками, — а в промежутках наслаждался видами не столь зрелищными и неподражаемыми, но для меня подобными песне сирен.

Наверно, у каждого где-то есть кусочек земли, невыразимо притягательный для него одного. Для меня таковы йоркширские долины. Объяснить этого я не способен, потому что более картинные ландшафты легко найти где угодно, даже в Британии. Одно могу сказать: долины пленили меня с первого взгляда и с тех пор не отпускали. Отчасти, думается, дело в восхитительном контрасте между безлесыми возвышенностями, откуда открываются бескрайние виды, и сравнительно пышными низинами с их сбившимися в кучу деревеньками и зелеными фермами. Проезжая по Йоркширу, видишь непрерывную, гипнотизирующую смену двух зон. Эту красоту не выразишь словами. А отчасти дело в уютном ощущении отдельных мирков, создающемся в каждой долине между смыкающимися холмами, — ощущении, что остальной мир далек и, в сущности, не нужен: чувство, которое привыкаешь ценить, когда поселишься здесь.

Каждая долина — собственный, совершенно отдельный мирок.

Вспоминается один солнечный денек, когда мы были еще новичками в своей долине. У наших ворот тогда с грохотом и скрежетом помятого металла перевернулась машина. Как выяснилось, водитель задел травянистый откос и влетел в полевою изгородь, опрокинувшую автомобиль вверх колесами. Я выскочил из дома и нашел беспомощно повисшую на ремне безопасности местную жительницу, которая, истекая кровью из разбитой головы, бормотала что-то о том, как она спешит к дантисту и как это некстати. Пока я приплясывал вокруг, ахая и охая, подъехали два фермера на «лэндровере». Они вылезли из машины, бережно извлекли раненую и усадили ее на камень. Потом перевернули машину и отодвинули ее с дороги. Один увел леди к своей жене, чтобы та напоила ее чаем и перевязала голову, второй засыпал опилками лужу масла, минуту регулировал движение, пока дорога не расчистилась, потом подмигнул мне, сел в «лэндровер» и укатил. Все заняло меньше пяти минут и не потребовало вмешательства полиции, скорой помощи и даже врача. Примерно через час кто-то подъехал на тракторе, отбуксировал пострадавшую машину, и все стало так, будто ничего и не случилось.

У них в долинах свои обычаи, знаете ли. Прежде всего, знакомые заходят прямо к вам в дом. Иной раз они стучатся и окликают: «Привет!», прежде чем заглянуть, но чаще и того не делают. Необычно переживание: когда стоишь у собственной кухонной мойки, ведешь оживленный разговор сам с собой и роскошно, оттопырив зад, пускаешь газы, а потом, обернувшись, находишь на кухонном столе только что доставленную почту. И не знаю, сколько раз мне приходилось дезабилье нырять в кладовку и затаиваться при звуке чьих-то шагов в доме. Пришедший окликал: «Эй, привет, есть кто дома?», несколько минут шарил на кухне, читая записки на холодильнике и рассматривая на просвет почту, а потом, подойдя к дверям кладовки, негромко говорил: «Я только возьму полдюжины яиц, ладно, Билл?»

Когда мы объявляли друзьям и коллегам в Лондоне, что собираемся переехать в йоркширскую деревню, чуть ли не каждый из них кисло тянул:

— В Йоркшир? Да, йоркширцы, они... Да, очень... интересно. — Или что-нибудь в том же роде.

Я никогда не понимал, откуда у йоркширцев эта ужасная репутация злобных скупердяев. Я всегда находил их очень достойными и радушными людьми, к тому же как нельзя более полезными, если вам хочется услышать все о своих недостатках. Правда, они не окунают вас в море любви, и к этому не сразу привыкаешь, если прибыл из более общительной части света, то есть откуда-нибудь еще. На американском Среднем Западе, откуда

я родом, новосела в маленьком городке или поселке встречают так, будто его приезд — величайший день в местной истории. Все и каждый наносят ему визиты, и всяк приносит пироги. Вы получаете яблочный пирог, вишневый пирог, шоколадный пирог. На Среднем Западе кое-кто переезжает с места на место каждые шесть месяцев, чтобы вволю наесться пирогов.

В Йоркшире вы ничего подобного не дождетесь. Но постепенно, понемногу они находят для вас уголок у себя в душе и теперь, проезжая мимо, награждают вас тем, что я называю «малхэмдэйлским приветствием». Это великий день в жизни каждого приезжего. Чтобы исполнить малхэмдэйлское приветствие, представьте на минуту, будто вы крепко сжимаете баранку руля. Теперь немного приподнимите указательный палец, словно его свела легкая судорога. Вот и все. На вид ничего особенного, но говорит о многом, поверьте, и я буду очень скучать по нему.

Затерявшись в размышлениях и воспоминаниях о том и о сем, я очнулся, обнаружив, что мы уже в Сетлле, и жена машет мне с платформы. Путешествие вдруг закончилось. Я растерянно и торопливо выбрался из вагона, подобно человеку, разбуженному среди ночи срочным вызовом. Мне казалось, что это случилось как-то не ко времени. Слишком уж внезапно.

Мы ехали домой по верховой, извилистой, несказанно красивой шестимильной дорожке через Визеринг-Хайтс, над Киркби-Фелл, откуда открывается бескрайний простор красот севера, а оттуда начали спуск в безмятежно величественную чашу Малхэмдэйла, маленького, затерянного мирка, на семь лет ставшего для меня домом. Я попросил жену остановить машину у полевых ворот. Это мой любимый уголок, и я вышел полюбоваться им. Отсюда виден почти весь Малхэмдэйл: уютная долина под крутыми суровыми холмами, с прямыми, как стрела, стенами из дикого камня, карабкающимися на неприступные склоны, с теснящимися друг к другу домиками, с дивно крохотным, двухкомнатным зданием школы, со старой церковью под тополями, с покосившимися надгробиями кладбища, с крышей моего излюбленного паба; и посреди всего под деревьями — наш старый каменный дом, старше годами, чем моя родная страна.

Все это было так мирно и дивно, что я готов был заплакать, а ведь это лишь малая часть этого волшебного маленького острова. Внезапно, в один миг, я понял, за что люблю Британию — за все, что в ней есть. Я люблю в ней все, хорошее и плохое: «Мармайт», сельские праздники, проселочные дороги, людей, повторяющих: «Не стоит ворчать» и «Я ужасно извиняюсь,

но...», людей, извиняющихся передо мной, когда я невзначай толкаю их локтем, молоко в бутылках, бобы на поджаренном хлебе, сенокос в июне, шипы и колючки, волноломы на взморье, планы Картографического управления, сдобные лепешки, бутылки с горячей водой, без которых не обойтись в промозглое воскресное утро, — все до последней мелочи.

Что за удивительная страна! Совершенно сумасшедшая, конечно, но восхитительная во всем. В какой еще стране найдешь такие названия, как Тути-Би (Загульный взгорок) или Фарли-Уоллоп (Фарлийская взбучка), и игры вроде крикета, которые длятся по три дня и все никак не могут начаться? Где еще, не моргнув глазом, заставят своих судей носить на голове мочалки, посадят своего лорда-канцлера на предмет, называемый «Мешок шерсти», или станут гордиться героем-морьяком, пожелавшим перед смертью поцеловать парня по имени Гарди («Пожалуйста, Гарди, в губы, и немножко языком»)?^[39]

Какая еще нация в мире подарила нам Уильяма Шекспира, ветчинный пирог, Кристофера Рена, великий Виндзорский парк, открытый университет, программу «Ответы садоводам» и диетические шоколадные бисквиты? Разумеется, другой такой нет.

Как легко мы об этом забываем! Какой загадочной покажется Британия историку, который станет когда-нибудь изучать вторую половину двадцатого века! Вот страна, сражавшаяся и победившая в благородной войне, великая империя, распущенная весьма мягким и просвещенным образом, создавшая государство всеобщего благосостояния — и затем до конца века считавшая себя хронической неудачницей. Факт тот, что она и теперь — лучшее место в мире для большей части занятий: посылать письма и ходить пешком, смотреть телевизор, покупать книги, посидеть за выпивкой, посетить музей, обратиться в банк, заблудиться, искать помощи или стоять на холме и любоваться видом.

Все это снизошло на меня в один затянувшийся миг. Я уже говорил и повторяю снова: мне здесь нравится... Так нравится, что слов нет. И тогда я отошел от ворот и вернулся к машине — и уже не сомневался, что обязательно сюда вернуться.

Благодарности

Я глубоко обязан следующим людям, беззаветно помогавшим мне в подготовке этой книги: Питеру и Джоан Блэклок, Пэм и Аллену Кингслэнду, Джону и Ники Прайс, Дэвиду Куку и Алану Хьюму. Всем им — огромное спасибо.

notes

Примечания

Булдoг Драммонд — герой одноименного фильма (1929) Р. Джоунса, бездельник, ищущий приключений; действие фильма разворачивается в «готическом» городском антураже. — Здесь и далее *примеч. ред.*

Роман английского писателя К. Уотерхауса, экранизированный Дж. Шлезингером.

«Белая книга» — официальный правительственный документ по какому-либо вопросу, разъясняет планы правительства перед введением нового закона.

Соглашение между представителями Великобритании, Северной Ирландии и Ирландии, устанавливавшее «разделение власти» при сохранении Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства.

Годовщина дня перемирия в Первой мировой войне, отмечается 11 ноября.

GPO— Главное почтовое управление; LBW— крикетный термин, блокировка мяча ногой; GLC— Совет Большого Лондона; OAP — пенсионер по старости.

7

Она очень милая (фр.).

«Ужасная жизнь» (фр.).

9

В номере (фр.)

10

Британский актер-комик и популярный телеведущий.

Английский кинорежиссер, прославился фильмом «Отбросы», без прикрас изобразившим жизнь в исправительном учреждении для подростков.

Bark (*англ.*) — лаять.

Британский газетный и издательский магнат, чья империя начала формироваться именно в 1970-х годах.

Следующий день после Рождества, когда принято одаривать слуг, горничных, разносчиков и.т. д.

Щипец — в архитектуре верхняя часть, в основном торцевой стены здания, ограниченная двумя скатами крыши и не отделённая снизу карнизом (в отличие от фронтона). Название обычно применяется к постройкам с крутой двускатной крышей, образующей остроугольный щипец, который иногда завершает главный фасад здания.

Судебное дело, находящееся на рассмотрении (*лат.*).

Американский телевизионный сериал о двух женщинах-полицейских:
выходил в 1982–1988 годах.

Британский политик-консерватор, министр в правительстве Дж. Мейджора, известен своими ортодоксальными убеждениями.

Топси и Тим — персонажи серии книг английских авторов Гарета и Джин Адамсон; эти книги знакомят детей с реальной жизнью («Топси и Тим на ферме», «Топси и Тим строят корабль» и т. д.

Ведущий ряда юмористических программ на британском телевидении.

Имеется в виду книга английского натуралиста Г. Уильямсона «Выдра по имени Тарка» (1927).

Имеется в виду тренер футбольной сборной Англии, известный своим буйным поведением на бровке и уволенный после того, как сборная в 1992 г. не вышла из группы на чемпионате Европы.

Сути — кукольный персонаж телешоу, впервые появился на экране в 1952 году. Т. Хэнкок — популярный британский комик. Цветочки Билл и Бен — персонажи ряда детских программ британского ТВ. «Мармайт» — фирменное название двух сортов английского маргарина. Дж. Формби — английский музыкант-виртуоз, певец и комический актер. «Диксон из Док-Грин» — британский детективный телесериал.

Имеется в виду творчество американского художника Э. Хоппера, многие картины которого наполняет особый «дымный» свет.

Клементина Черчилль, супруга У. Черчилля.

Истинные поклонники (*исп.*).

Крупнейшая в Великобритании и третья в мире сеть товаров для дома.

Американский актер-комик, выступал с Х. Оливером в дуэте «толстый — тонкий».

Ина Шарпиз — героиня британского телесериала «Корнейшн-стрит», «мыльной оперы» из жизни рабочего класса, действие которой происходит в Манчестере. Лоуренс С. Лоури — английский художник, прославившийся промышленными пейзажами Северной Англии.

Английский резчик по дереву, участвовал в отделке интерьера собора Святого Павла.

Персонаж американских сериалов «Бонанза» и «Пондероса», ковбой-здоровяк.

Ливерпульский политик, оратор и ведущий радиопрограмм, местная знаменитость.

Ведущий прогноза погоды на Би-би-си, усы которого стали с годами неотъемлемой частью его экранного образа.

Имеются в виду американские города Миннеаполис и Сент-Пол в штате Миннесота.

Р. Корбетт — шотландский актер-комик. Грейфрайарз Бобби — скайтерьер, 14 лет стороживший могилу своего умершего хозяина. В 1873 году в Эдинбурге ему был поставлен памятник.

Намек на название залива Ферт-оф-Форт, на котором стоит Эдинбург.

Английский сериал 1960-х годов с детективно-фантастическим сюжетом.

Британский политик-консерватор, питающий пристрастие к скандальным заявлениям и действиям.

Имеется в виду лорд Нельсон, последний вздох которого на палубе фрегата «Виктори» принял капитан Томас М. Гарди, предок писателя Т. Гарди. Из воспоминаний современников следует, что последние слова Нельсона были таковы: «Хвала небесам, я исполнил свой долг. Поцелуй меня, Гарди».